

ISSN 0013-788X

1. 1990



НОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Annotation

Опубликовано в журнале «Иностранная литература» №№ 1,2 1990

Из рубрики «Авторы этого номера»

...Роман «Исчезновение святой» вышел в Бразилии в 1988 г. («O sumico da santa». Rio de Janeiro, Editora Record, 1988). Печатается в журнальном варианте.

- [Жоржи Амаду](#)
 -
 - [Плавание](#)
 - [Пресс-конференция](#)
 - [Праздник](#)
 - [Бездомный пес](#)
 - [Плетка](#)
 - [Крестный путь](#)
 - [Жирофле](#)
 - [Помолвка и свадьба](#)
 - [Телефонные разговоры](#)
 - [В четверг утром](#)
 - [Перв\(ая\)ые брачн\(ая\)ые ноч\(ь\)и](#)
 - [В четверг днем](#)
 - [В четверг вечером](#)
 - [Долгие часы страстной пятницы](#)
 - [Пир горой](#)
 - [Вернисаж](#)
 - [Пора расставания](#)
 -
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Жоржи Амаду

Исчезновение святой

Это маленькая история об Адалжизе и Манеле, а также и об иных плодах, которые дала любовь испанца Франсиско Ромеро Перес-и-Переса к темнокожей мулатке Андрезе да Анунсиасан, красавице Андрезе де Иансан. В истории этой для примера и поучения повествуется о забавных и совершенно непредвиденных происшествиях, имевших место в городе Баии, — а больше такое нигде и не могло случиться. Время действия существенной роли не играет, однако полезно будет заметить, что разворачивались эти события на протяжении всего-навсего двух суток, но подготовлены были всей предшествующей жизнью моих героев — это срок немалый. Дело было в конце шестидесятых или в самом начале семидесятых годов, что-то в этом роде. Только не ищите объяснений, сказка сказывается, а не объясняется.

Задуман и объявлен был роман, носивший тогда заглавие «Война святых», лет двадцать назад, но только теперь, летом и осенью 1987, весной и летом 1988, в Париже, доверил я замысел бумаге. Мне было забавно сочинять его, а если он позабавит еще кого-нибудь из читателей, я почту себя вполне удовлетворенным.

Плавание

ПОГРУЗКА — В тот день баркас «Морской бродяга» на всех парусах влетел в Баию — в Бухту Всех Святых — в неурочное время, под вечер. «А море-то — словно синий плащ», — шепнул, должно быть, влюбленный своей милой. Против обыкновения ветер не донес до причала голос Марии Клары, не слышен был замирающий от любовной тоски напев.

А случилось так потому, что кроме обычного своего духовитого груза — очередной партии плодов манго, кажу и абакаши — владелец баркаса Мануэл в Санто-Амаро-де-Пурификасан взял на борт деревянную статую Святой Варвары Громоносицы, славную и редкостной красотой, и чудотворной силой, а на себя — обязательство доставить ее в целости и сохранности на долгожданную, стихами и прозой воспетую, в газетах расписанную — «важнейшее событие в культурной жизни страны!» — Выставку Религиозного Искусства: яростно сопротивлявшегося викария удалось-таки уломать. Вот во исполнение этого священного долга Мануэл и отсрочил выход в рейс на целых двенадцать часов, о чем, впрочем, жалеть не пришлось: все убытки были ему возмещены. Ну, а дона Кано не попросила его об услуге, а приказала.

У викария полегчало на душе, когда он увидел, что господь в неизреченной милости своей дал Святой Варваре в попутчики юного, долговолосого и лохматого священника в мирском — более чем современном — платье и престарелую монахиню — бледную, тощую, в черном одеянии.

— Приглядывайте за святой! — возвал к ним викарий. — А особенно в устье реки, там всегда и ветер сильнее, и волны выше. Храни вас бог.

И вот с помощью викария, ризничего и доны Кано, под рукоплескания и молитвы самых ревностных и беспокойных прихожан приступили священник и монашка к погрузке. На шатких сходнях, однако, они сочли за благо передать путешественницу в привычные к морскому делу руки Мануэла и его жены Марии Клары, а уж они со всей почтительностью и тщанием воздрузили статую на корму. Вознесшаяся там фигура католической святой казалась античной богиней — покровительницей мореходов.

МОНАХИНЯ И ПАДРЕ — Свежий ветер наполнил горделиво раздувшиеся паруса, помчал «Морского бродягу». Мануэл, стоя у

штурвала, улыбнулся преподобному и монахине: не волнуйтесь, мол, ничего святой не грозит. А Мария Клара, присев на палубу, придерживает статую, следит, чтобы ни на пядь не сдвинулась она от качки. «Будьте покойны», — говорит она, а сама восхищенно разглядывает парчу и кружева, ленты и вышивку, которыми по случаю отъезда в столицу украсили подножие набожные старушки, искусницы-рукодельницы из общины Пречистой Девы Блаженного Успения из соседнего городка Кашоэйры. Дай им волю, они б отправили святую в путь-дорогу сплошь в серебре да золоте — чистым золотом, неподдельным серебром покрыли бы ее с головы до пят, но директор Музея наотрез отказался даже от общинного ковчежца с реликвиями — ну, противный какой директор!

Хоть шкипер Мануэл и жена его были люди надежные и словам их можно было верить, монахиня, совсем утонувшая в складках своего поношенного глухого одеяния, не переставала тревожиться за судьбу святой — и когда суденьшко несло по речной стремнине, и когда подхватили его волны залива: тревожиться-то тревожилась, но ни словечка не вымолвила, ничем тревоги своей не выдала, только все молилась, снова и снова перебирала бусинки четок, и под костлявыми ее пальцами смирял свой норов свежий ветер, обвевавший статую. Долгим и трудным показался путь монашке, и вздохнула она с облегчением, лишь когда «Бродяга» ошвартовался у причальной стенки Рампы-до-Меркадо: слава тебе, господи, все сошло гладко. Сейчас Святую Варвару вместе со всеми ее громами-молниями отвезут в Музей, где с нетерпением поджидает ее директор — брат во Христе, германский монах, всесветный эрудит и знаменитый ученый, профессор-распрофессор в белоснежной сутане: об этой самой скульптуре, о происхождении ее и авторстве сочинил он целый трактат, весьма вдохновенный, а по части выводов — даже дерзкий. И вот тогда наконец сестра Эуниция беспокоиться перестанет, переведет дух, сомкнет блаженно вежды, ощутит сладостную прохладу ветерка.

А падре был совсем на падре непохож — ох, уж эти нынешние. Как, скажите мне, признаешь в нем духовное лицо, если носит он джинсы и расстегнутую до пупа рубаху в мелкий цветочек, а в буйной волосне и намека нет на тонзуру? Хорош собой, на загляденье. Но ведь сказано было задолго до всяких таких новшеств: «Не ряса монаха делает» — и верно сказано. Небрежны были прическа и одежда юного падре, но он, хоть и не носил сутану, не пробривал себе макушку, был вовсе не хиппи, направляющийся, скажем, в колонию «Мир и любовь» в Арембепе, а самый что ни на есть священник, недавно рукоположенный, стезю себе избравший по призванию и сердечной склонности, усердный и законопослушный,

делу своему служащий ревностно и истово. Получил он отдаленный приход, а паства его состояла из людей богобоязненных, бедных, беспощадно закабаленных теми, кто исповедует один только приснопамятный закон — кулачное право.

Ему дорога казалась еще длинней, чем сестре Эуниции, — вовсе уж нескончаемой, ибо вез он с собой несправедливость и беззаконие, и были у него веские основания предполагать, что вызвали его в столицу штата не для наград и поощрений. Приходилось ему слышать и угрозы и брань; читывал он в газетах статейки, клеймившие некоторых священнослужителей за подрывную деятельность. Появлялось в тех статейках и его имя — Абелардо Галван, — и не только появлялось, но и забрасывалось грязью: мерзавцы-журналисты подтасовывали факты, врали, клеветали, извращали. «Подлость и мерзость», — думает он теперь. Что он знает о Патрисии? Только то, что у нее хрустальный голос, таинственная улыбка, томный взгляд. Под злобными извещениями и сплетнями кое-кто хотел бы похоронить трупы, гниющие в лесной чащобе. Падре Абелардо плывет в Баию не один — с ним три трупа, он знает, кто велел убить этих людей, да и кто же этого не знает?! Знать-то знают, а проку от этого что: те, кто посылает наемных убийц-«пистолейро», — незапятнанны и неприкосновенны, они превыше расхожих понятий о добре и зле. Это хозяева жизни: их мало, по пальцам сочтешь, они малочисленны, но неумолимы.

СКРОМНЫЕ И БЛАГОРАЗУМНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАИИ — Да, ветер не доносит до причала любовные клятвы, любовные радости и горести, о которых обычно поет Мария Клара, но она не молчит, а, пристроившись рядом со статуей, тихонько напевает то, что в таких случаях напевать положено — псалмы да гимны в честь святых и присноблаженных. Ни священник, ни монахиня ее не слышат, зато спешат навстречу, облепляя борта, зеленые флотилии кувшинок. Синие, только что распутившиеся цветы склонили головы на мясистых стеблях, приветствуя святую. Река Парагуасу пахнет табаком и отдает на вкус сахаром: фарватер пролег между плантаций.

А при входе в просторный залив несутся к суденьшку стаи рыб, пристраиваются к нему осьминоги и скаты. Над небом Баии — Бухты Всех Святых — золотом разливается солнечный свет.

Всякому известно: Баия — порт мирового значения. В безмерном ее пространстве разместились бы все остальные гавани и порты Бразилии, да еще хватило бы места для флотов и эскадр всей планеты. Ну, а что до

красоты этой бухты, то нет на свете подходящего сравнения, и не родился еще поэт, который подберет нужные слова.

Целое стадо островов, один другого ярче и красивей, пасется в этом сновиденном море, а сторожит их остров Итапарика, главный над ними, самый большой остров баианской бухты, населенный португальскими и голландскими полками, индейскими племенами, бесчисленными африканскими родами. Там, на дне морском, в царстве Айока, покоятся остовы потопленных в бою каравелл, лежат португальские дворяне, голландские адмиралы, колонисты и захватчики, вышвырнутые вон отважными бразильскими патриотами. Это — Итапарика, отец юной республики, сторожевой пес независимости, центр январских празднеств.

Благоразумие велит мне умолчать о славе Баии, дабы избежать ревности и досады: слава эта в моряцких легендах, передаваемых из уст в уста, в песнях трубадуров, в письмах и судовых журналах путешественников. Нет, не стану распространяться о славе Баии и хвалу воздавать ей не буду: скромность присуща истинному величию.

У самой кромки залива вознесся, обдуваемый ветрами с полуострова, воздвигся город Баия, полное имя которого — Салвадор-де-Баия-де-Тодос-ос-Сантос, воспетый греками и троянцами, прозой и стихами, главная столица Африки, город на востоке планеты, на путях в обе Индии и в Китай, на Карибском меридиане, город, богатый золотом и серебром, пахнущий перцем и розмарином, отливающий медью, гавань тайны, светоч разума.

Многое еще можно было бы сказать о нем, но скромность и благоразумие затворяют мои уста. В гавань его, прославленную и воспетую, входит «Морской бродяга»: местре Мануэл — у штурвала, жена его, Мария Клара, — возле носилок со статуей, пассажирами плывут юный священник, престарелая монашка и образ Святой Варвары Громоносицы, покинувший церковь в городке Санто-Амаро-де-Пурификасан, чтобы занять подобающее ему место на Выставке Религиозного Искусства в столице штата. Еле слышно звучит голос Марии Клары, вплетаясь в порхание ласточек, в снование рыб.

НЕКТО, ИГРАЮЩИЙ НА БЕРИМБАУ^[1] — А на причале, на пустом баке из-под керосина сидел в этот предвечерний час франтоватый негр в белой пиджачной паре, при бабочке, в двухцветных, глянцево блестящих башмаках и играл на беримбау, услаждая слух весьма немногочисленной публики, которую составляли уличные торговцы фруктами, беспризорные мальчишки — «капитаны песка» — и влюбленная

пара. Не вилося вокруг кольцо капоэйры^[2], негр играл для собственного удовольствия, и мелодия, шедшая из далекого прошлого, рассказывала об ужасах рабства.

Поглядев в сторону Морского форта, музыкант увидел хорошо знакомый ему профиль «Морского бродяги» и удивился тому, что парусник входит в гавань в первых сумерках, а не на рассвете, как обычно, когда на мачте его загоралась утренняя звезда, а голос Марии Клары будил солнце.

И закат и восход хороши для прибытия, хороши для отплытия, жизнь наша из неожиданностей соткана, в них-то вся ее прелесть, верно я говорю? Негр перестает играть, прислушивается к звуку сирены, возвещающей конец плаванью. Куда же пропал голос Марии Клары, отчего не слышится любимый напев моряков:

Я гребень, я гребень тебе подарю,
Дам небо, и море, и ночь, и зарю...

А в мощном реве сирены прорезаются ноты какого-то торжества и волнения — что за добрую весть принес шкипер Мануэл городу Баии и народу его? Пьянящий аромат спелых плодов окутывает пристань.

Умиротворенно гаснет день, величественно разливается закат, волны и рыбы довели парусник и красавицу святую у него на корме до порта приписки, до бетонного причала Рампа-до-Меркадо. Мария Клара убрала паруса, Мануэл бросил за борт камень, заменяющий якорь. «Морской бродяга» замер у стенки, а в небе, в закатном баиянском небе, точно взорвалось, запыхав всеми оттенками красного — от розового до алого, — солнце.

ВЫГРУЗКА — Падре Абелардо помогает монахине подняться, оба вздыхают с облегчением и торопятся сойти на сушу. У каждого свои дела. В пути они присматривали за святой, а здесь в этом нет необходимости — вон неподалеку уже стоит дожидается ее присланный из Музея «комби».

Встретить драгоценный груз директор поручил своему доверенному помощнику, юному даровитому этнологу Эдимилсону Вазу. Сам он поехать не мог — на этот час назначена была пресс-конференция для журналистов пишущих и снимающих, на которой директор намеревался ознакомить их с программой открывающейся через два дня выставки. Здесь собрались корреспонденты всех имеющихся в наличии баиянских газет, а также ведущих изданий юга страны, а также обозреватель целой вереницы

португальских газет по имени Фернандо Ассиз Пашеко. Когда парусник причалил, директор как раз начал распространяться о статуе, возраст которой исчислялся столетиями, об изображении Святой Варвары Громоносицы — почему Громоносицы? почему колчан ее полон молний? — «и вот, дорогие друзья, это чудо искусства, этот шедевр деревянной скульптуры всего через несколько минут озарит своим присутствием наш Музей и предстанет вашим, господа, взорам». О громах и молниях, о месте и времени, о скульпторах и резчиках давно уже ломали копья, спорили, высказывали доводы «pro» и «contra» историки и искусствоведы, все люди сведущие и образованные, а уж директор Музея, в безупречно белой своей сутане похожий на серафима, впрочем, серафима плутоватого и лукавого, и вовсе на таких делах собаку съел.

Прежде чем шкипер Мануэл, окончив швартовку, успел позаботиться о выгрузке драгоценной клади, Святая Варвара сошла со своих носилок, шагнула вперед, оправила полы своего одеяния — и, как говорится, была такова.

Чуть покачивая бедрами, прошла Святая Варвара между Мануэлом и Марией Кларой, улыбнулась им ласково как сообщникам. Мария Клара ритуальным движением свела руки у груди и сказала: «Эпаррей, Ойа!» Поравнявшись с монахиней и священником, святая учтиво кивнула старушке, а падре подмигнула.

И ушла Святая Варвара Громоносица: миновала Рампу-до-Меркадо, обогнула Подъемник Ласерды. Она заметно торопилась, ибо близка уже была ночь и минул уже час вечерней молитвы. Увидавши ее, элегантный негр склонился в поклоне, прикоснулся пальцами к земле, а потом себе ко лбу и тоже сказал: «Эпаррей!» Негр-то был человек непростой — Камафеу де Ошосси, жрец-оба грозного Шанго^[3], торговал он на рынке, играл на беримбау, некогда состоял президентом афоше «Дети Ганди^[4]», но даже и он не смог бы сказать, случайно ли произошла эта встреча или по особенной благодати, осеяющей «посвященных». Не зажглись еще уличные фонари, а Иансан^[5] растворилась в людской толчее.

Пресс-конференция

ОЖИДАНИЕ — Дон Максимилиан фон Груден, директор Музея Священного Искусства, со всем пылом ученого археолога излагая почти без акцента результаты изысканий и штудий в бразильских и заграничных архивах, комментируя исследования и время от времени оживляя скучную материю своего предмета жаргонными словечками, то и дело поглядывал в окно. «Комби», посланный за статуей Святой Варвары, до сих пор не вернулся, и задержка эта начинала беспокоить директора.

Телевизионщики, еще в самом начале пресс-конференции, несколько раз взяв крупным планом знаменитого монаха — вот он в окружении журналистов, вот пламенно приветствует «специального представителя» португальской прессы, — собрались было уходить: время на телевидении дороже золота, счет идет на доли секунды. Дону Максимилиану пришлось пустить в ход все свое обаяние, коим бог его не обделил, приказать снова обнести гостей виски, чтобы задержать бригаду «еще на несколько минут, друзья мои, должны же вы запечатлеть прибытие статуи — она уже покинула пристань и направляется к нам».

Неправду сказал директор: никаких известий от Эдимилсона не поступало, и он знать не знал, где сейчас бесценный груз, но разве для святого дела нельзя немного прилгнуть? А тут сам бог велел: пусть в восьмичасовом выпуске новостей миллионы телезрителей по всей стране увидят его, дона Максимилиана, рядом со статуей Святой Варвары — уникальным произведением искусства, сравнимым лишь с некоторыми работами Алейжадиньо^[6]. Директор совсем недавно завершил труд по изучению этого мало кому известного и совершенно не исследованного чуда, выяснил происхождение статуи, время ее создания, установил более или менее точно ее творца, и труд этот, написанный по-немецки, переведенный на португальский, должен был выйти в свет в пятницу, как раз к открытию выставки. Сигнальный экземпляр — шедевр мюнхенской полиграфии, любезно присланный издателем, — словно бы невзначай оставлен был на широком старинном столе голландской работы. Даже репортеры, бесчувственные к магии древности и музейных диковин, оценили совершенную гармонию этого просторного зала, отдали должное ценности каждого экспоната, будь то картина, скульптура, церковная утварь или мебель, — все подлинное, без подделки.

На суперобложке помещена была цветная репродукция скульптуры. Достаточно было бы просто взять книгу в руки, рассеянно перелистать ее перед телеобъективами — и наступил бы апофеоз деятельности дона Максимилиана, — признание трудов, венчание заслуг святого мужа.

Я сказал: «святого мужа»? Простите, это не так: дон Максимилиан был виднейшим этнографом, компетентнейшим археологом, крупнейшим историком искусства, почетным доктором четырех университетов и много еще чем, но вот святым он не был.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ — Дон Максимилиан выслушал вопрос бородатого португальца, полуприкрыл веками голубые глаза, улыбнулся. Воплощение скромности и мягкосердечия, лысоватый и бледный директор в незапятнанных одеждах сам казался восковой фигурой, экспонатом собственного Музея. Коварный, источающий яд вопрос намекал на излишнюю смелость, а может быть, и необоснованную скоропалительность выводов его работы, сеял в душе сомнения в правомерности основных положений. Монах простер длани, словно собираясь благословить провокатора, совсем закрыл глаза и голосом звучным и ласковым ответил:

— Еще минуту терпения, и вы, друг мой, все увидите своими глазами, которые господь для того и дал нам: лучшее доказательство моей правоты — сама статуя. Без нее все превратится в бессмысленное словопрение. Будь я подвержен греху тщеславия, то заявил бы, что выводы моего исследования были мне продиктованы лично Святой Варварой оттуда, из царствия небесного... — Тут он позволил себе издать издевательский смешок: дескать, что, съел, толстяк?

Истина же заключалась в том, что только теперь, выслушав этот бестактный и, смею сказать, провокационный вопрос, понял дон Максимилиан, что чуть было не попался в ловушку на глазах у всех журналистов. Он не заподозрил ничего, когда несколько дней назад к нему явился в ореоле славы «лиссабонский журналист, хорошо известный на всем Иберийском полуострове, столь же популярный в Мадриде, сколь и в Лиссабоне, автор статей по вопросам литературы и искусства, прогремевших по всей Европе, цитируемых даже парижской „Монд“ и вдобавок еще превознесенный критикой поэт Фернандо Ассиз Пашеко». Антонио Селестино, отрекомендовавший своего земляка столь лестным образом, сам был человек не из последних — знаменитый критик и ведущий еженедельной субботней колонки в газете «Тарде».

В ту минуту дон Максимилиан, прельщенный перспективой увидеть

такую знаменитость на пресс-конференции, не обратил внимания на кое-какие детали, убедительно — как он теперь понимал — свидетельствующие о сговоре. Но хватило одного-единственного вопроса, ловко подброшенного португальцем в ожидании статуи, как дон Максимилиан увидел всю механику интриги и понял, кто приводит ее в движение: конечно, это он, Ж. Коимбра Гоувейя, неисправимый, непримиримый вечный соперник, у которого одна радость в жизни — порочить и принижать научные достижения своего баиянского коллеги, родившегося, правда, в Баварии!

Нет, не в отпуск приехал в Бразилию великий публицист и поэт Фернандо Ассиз Пашеко, присосавшийся сейчас к шотландскому виски, и не интеллектуальное любопытство двигало им, когда он так живо интересовался происхождением и атрибуцией таинственной незнакомки с молниями и громами в колчане! Дон Максимилиан, знакомя его с бразильскими журналистами, назвал гостя «специальным представителем», чтобы поднять, так сказать, цену пресс-конференции, и почти не ошибся. Но не португальскую прессу представлял он, а проходимца Ж. Коимбру Гоувейю, который сейчас, наверно, от радости потирает руки или еще что-нибудь, раскорячившись в засаленном кресле в своем директорском кабинете в Музее Да-Пена, откуда открывается такой дивный вид на горы Синтры!

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК — Потаенные устремления, замыслы, не подлежащие огласке, привели негодя Пашеко в Баию именно в час величайшего торжества в жизни Максимилиана фон Грудена, когда вся бразильская интеллигенция готовилась преклонить колена перед маститым ученым, победившим в вековом споре, окончательно разгадавшим бесчисленные загадки статуи. Подлец Пашеко попытался было запятнать репутацию дона Максимилиана, и тот мысленно подобрал полы своей сутаны, чтобы уберечься от ядовитой слюны завистника.

Теперь-то он понимал, почему так домогался двуличный Селестино его еще не вышедшей книги, почему так упорно просил экземплярчик, объясняя свою настырность тем, что хочет написать и опубликовать посвященную ей статью и первым отметить важнейшее событие португалобразильской культуры. И дон Максимилиан поверил — а есть ли, спрошу я, есть ли на свете человек, который устоял бы под этой лавиной славословий? Может, и есть, но во всяком случае это не дон Максимилиан. Он же поверил и подарил лицемеру один из пяти присланных ему издателем экземпляров, и сделал на титульном листе почувствованную

дарственную надпись, не пожалев лестных эпитетов, и стал ждать статьи.

Так далек был дон Максимилиан от мысли о заговоре, что даже не вспомнил о дружеских узах, связывающих Селестино и Коимбру Гоувейю, о том, что первый называет себя «скромным учеником» второго, а когда тот приезжает в Бразилию, чтобы шарить по церквам и монастырям, оказывает ему гостеприимство в своей роскошной квартире. За изобильным столом, где случалось сиживать и дону Максимилиану, который во имя справедливости не может не признать, что эти португальцы понимают толк в яствах и в питиях и себя не обижают, Гоувейя рассказывал о своих находках и открытиях и клялся, что они произведут подлинный переворот в этнографии. Как же не вспомнились эти застолья дону Максимилиану в ту минуту, когда он делал неумеренно лестную надпись на книге: «Тончайшему знатоку и ценителю искусства»? Теперь-то уж можно не сомневаться, что знаток и ценитель в тот же день воздушной почтой отослал книгу в Португалию, чтобы негодяй Гоувейя прочесал ее частым гребнем пристрастной критики.

И даже неделю спустя, когда вероломный Селестино представил ему обозревателя португальских газет, не вкралось подозрение в простую душу дона Максимилиана. Он принял нового знакомца с распростертыми объятиями, ибо предвкушал, как объявляют его газеты Лиссабона и Порто блистательным, крупнейшим и неоспоримым авторитетом. Да, наивность непостижимым образом уживалась в доне Максимилиане с ученостью — «он умней церковной мыши», говорил про него еще один давний недруг профессор Удо Кнофф. Понадобился источающий яд вопрос португальца, чтобы директор Музея вернулся к мерзкой действительности и увидел перед собой заговор. Он чувствовал себя боксером, который уже торжествует победу и вдруг получает прямой правый ниже пояса. А все же дон Максимилиан разогнулся и, горя желанием уничтожить соперника, без промедления и сожаления нанес ответный удар, да еще нашел в себе силы саркастически усмехнуться.

Однако он не успел насладиться замешательством растерявшегося португальца — зазвонил телефон, и директор, не тая ликования, подскочил к столу, чтобы услышать о том, что «комби» со статуей уже выехал. Вот в эту самую минуту, за день до открытия выставки, и начались все злосчастия дона Максимилиана, а продолжались они целую вечность — двое суток.

ОРАТОРИЙ — Покуда дон Максимилиан с еще не угасшей радостью кричал в трубку: «Да, Эдилмио, это я, слушаю тебя!» — одни журналисты воспользовались паузой, чтобы смяться, не дожидаясь прибытия святой, а

другие — их было большинство, — чтобы вновь наполнить стаканы. Жажущая орда устремилась к ораторию, который проказник-директор превратил в бар, где хранились бутылки шотландского виски и португальского, выдержанного в дубовых бочках портвейна.

«Надо ж было до такого додуматься», — оценил кощунственную шалость суровый и воздержанный профессор Ренато Ферраз, директор Музея Современного Искусства, наливая себе двойную порцию чистого — только два кубика льда — виски. Вот тебе и воздержанный...

Что же касается «пышного, вместительного, удивительно изящно выполненного» оратория — именно так писал о нем в своей статье «Сокровища Музея Священного Искусства» вышеупомянутый Антонио Селестино, — то он появился на свет «на узких улочках, где жили в семнадцатом веке резчики по дереву — на улице Пиольо, или в тупике Каганитас, или на пустыре Дос-Гатос, или на спуске Дос-Маршантес — в провинции Миньо, в городе Брага, где расцвело и воссияло настоящее португальское барокко». Он и теперь, стоя в директорском кабинете, не превратился в бесполезную рухлядь: только вместо изображений святых хранит дорогие напитки, но ведь и они для очень многих — предмет самого пылкого поклонения.

Утонченный Селестино медленно, смакуя вкус и букет, потягивал портвейн. Он слышал недоуменно-едкое замечание профессора Ферраза, но неземной, бархатистый напиток не позволил ему согласиться с ним или оспорить его. Разумеется, дон Максимилиан — властолюбив, хитер, проказлив, не без придури и слишком мнит о себе и прочая и прочая, но никто не отнимет у него знаний, инициативы и авторитета.

Солнечный луч насквозь пронизывает рюмку, которую держит холеная рука Селестино, вспыхивает золотистая влага. Пламя заката охватывает церковь и монастырь, врывается в окна, жидким золотом разбрызгивается по каменным стенам; солнце рушится в сад, прямо на ветви акаций.

ПРОНЫРА — Услышав это истошное «что-о?», Гидо Герра, юный борзописец, совсем недавно вступивший на стезю журналистики, ищущий сенсаций, которые бы вывели его из провинциальной безвестности, насторожился. Дон Максимилиан, вытаращив глаза и разинув рот, слушал телефонное сообщение, но, заметив, что репортер «Диарио де Нотисиас» наострил уши, сумел привести себя в должный вид: закрыл рот, опустил веки, совладал со своей растерянностью. Журналисты поднимают бокалы за скорое прибытие Святой Варвары.

— Не понимаю... Повтори! Да успокойся же... Повтори, что ты

сказал! — Голос дона Максимилиана еле слышен, взор дона Максимилиана скользит по лицам журналистов — Герра ловит каждое его слово. — Нет-нет, оставайся на месте, я немедленно выезжаю. — Директор нетерпеливо слушает, а потом властно обрывает разговор: — Жди меня, я сказал!

Он бросает трубку, снова окидывает взглядом журналистов и — хоть каждое слово дается ему с трудом — говорит спокойно и уверенно, доброжелательно и улыбчиво:

— Вынужден извиниться, господа. Я созвал вас, чтобы вместе с вами встретить несравненный образ Святой Варвары Громоносицы, который впервые покинул церковь Санто-Амаро для участия в нашей выставке. И вот я только что узнал, что произошла непредвиденная задержка, сдвинувшая сроки прибытия статуи. К сожалению, мы только завтра увидим нашу небесную гостью. — Тут улыбка его делается еще шире.

— Завтра? В котором часу? — спрашивает Леокадио Симас, и озабоченность его вполне понятна, ибо он прекрасно знает заведенные доном Максимилианом порядки: если встреча с прессой происходит вечером — подают виски, а если утром — только соки, хотя и самые разнообразные: из плодов кажу и кажа, умбу и мангабы, маракужа и гравиолы. А может, и из питанги — это уж истинный нектар.

— Точное время указать пока не могу, но непременно позвоню в редакции и сообщу. — И, повинувшись едва заметному манию руки дона Максимилиана, служитель запирает дверцу оратория, прежде чем бездонная бочка Леокадио успевает налить по новой.

— А что же случилось? Отчего задержка? — Это опять вылез настырный Герра — алчный взгляд, нос как у попугая, а чутье как у гончей. Он и к виски-то не притрагивался, тянул только соки да уж лучше бы напился в стельку.

Что случилось? Дон Максимилиан тоже очень бы хотел знать, что случилось, и чем скорей, тем лучше, но, проглотив досаду, сдержав нетерпение, подходит директор к проныре-репортеру, мозги скрипят от напряжения, подыскивая правдоподобную версию, которая удовлетворила бы шалопая. Шалопай-то он шалопай, но очень опасен: суется всюду и везде, лезет, куда не просят, — ведь это Герра раскопал крупную недостачу в кооперативе по сбыту пшеницы, раскопал, сочинил репортаж, раздул громкое дело, ославил на всю страну... Дон Максимилиан, взяв его под руку, отводит в сторонку, подальше от остальных: он еще не знает, что сказать, тянет время, шепчет проныре на ухо:

— Вот я вам скажу, а вы сейчас же и тиснете...

— Клянусь, что без вашего согласия не появится ни строчки!

Дон Максимилиан напрягает воображение, придумывая убедительную версию, но тут к нему на помощь приходит сам репортер:

— Викарий небось выставил новое требование?

Гидо Герра уже описывал в своей газете, как противился настоятель церкви Санто-Амаро тому, чтобы статуя попала на выставку, называл его «мракобесом и ретроградом». Дон Максимилиан, обрадовавшись подсказке, хватается за эту соломинку — поступок опрометчивый, как вскоре выяснится:

— Вам одному скажу, но обещайте мне, что дальше эти сведения не пойдут...

— Клянусь! Бог — свидетель.

— Ну, так вот: викарий, не удовлетворившись ни страховкой, ни нашими гарантиями, потребовал еще одну бумагу. Что ж, учитывая ценность скульптуры, он в своем праве... Ваша братия наплела о Музее и о его смиренном директоре столько небылиц, что результат не заставил себя ждать.

— Что вы, дон Максимилиан, понимаете под небылицами?

— А кто писал, что мы вернули в часовню Монте-Серрат не подлинную скульптуру кающегося Святого Петра, а копию?

— А разве это не так?

Дон Максимилиан только молча улыбается, не говоря ни «да», ни «нет». Но ненасытный Гидо Герра желает знать, какой еще документ потребовался викарию.

— Еще одно гарантийное обязательство — от Фонда исторического наследия, — с ходу, сам не зная как, придумывает директор и дружески кладет руку на плечо репортеру. — Только умоляю вас, Гидо, никому ни слова: дойдет до викария, он обидится... Это сведения не для печати, я с вами по-приятельски поделился. Помните, я рассчитываю на вас.

«Обидится»! Викарий и так недоверчив и зол, а уж если, по несчастью, невинная выдумка достигнет его слуха, в этом случае к длинному списку тех, кто желал бы скушать донна Максимилиана без соли, прибавится еще один, смертельный враг.

— Не беспокойтесь, местре. Могила, — на лице у Герры выражение благостной кротости: ну, просто ангел небесный, даром что уродлив как сатана.

В жизни еще так не торопился дон Максимилиан, а все-таки пришлось за руку попрощаться с каждым из журналистов, выразить сожаление телевизионщикам, что зря примчались со всем своим барахлом. Жалко, еще бы не жалко: дон Максимилиан фон Груден рожден для того, чтобы

блистать на телеэкране, а видеокамеры донесли бы его элегантную статью до миллионов. Директор как ни в чем не бывало, словно и не проник он в подлые замыслы португальского поэта, обнимает его.

— Мы еще вернемся к этому разговору, дорогой Антонио Алсада Баптиста, — как не спешит дон Максимилиан, а все же успевает кольнуть наглеца, назвав его подлинным именем: поэты у нас ужас до чего чувствительны и ранимы. — Я разрешу все ваши сомнения.

Директор, дождавшись ухода журналистов, скатывается по лестнице: господи боже, что же могло случиться? Маленький Эдимилсон, видно, вконец потерялся: ничего толком объяснить не мог, только мямлил что-то невразумительное.

Праздник

В одеждах цвета сумерек, с вечерней звездой во лбу явилась на террейро Ойа^[7], и зеленой свежестью моря веяло от эбеновых грудей. Ее не ждали, но приход богини не вызвал замешательства — только громче загудели барабаны-атабаке и до земли склонились, приветствуя ее, эбомины, экеде, иаво^[8]. По дороге на празднество собрала она все несправедливости, все дурные дела и несла их под мышкой. В правой руке держала богиня сноп молний.

Шкипер Мануэл, Мария Клара и жрец грозного бога Шанго Камафеу де Ошосси, выпрыгнув из такси, посторонились, давая ей дорогу, воскликнули хором: «Эпаррей, Ойа!» Согнулся в низком поклоне и водитель. Звали его Миро, был он весельчак и повеса, жил, что называется, в свое удовольствие, он-то называл себя сыном Огуна^[9], но полз шепоток по Баии, что повелевает беспутной его головой Эшу^[10], и не счесть было этому доказательств, примет и примеров. Хотите верьте, хотите — нет, но именно так считалось среди тех, кто превыше всего ставил веселье и праздность.

Ойа пала ниц перед матушкой Менининьей де Гантоис, матерью доброты и мудрости, царицей заводей и омутов. Безмерно могущество ее: с гор и долин летят к ней все жалобы, все пени, все мольбы сыновей ее и дочерей — народа баиянского. На ничем не украшенном троне — в кресле с подлокотниками и высокой спинкой — сидит она, сжимая в руке свой скипетр, а по обе стороны от нее — дочери, Кармен и Клеуза, это кровные ее дети, а остальные — «сыновья» и «дочери» святой — разбросаны по всему белу свету. Ойа простерлась у ног Менининьи де Гантоис, прекраснейшего воплощения богини Ошун^[11].

Жрица-йалориша прикоснулась к ее лбу, взяла за голые плечи, подняла, прижала к груди, и встала Ойа во весь рост, изогнулось тело ее, вздрогнули груди, качнулись бедра — всем на загляденье, всем на вожделень, — но от воинственного ее клича оробели самые дерзкие, и слышен был тот клич на самых далеких баиянских окраинах: на битву пришла Ойа, да будет это ведомо всем! Уперев руки в бока, приветствовала она круг «посвященных», поздоровалась с музыкантами, а потом — с самыми почтенными, с самыми почетными гостями — перед каждым остановилась, каждого обняла, прижав к груди, сердце к сердцу.

Мигел Сантана Оба Аре затынул в ее честь древнюю, из глубины времен дошедшую кантигу^[12], — немного уж осталось на свете людей, знавших ее.

Танцую перед старым жрецом, удивилась Ойа тому, что сидит он не на своем, по праву ему принадлежащем месте — рядом с «матерью святого»: туда почему-то влез один из этих недоделанных африканистов, полузнайка — учености кот наплакал, а спеси выше головы, один из тех, что с важным видом толкуют о мистицизме, парапсихологии и «негритюде», давая дурацкие ответы на вопросы олухов и тупиц.

Так почему же расселся он на скамье, предназначенной для завсегдаев макумбы, а не в соломенном креслице, где положено сидеть гостям? «Он садится там, где трон стоит», — попытался было объясниться оган^[13], заботам которого вверено радение. Ойа не могла смириться с пробормотанным сквозь зубы извинением за то, что извинению не подлежит, взмахнула рукою, и во мгновение ока слетел наглец с неподобающего ему места, взлетел в воздух, подброшенный неведомой силой, — Ойа насылает вихри, которые и вековые деревья вырывают с корнем и зашвыривают далеко, — взлетел, говорю, и шлепнулся оземь, получив тычок в грудь, пинок в живот да две оплеухи в придачу. Еле поднялся он на ноги, с трудом перевел дыхание, поспешил обратиться восвояси вместе с оравой приведенных им зевак. Как потом оказалось, недурные деньги зарабатывал он, вода туристов на террейро.

А Ойа, вмиг превратившись из грозного шквала в легкий ветерок, ласково поглаживающий щеки детишек и стариков, со всей почтительностью проводила Мигела Сантану Оба Аре, которого еще незабвенной памяти мате Аинья объявила жрецам, туда, где и должно было ему сидеть по долгу его и праву. Улыбаясь, очень довольная, «мать святого» вручила ему свой жезл, и тот взмахнул им, призывая «посвященных». Празднество пошло веселей под сдержанный смех, под беззвучные рукоплескания, ибо происшествие не осталось незамеченным для тех, кто наделен и одарен свыше даром разума.

Но прежде чем Ойа ворвалась в круг, к ней подошла белая — красотка лет сорока, с травленными перекистью волосами, до невозможности взволнованная:

— Я — из Сан-Пауло, вот уж целую неделю ищу вас. Сестра Гразия, из лавки кабокло^[14] Пажеу, велела, чтоб я у вас узнала, где мое кольцо. Сестра Гразия — ясновидящая, она вызвала дух кабокло, а тот сказал, что, как отыщу я кольцо, так все мои беды и кончатся: Марино ко мне бегом прибежит и никогда больше не бросит. Поезжай, сказали мне, в Баию,

найди на кандомбле девушку с вечерней звездой во лбу, она знает, где твое кольцо. Я и приехала, обошла больше десятка террейро, нигде вас нет, вконец отчаялась, думала уж завтра возвращаться в Сан-Пауло... Но вот узнала про это кандомбле... Колечко-то у меня медное, со львиной головой...

— Кольцо твое вон у того человека в белой шляпе, — указала Ойа на Камафеу де Ошосси, который, как и подобало ему, стоял подле Мигеля Сантаны.

Пергидрольная красотка подбежала к нему:

— Сказали, колечко мое...

— У меня, сеньора, у меня. Я получил из Лагоса партию ожерелий, браслетов и колец, все распродал, только оно одно и осталось. Завтра пораньше приходите на рынок, я его вам отдам. Спросите Камафеу де Ошосси^[15], вам всякий покажет, где меня найти.

— А сколько оно стоит?

— Нисколько. Это подарок Иансан. Если пожелаете, принесете ей в дар белую голубку. На пристани отпустите ее на волю.

Вздумала было Ойа вскочить на своего коня — вон, в кругу их четыре, выбирай любого, а среди гостей сидит еще и Маргарида до Богун, жена огуна Аурелио Содре, — но потом решила просто потанцевать среди «дочерей святого», на потеху и радость богине Ошала, воплотившейся в ослепительную Кармен, богам Омолу, Шанго и Ошун, Ошосси и Йеманже^[16], а такой Йеманжи, принявшей на этот раз обличье Марии Клары, доселе не видывали на макумбах ни в Бразилии, ни в Анголе, ни на Кубе, ни в Бенине.

А ушла Ойа еще до конца празднества — много было у нее дел. Явилась она в город Баию, чтобы довершить начатое в январе, в четверг, в день Спасителя Бонфинского, ясно знала она свою цель и без колебаний шла к ней. А цель такая: вызволить Манелу из-под гнета и показать Адалжизе где раки зимуют. Ойа скачет на своих конях без седла и узды, но Адалжизу она и оседлает и взнуздает, она ее научит и терпимости и веселости, она откроет ей радость жизни.

Бездомный пес

ЭДИМИЛСОН ГРЕЗИТ НАЯВУ — Эдимилсон нес околесицу не только по телефону, но и теперь, стоя перед совершенно сбитым с толку и выведенным из себя доном Максимилианом. Чтобы не привлекать внимания, директор примчался в порт на своей машине, а не на служебной. Затормозил рядом с пустым «комби». «Отвечай, Эдимилсон, где статуя? Где статуя, я спрашиваю?!»

Худой, со впалыми щеками, понурившись, стоял как потерянный Эдимилсон на пустынном причале. Впрочем, потерян и растерян был и дон Максимилиан, хоть он и настойчиво требовал конкретных фактов, точных сведений — «довольно нести чепуху!» — а помощник его только руками разводил, и в тусклом свете уличных фонарей, бессильных справиться с вязкой таинственной тьмою, оба они похожи стали на марионеток. Издалека, от Ладейра-да-Монтанья, долетал смех, доносились голоса: там, в кафе и борделях, сейчас самая жизнь. Звезда зажглась над башнями Морского форта.

Эдимилсон, на грани обморока, клянется и божится, что своими глазами видел статую на корме баркаса, когда «Морской бродяга» ошвартовывался у Рампы-до-Меркадо. Солнце, правда, уже садилось, по небу, объятому закатным сиянием, метались, исчезая в море, сумеречные тени, но он все-таки узнал Святую Варвару, ибо несколько раз сопровождал дона Максимилиана в его наездах в Санто-Амаро-де-Пурификасан, исполняя обязанности помощника и шофера, и даже держал статую в руках.

— Да это была она! Голову даю на отсечение!

Что ж, значит, в голове этой не все в порядке, потому что, по словам Эдимилсона, выходило, что статуя стала расти, увеличиваться в размерах и вдруг превратилась в существо из плоти и крови — в темнокожую красавицу, одетую на баиянский манер. И существо это сошло на пирс и исчезло. Эдимилсон клялся язвами Иисуса Христа и непорочностью Девы Марии.

Но объяснить этого он не мог — не мог, и все тут, как ни напирал на него разъяренный дон Максимилиан, да и нельзя объяснить то, чему нет объяснения. Руки у Эдимилсона тряслись, со лба лил пот, его бросало то в жар, то в холод, и вообще он готов был расплакаться. Чудо господне или

дьявольское наваждение, но Эдимилсон ее видел, видел! Провалиться ему на этом месте! Эдимилсон твердил одно и то же, стоял на своем и под конец поклялся спасением души покойной мамы — куда уж больше?! Но самое загадочное то, что он нисколько не удивился, увидевши такие чудеса. «Да как же это возможно?» — «Я ж вам говорю, дон Максимилиан, дьявольское наваждение».

Но дон Максимилиан фон Груден в дьявола не верил. Когда-то Эдимилсон признался ему доверительно, что его с детства посещают видения: с наступлением темноты деревья превращаются в безобразных старух — набросив на плечи черные шали, они бродят по саду, пророчат беду. Даже полный университетский курс не излечил Эдимилсона, даже подпольное изучение диалектического материализма, предпринятое под воздействием уволенного профессора Жозе Луиса Пены, убежденного марксиста.

ПАСТЫРЬ И ЕГО ПАСТВА — Здесь, в окрестностях Рампы-до-Меркадо, кроме Эдимилсона с его бредовыми рассказами, не нашел всполошившийся директор Музея никого, кто мог бы ему помочь, ни одной живой души, способной пролить свет на это таинственное событие. То есть все готовы были помочь, но что проку от такого, например: «Местре Мануэл и Мария Клара вместе с Камафеу де Ошосси — вы ведь, ваше высокопреподобие, знаете его? Ну, еще бы! Его сам губернатор знает! Так вот, они втроем сели в такси. За рулем был этот прощельга Миро. Сели и уехали. А торговцы фруктами, „капитаны песка“ и парочка — все, словом, кто ждал прибытия „Бродяги“, те давно разошлись кто куда». Вот и все, что удалось дону Максимилиану узнать, — на рынке закрывались последние палатки. Про монахиню и падре никто вообще ничего не знал.

Это викарий сказал директору, что баркас «Морской бродяга» взял курс на Баию, что на нем помимо статуи плывут пассажирами падре и монахиня и что их попечению вверил он бесценный груз — видно, само провидение хранит статую! «Надо как можно скорее разыскать их, — сообразил дон Максимилиан, — и провидение на что-нибудь сгодится». Вдруг скульптура и сейчас находится у кого-нибудь из двоих? А если нет, то все равно дон Максимилиан узнает о происшествии из уст людей серьезных и поймет, что же на самом деле случилось после прибытия баркаса. Вот только как их отыщешь, если неизвестны ни имена их, ни фамилии, ни в каком монастыре обитает святая сестра, ни где священник обрел в столице приют?

Позвонить викарию? Спросить его обо всем этом? Но тогда придется и

рассказать о пропаже: «Знаете ли, милый друг, наша бесценная статуя куда-то запропастилась...» Нет, об этом и думать нечего! Тот попросту с ума сойдет, устроит такое, что костей не соберешь. Он ведь и скульптуру-то выставить в Музее согласился с большим скрипом, ни гарантии, ни страховки опасений его не развеяли, недоверчивости не уменьшили. Он сопротивлялся изо всех сил, стоял до последнего и со скрежетом зубовным уступил только личной просьбе кардинала — просьбе, больше похожей на приказание. Однако и после этого он не успокоился и в воскресной проповеди после мессы поведал прихожанам о своем несогласии, причем те единодушно поддержали своего пастыря... Нет, звонить викарию было бы чистейшим безумием. Следует исчерпать инцидент и разыскать Святую Варвару так, чтобы история эта не дошла ни до пастыря Санто-Амаро, ни до паствы его.

Так что же, ходить из обители в обитель, ища монашку? Обратиться в курию, чтобы узнать хотя бы имя священника? Прямо броситься к кардиналу, испросить у него аудиенцию? Сообщить о пропаже в полицию? Потолковать с Маноло на предмет оповещения антикваров? Предупредить через посредство Мирабо Сампайо самых крупных коллекционеров, что, дескать, плакали их денежки, если купят скульптуру? Самому идти по следу? Да где он, этот след? С чего начинать? Мир рухнул и погреб под своими обломками дона Максимилиана фон Грудена: сияющий полдень торжества и славы сменился ночью горечи и позора.

В полном отчаянии брел высокоученый монах по пустой пристани, взывая к небесам. Увязавшийся за ним бездомный бесхозный пес вскоре отстал, растянулся на мостовой и, обратив морду к шумящему во тьме морю, завыл — чем еще мог он выразить свое сочувствие?

БЕСЫ — «Что за преступление я совершил, в чем грешен я перед тобой, господи, за что мне такая кара, зачем так страшно испытываешь меня? Сжался, помилосердствуй!» Сдавленный вопль дона Максимилиана во тьме и безмолвии сливался с воем бездомного пса.

А перетрусивший ангел Эдимилсон видит цепочку огоньков — целый легион бесов тащит на плечах грехи дона Максимилиана. Вереница огоньков направляется к Монте-Серрату — там, у входа в часовню, возле чаши со святой водой встречает богомольцев Святой Петр Раскаившийся, только никто не знает, подлинная ли это скульптура, созданная столетия назад монахом Агостиньо да Пьедаде, или копия, изготовленная по приказу директора. Никто этого не знает — даже Эдимилсон, ближайший сотрудник и доверенный помощник, ни в чем не уверен. Вьются бесы вокруг дона

Максимилиана, и горбятся его плечи — тяжело бремя грехов.

Господи, грешен он, свершал грехи прощительные и смертные, проявлял слабость, поддавался искушению, падал, но что значит это по сравнению со всем тем, что делал — и продолжает делать — для вящей славы божией, для царствия божьего на земле?

А особенно на этой земле, на земле Баии, где выпала ему судьба жить и трудиться, на земле, где все слито и смешано воедино, где никому не под силу отличить порок от добродетели, провести грань меж сном и явью, правдой и ложью, обыденным и невероятным. На земле Баии святые и чудесники щедрой рукою творят чудеса и волшебства, и даже этнографы марксистского толка не удивляются, увидав, как на закате превращается католическая святая в мулатку-щеголиху.

Плетка

ПОРТРЕТ АДАЛЖИЗЫ НА ФОНЕ УЛИЦЫ — Вопль потряс авениду Аве Мария до основания:

— Сию минуту домой, бесстыжая тварь! Сучонка паршивая!

Но Манела исчезла, скрылась из виду. Когда Адалжиза замахнулась для оплеухи, никого уже перед ней не было. Конечно, девчонка юркнула в растворенную днем и ночью дверь Дамианы — у той всегда все настезь, и вечно толчется народ, не дом, а притон какой-то: так и снуют, так и снуют люди. Утром ставит тесто, готовит начинку для пирожков, которые потом шустрая орава мальчишек разносит по заказчикам. Дамиана — знаменитая кулинарка, ах, как она готовит: только от одного имени слюнки текут — и не ограничивается кварталом Барбальо, клиентура ее по всему городу, а в июне, когда начинаются празднества в честь Святого Иоанна и Святого Петра, отбою нет от заказов на кашу из кукурузной муки, пироги из маниоки сладкой или же размоченной в воде и на прочую снедь. И сама она, и ее домочадцы — люди веселые и работающие, так что уподобить ее дом притону не у всякого язык повернется. Однако у Адалжизы поворачивается, она вообще выражений не выбирает. Впрочем, о притоне или о борделе имеет она самые туманные понятия, а если доводится ей повстречать гулящую девицу — непременно отвернется и сплюнет в знак возмущения и порицания. Она не какая-нибудь такая, она порядочная женщина, а у порядочных женщин есть принципы, и они ими не поступаются.

Язык у нее, конечно, подвешен здорово, и голоса она не понижает, а наоборот, надсаживается, чтобы и соседка ни словечка не пропустила:

— Клянусь пятью язвами господа нашего Иисуса Христа, что отважу этого ухажера, пусть даже и сама в гроб сойду! Господь даст мне сил отвадить мерзавца, который хочет увлечь невинное дитя на погибельную дорожку! Господь со мной, и я ничего не боюсь, и пусть этот сброд держится подальше, я им не компания, я с кем попало не знаюсь. Клянусь, что выбью дурь из девчонки, мне на это не жалко и последнее здоровье потратить!

Адалжиза вечно жаловалась на слабое здоровье, и при цветущей внешности подвержена была постоянным приступам мигрени, которые мучили ее днем и ночью, портили и без того скверный характер, доводили

до бешенства. Вину за свое недомогание возлагала она на родню, на знакомых, на соседей — это уж как водится, — на мужа с племянницей — об этом и говорить нечего. Дона Адалжиза Перес Коррейя, в чьих жилах вместе с голубой кровью текла толика крови африканской — о чем она предпочитала умалчивать, — наводила страх на всю улицу.

ЗАД И ПРОЧИЕ ЧАСТИ ТЕЛА — В сущности, это была никакая не улица, а всего лишь глухой тупик, «cul de sac», как выражался профессор Жоан Батиста де Лима-и-Силва, сорокалетний холостяк, живший в крайнем, самом маленьком домике. Услышав громовые раскаты адалжизинового негодования, он подошел к окну, снял очки для чтения, вперил взор в зад разгневанной соседки.

Зад того заслуживал. Во всем следует искать светлую сторону, и таковой в этом унылом тупике, где не было ни газонов, ни палисадников, ни деревьев, ни цветов, являлся зад Адалжизы — он один упорно доказывал, что божий мир все-таки прекрасен. В возвышенно-греховных видениях профессора он делал честь самой Венере или Афродите, становился достоин резца Праксителя, кисти Гойи, — под резцом я понимаю не зуб, а под кистью — не длань. Как видите, Жоан Батиста тоже был склонен к преувеличениям...

Впрочем, радовало глаз профессора и все остальное — пышная, упругая грудь, длинные ноги, черные кудрявые волосы, обрамлявшие удлиненное лицо, на котором горели яростью трагические иберийские глаза. Лицо это портило только злобное выражение — вот если бы Адалжиза согнала с него брезгливо-надменно-высокомерную гримасу, рассталась бы с презрительной миной и улыбнулась, ах! — тогда красота ее покорила многие сердца и вдохновила поэтов на бессмертные строки. Вечерними часами профессор Жоан Батиста тоже подсчитывал стопы, подбирал рифмы поизысканней, но муза слетала к нему в обличье не Адалжизы, а неискушенных его возлюбленных той поры, когда он жил в захолустье штата Сержипе.

Происходя по отцовской линии — а никакой другой она не признавала — из рода Перес-и-Перес, Адалжиза участвовала в процессиях «кающихся» на святой неделе; задом, достойным кисти Гойи, не гордилась, про Венеру знала только, что у той не было рук, а про Афродиту вообще никогда не слыхала.

СУПРУГ С СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ — Ярость достигла наивысшей точки, когда Адалжиза узнала в водителе такси, стоявшего у

въезда в тупик, мерзавца Миро, у которого еще хватило дерзости помахать ей ручкой. Рвань подзаборная! Голодранец! Наглец! Заметив, что за ней наблюдает профессор Батиста — это человек во всех отношениях почтенный, преподает в университете и в газеты пишет, — Адалжиза вежливо поздоровалась и сочла нужным объяснить причину своей несдержанности:

— Я несу свой тяжкий крест, за грехи мне доставшийся, — воспитываю чужого ребенка. Представляете ли вы, какая это ответственность, как много отнимает сил? А она меня в могилу сведет! Где это видано, чтобы девочка, которой только-только исполнилось шестнадцать...

— Дело молодое... — проямлил профессор: он не знал, в чем провинилась Манела, но подозревал, что ее застукали с парнем. Уже, значит? Но только какой же она ребенок в шестнадцать-то лет? Не ослепла ли тетушка: разве не видит, что племянница ее — настоящая женщина, обольстительная и своенравная, и все при ней — хоть сейчас в постель. Да ведь она чуть не победила на конкурсе «Мисс Что-То Там». — Следует быть терпимей...

— Я ли не терпима? Ах, профессор, вы же ничего не знаете!.. Ах, если бы я вам рассказала....

Ну а если Манела еще хранит непорочность, значит, попусту тратит время: противозачаточные пилюли во всех аптеках, и рецепта не надо. Нынешние девицы залететь не боятся и пускаются во все тяжкие, словно боятся недополучить свое, неймется им. И пример Адалжизы никого вдохновить и вразумить не может.

Все уже миллион раз слышали, что до замужества у нее не было ухажеров, что Данило первым был и единственным остался, что к венцу он повел невесту, сохранившую и чистоту и невинность. Ну, насчет невинности — дело темное, а в чистоту никто не поверит: нет таких моральных устоев, которые не поколебались бы за год, прошедший от помолвки до свадьбы, и жениху кое-что, хоть и небольшое, перепадает, без поцелуев и обнимания в темных углах не обходится. Но до чего же повезло все-таки Данило Коррейе, скромному и усердному делопроизводителю нотариальной конторы Вильсона Гимараэнса Виэйры, закатившейся футбольной звезде, неизменному партнеру профессора по шашкам и триктраку, как счастлив супруг, получивший в исключительное владение и величественный зад, и все прочие прелести добродетельной и верной Адалжизы!

Профессор Жоан Батиста жестоко ошибался, ибо не ведал, до каких

пределов простирается эта самая добродетель. Исключительным правом собственности на тело Адалжизы владел совсем даже не Данило Коррейя, а господь наш Иисус Христос.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА — Заявляю во всеуслышание и торжественно обещаю, что вскорости на эту жгучую тему мы еще поговорим, еще вернемся к вопросу о чрезмерной стыдливости Адалжизы и о супружеском ложе, подчиненном суровым догматам. Вы еще узнаете о еженедельном контроле за интимной жизнью Адалжизы, который осуществляется в церкви Сантана каждое воскресенье, перед десятичасовой мессой и причастием. Я еще познакомлю вас с ее духовником и исповедником, преподобным отцом Хосе Антонио Эрнандесом, аскетом по духу и фалангистом по политическим убеждениям, с этим испанцем, распределяющим места на жаровнях преисподней, с этим миссионером — «клянусь телом Христовым, не было у меня миссии трудней, чем в Бразилии!» — охранителем чистоты и нравственности, блюстителем морали. В приличествующих случаю подробностях будет поведано и о невзгодах и горестях делопроизводителя Данило Коррейи, павшего жертвой жениного целомудрия.

Но прежде я намерен представить вам Манелу, которая лишь на мгновение промелькнула перед вашими глазами и тотчас исчезла в растворенной двери толстой Дамианы, откуда так вкусно пахло перемешанными с кокосовым молоком и лимонной цедрой пряностями — ванилью, корицей, орехами, имбирем.

И знаете вы про Манелу лишь то, что пронеслось в воспаленном мозгу профессора Батисты: за какую вину собралась карать ее Адалжиза? девица она еще или уже отведала запретного плода? избрали ее Мисс Что-то Такое или нет? Все эти неясности следует прояснить, тем более что на предшествующих страницах уже сообщалось о том, что именно для освобождения Манелы из-под теткиного гнета появилась в городе Баия грозная богиня Ойа Иансан с колчаном, полным молний, через плечо, жаба, не боящаяся мертвых, ориша, от воинственного клича которой начинаются извержения вулканов. Ну, так кто ж такая эта самая Манела?

Нет-нет, все правильно: Манела, а не Мануэла — все переспрашивают, думая, что ослышались или что в тексте опечатка. Манела — имя, полученное в память прапрабабки-итальянки, легендарная и роковая красота которой перешла в семейные предания. Из-за нее — из-за первой в роду Манелы, — презрев эдикт, дрались на дуэли два пылких и глупых подполковника; из-за нее покончил с собой тогдашний губернатор

провинции; из-за нее некий падре, без пяти минут епископ, отрекся от сана, отказался от митры, посоха, лиловой сутаны и поддался плотскому искушению.

А тех, кого заинтересует история долгой и бурной жизни Манелы Белини и кто захочет узнать поточней имена и даты, чины и должности, я отсылаю к соответствующей главе «Материалов к истории провинции Баия», сочинения профессора Луиса Энрике Диаса Тавареса, где вышеприведенные факты вкупе со многими другими засвидетельствованы документами: и триумфы примадонны на оперной сцене перед неистовствующей от восторга публикой, и смертельный поединок на шпагах, когда оскорбление, пятнавшее честь Белини, смывалось кровью — хватило, впрочем, нескольких капель, — и все сплетни по поводу самоубийства губернатора, и незаконная связь с неудавшимся епископом, связь, положившая начало баианской ветви рода и традиции имени... Увлекательнейшее чтение — не судите по заглавию.

Видный историк Луис Энрике Диас Таварес был двойником беллетриста Луиса Энрике — Луиса Энрике «tout court^[17]», как говорил его коллега и душевный друг Жоан Батиста де Лима-и-Силва. Беллетрист воспользовался услугами ученого и сделал из предания о падре-расстриге изящную плутовскую новеллу. Право, не знаю, которому из Луисов отдать пальму первенства. Прочитайте их творения и решите сами.

Эуфразио Белини до Эспирито Санто, потомок расстриги, в кругу приятелей за кружкой пива и непринужденной беседой любил вспоминать о приключении своего прадеда — «неприступная итальянка, друзья мои, волосы так и выются под ветром, какая женщина!..» Она родила дочь и нарекла ее тоже Манелой.

ПРОЦЕССИЯ — Манела не принимала участия в выносе плащаницы в Страстную пятницу. Ее место было в другом шествии, в иной процессии, свершавшейся в четверг, в честь Спасителя Бонфинского или, иначе говоря, в честь Ошала, на крупнейшем в Баии и единственном в мире торжестве. Она не каялась и не сокрушалась, не куталась в черную мантилью, не выпевала под зловещие трещотки слова литании — это пусть тетушка Адалжиза, бия себя в грудь, выкрикивает: «Mea culpa!^[18]» Манела сияла от радости и веселья и одета была в ослепительной белизны наряд баианских женщин. Покачиваясь всем телом, чтобы сохранить равновесие, несла она на голове кувшин с настоянной на душистых травах водой — ею омоют полы в храме, — шла, пританцовывая и напевая, не в силах противиться

музыке, которую исторгали электротрио.

В этом году Манела впервые заняла свое место в процессии — всякому понятно, втайне от тетки, — а для этого пришлось отменить урок английского в Летнем американском институте. Именно, именно: не сорвать, не промотать, а отменить, ибо вся группа еще накануне сообщила преподавателю Бобу Барнету о своем единодушном решении на занятия не ходить, чтобы поспеть на празднество. Юный Боб, очень интересовавшийся баиянскими обычаями, мало того что согласился отменить урок, но и попросил взять его с собой. На торжестве богатая его натура раскрылась во всем блеске — он до упаду отплясывал самбу, до отказа накачивался пивом. Наверно, это про таких, как он, говорят: свой в доску.

Манела переделалась у другой своей тетки — Жилдеты. Когда Долорес и Эуфразио погибли в автокатастрофе — возвращались на рассвете со свадьбы в Фейре-де-Сантана, и Эуфразио не успел увернуться от вылетевшего лоб в лоб фургона, груженного ящиками пива, — Адалжиза взяла к себе их старшую дочь, Манелу, а Жилдета — младшую, Мариэту. Она вдова с тремя детьми, просила отдать ей обеих девочек. Адалжиза не согласилась: у сестры Долорес такие же права, как и у сестры Эуфразио; она выполнит свой родственный долг. Бог не дал ей своих детей, и она посвятит всю жизнь тому, чтобы воспитать из Манелы порядочную женщину, женщину с твердыми жизненными принципами, женщину, подобную себе.

Относительно будущего, уготованного Мариэте, она предпочитала не распространяться, ибо ничего хорошего не ждала от ее новых родственников, чьи взгляды казались ей предосудительными, — и Адалжиза не упускала случая их осудить. Жилдета была вдовой владельца павильончика на рынке и учительницей младших классов, важной дамой себя не считала, но обладала золотым сердцем. Заслуживает внимания и опрос общественного мнения, сводившийся к лаконичной формуле: Мариэта выиграла сто тысяч по трамвайному билету — в этом сходились все друзья и знакомые.

Празднество началось на паперти церкви Пречистой Девы Непорочно Зачавшей — у храма Иеманжи, куда Манела пришла с утра пораньше вместе с тетушкой Жилдетой, сестрою Мариэтой и кузиной Виолетой. Там уже собрались десятки баиянок. Какие там десятки? Сотни, сотни женщин стояли на ведущих ко храму ступенях, и каждая была в ритуальном одеянии — широченная юбка верхняя, семь накрахмаленных юбок нижних, кружевная вышитая блуза, сандалии-босоножки без каблука, на шее —

ожерелья, на запястьях — серебряные браслеты с разноцветными камнями: у каждого святого — свой цвет. На обвязанной тюрбаном голове — кувшин с водой. Матери и дочери святых — представительницы всех африканских племен: наго, жеже, ижеша, ангола, конго — Манела, пожалуй, была краше всех — от всеобщего оживления, от царившего на площади веселья распустилась она, как бутон. С грузовиков гремели, созывая народ, барабаны, но тут зазвучало электротрио и все пустились в пляс.

От церкви Приснодевы Непорочно Зачавшей, что неподалеку от Подъемника Ласерды, до собора Спасителя Бонфинского на Святом Холме километров десять: чуть длинней или чуть короче покажется путь — зависит от рвения участников шествия и от количества выпитой кашасы^[19]. Тысячи людей, людское безбрежное море. Машины, грузовики, повозки, ослики, убранные гирляндами из цветов и листьев, везут бочки с душистой водой про запас — а вдруг не хватит? Идут целыми семьями, шагают карнавальные группы-афосе и музыканты с аккордеонами, гитарами, кавакиньо, барабанами, беримбау, любимые в Баии композиторы и певцы — Тиан-Шофер, Ручеек, Шоколад, Паулиньо Камафеу, звучат голоса Жеронимо и Мораэса Морейры. В щегольском белом костюме шагает по мостовой седоголовый Бататинья. Ему пожимают руку, его обнимают, к нему протискиваются из толпы, чтобы поздороваться. Вот подскочила какая-то блондинка — американка? итальянка? из Сан-Пауло? — чмокнула старика в черную симпатичную щечку.

Бедные и богатые перемешались в этом шествии, жмутся и давятся в этой процессии. В Баии, городе-метисе, живут люди всех цветов кожи — от угольно-черного до сливочно-белого, а между двумя этими полюсами — бесконечное разнообразие оттенков. Тут едва ли не весь город: поди-ка сыщи такого, кто не молился бы Спасителю Бонфинскому, не поклонялся бы всеведущему Ошала.

Здесь и командующий округом, и командир военно-морской базы, и начальник ВВС, и председатель Законодательного собрания, и председатель Верховного суда, и председатель Палаты депутатов, и банкиры, и владельцы гигантских плантаций какао, и высшие чиновники, и сенаторы, и депутаты. Некоторые едут в черных лимузинах, а некоторые — и среди них губернатор, префект, «табачный король» Марио Португал — идут пешком, в самой гуще народных масс. Здесь и легион демагогов, собирающихся выставить свои кандидатуры на ближайших выборах: уж они-то, чтобы заручиться голосами будущих избирателей, одолеют десять километров на своих двоих, не поскупят на улыбки, на объятия, на

похлопывания по плечу.

Колышется людское море под звуки священных гимнов, ритуальных песнопений, разухабистых карнавальных самб. Чем ближе к цели, тем многолюдней становится толпа: вливаются в нее ручейки из улиц и переулков, пустеет рынок Святого Иоакима, бегут опоздавшие с паромов и катеров, выпрыгивают из баркасов и рыбацких шаланд. И когда голова процессии достигает подножия холма, взвивается к небесам всем знакомый, всеми любимый голос Каэтано Велозо, и в наступившей тишине звучит гимн в честь Спасителя Бонфинского.

А когда процессия вползает на отлогий склон, начинают греметь атабаке, славя грозного Ошала. Люди движутся ко храму, закрытому по распоряжению курии. Раньше мыли всю церковь и молились богу Ошала у Иисусова алтаря — может, когда-нибудь и опять так будет. А сейчас баиянки заполняют церковный дворик и паперть, начинают обряд омовения.

Наделенный чудотворной силой, Спаситель Бонфинский прибыл к нам из Португалии еще в колониальные времена — видно, спас терпящего бедствие мореплавателя, и тот дал ему обет. А Ошала принес на окровавленной спине раб-африканец. Оба витают теперь над процессией, оба живут в сердце баиянца, оба плещутся в воде для омовения, сливаясь воедино, превращаясь в одно божество — бразильское божество.

ДВЕ ТЕТУШКИ — Этот четверг — день Спасителя Бонфинского — стал решающим в жизни Манелы. Все приспело, все совпало, все пришлось одно к одному: процессия, счастливый день, заполненный пением и танцами, наряды баиянских женщин, площадь, разукрашенная флажками из шелковой бумаги и ветками кокосовых пальм, обряд омовения, священный ритуал и застолье, застолье вместе с сестрой и двоюродными братьями, когда пальмовое масло так и текло по подбородку, и ледяное пиво, и огненная кашаса, и запах гвоздики и корицы от каждого блюда, танцы на улице, звуки электрогитар, разноцветные лампочки вдоль фасада церкви, и Миро, Миро, который вел ее за руку в густой толпе. Манела чувствовала себя так легко, что, казалось, еще немного — и она ласточкой вспорхнет в воздух, взлетит над веселой праздничной сумятицей.

Еще утром к церкви Приснодевы Непорочно Зачавшей пришла самая обыкновенная, ничем не примечательная, бедная девочка да к тому ж еще довольно несчастная — задавленная чужой волей, привыкшая вечно держать оборону, боязливая, лживая, унылая, покорная, притворяющаяся.

«Да, тетя», «Хорошо, тетя», «Иду, тетя». Манела согласилась участвовать в процессии, потому что Жилдета поставила перед ней ультиматум:

— Если завтра рано утром не явишься к церкви, я сама приду за тобой, и пусть только попробует эта дрянь не отпустить тебя из дому — быть ее роже битой, ты меня знаешь! Да что ж это творится?! Спеси — на трех императриц, а кто она есть на самом деле? С чего она так задирает нос? Дерьмо такое... Этот Данило — порядочный рохля, если уживается с такой женой! — Жилдета воинственно уперла руки в боки. — Мне бы давно следовало потолковать с этой ломакой по-свойски: она распускает про меня мерзкие сплетни, обзывает горлопанкой и скандалисткой. Ну, ничего, когда-нибудь она за все ответит.

У благодушной и мягкосердечной тетушки Жилдеты угрозы обычно дальше слов не шли, и обиды она прощала легко. Однако бывали все-таки случаи, когда она впадала в ярость по-настоящему и становилась неузнаваемой, и на что угодно способной, и весьма опасной.

Разве не так с ней было в кабинете важного чиновника по народному образованию, когда правительство в целях экономии попыталось отменить школьные обеды? « Попрошу вас не кричать! » — сказал чиновник, и больше ему уже ничего сказать не пришлось: он потерял лицо и удрал из собственного своего кабинета, дабы избежать оскорбления действием. Коренастая, крепко сбитая Жилдета, обуянная боевым задором, произнося страшные обвинения, шла на него во имя бедных детей, заноса для неотвратимого удара зонтик. Перепуганные секретарши и прочая канцелярская шваль попытались было задержать ее и урезонить, но Жилдета расшвыряла их как котят и, не вникая призывам остановиться и одуматься, прорвалась сквозь целую анфиладу служебных помещений в святая святых — особый покой, где чиновник отдыхал от трудов праведных. Потом в газетах появилась ее фотография и заметка о злокозненном замысле Управления отменить школьные обеды, дотоле сохранявшемся в строжайшей тайне. Заметка вызвала такую волну возмущения, что возникла реальная угроза забастовок и манифестаций, благодаря которой первоначальное решение было отменено, а Жилдета не потеряла место. Более того, вместо очень крупных неприятностей она удостоилась лестных слов от самого губернатора, который давно искал подходящего случая отделаться от начальника Управления, в чьей политической лояльности уверен не был. Его сделали творцом злосчастной идеи насчет обедов и бросили на растерзание общественному мнению.

Да, Жилдета удостоилась лестных слов от губернатора и на какое-то время прославилась: в своей речи в Законодательном собрании штата

бестрепетный депутат от оппозиции Ньютон Маседо Кампос упомянул об инциденте и, превознося Жилдету, назвал ее «пламенной патриоткой, воплощением гражданского самосознания, по-рыцарски благородной защитницей детей и вождем многострадального сословия учителей». Ее даже хотели ввести в состав руководства профсоюза, но она отказалась: похвалы ей нравились, но ни вождем, ни воплощением самосознания она не была рождена.

Итак, Манела превратила свою слабость в силу и, воспользовавшись тем, что Адалжиза с мужем отправились на поминальную мессу по супруге одного из сослуживцев Данило, рано утром постучалась в дверь Жилдеты. В руках она для отвода глаз держала учебник английского и тетрадки. Расчет был такой: тетушка думает, что она пошла на урок и вернется к обеду; она покинет процессию, чтобы успеть переодеться, схватить книжки, вскочить в автобус и в срок поспеть домой. И вот Манела, пугаясь собственной отваги, одолевая внутреннюю дрожь, надела накрахмаленные нижние юбки, юбку верхнюю, а сверху, прямо на голое тело, — о, если бы видела это Адалжиза! — кружевную баиянскую блузу.

Сказать, что Манела не раскаялась в содеянном, а пришла от него в восторг, — значит ничего не сказать. Безнадёжно опаздывая, домой вернулся совсем другой человек: Манела истинная, — Манела, вновь обретшая свое естество, Манела распрямившаяся, а не та съезжившаяся в ожидании неминуемой трепки девочка, в которую она превратилась после гибели родителей. Под трепкой я разумею и кару божью, ибо от всевидящего господнего ока ничто не укроется и за все придется в день Страшного суда держать ответ, и методы, которыми воспитывала и растила свою племянницу Адалжиза — проведая о проступке, она моментально поднимала крик. Добро бы только крик: поднималась, а потом и опускалась плетка.

Манела попала в дом к Данило и Адалжизе, когда ей исполнилось тринадцать лет, — не так уж мало, по мнению тетки, считавшей, что родители воспитали ее исключительно скверно. Девочка-подросток, своевольная и упрямая, привыкла якшаться бог знает с кем, вместе с одноклассницами сбегать с уроков в кино, смотреть по телевизору детские передачи, в которых, кроме названия, ничего детского нет, привыкла к танцулькам и вечеринкам. Безответственные родители даже на кандомбле ее водили.

Но Адалжиза быстро ее укротила: отныне все было по точному расписанию — нечего попусту по улицам шляться, на праздник или в кино только вместе со взрослыми. О террейро пришлось забыть навсегда — все

эти языческие радения наводили на Адалжизу ужас. Я бы даже сказал: «священный ужас». Итак, тетушка племяннице дала укорот, она ее привела в чувство, приструнила, карая за малейшую провинность без пощады и снисхождения. Она исполняла свой долг приемной матери — когда-нибудь Манела сама ей «спасибо» скажет.

ПОЛДЕНЬ — «Эше э ба ба!» Ритуальным жестом вскинув ладони к груди, Манела приветствовала появление во дворе церкви Ошолуфана старца Ошала, низко склонилась перед тетушкой Жилдетой, которая, вздрогнув всем телом, закрыла глаза, и Ошолуфан вселился в нее. Опираясь на швабру, как на посох, в танце дошла она до места, отведенного «посвященным»: старый и хромой, но наконец-то освобожденный из заточения, где пребывал он без вины и без суда, Ошала радуется воле. И в ту минуту, когда он появился на площади, церковные колокола возвестили полдень.

А ведь в полдень Манела рассчитывала вернуться домой к обеду — вернуться, как подобает школьнице, в юбке и блузке, упрятав груди в лифчик, зажав под мышкой папку с учебниками и тетрадками, — она же была на занятиях в Летнем институте. «Здравствуй, тетя Адалжиза, хороша ли была месса?»

Забыла, забыла! Или вспомнить не захотела, а теперь зазвонили колокола, и можно уже ничего не вспоминать, и никуда не торопиться, потому что все равно в половине первого дядя Данило сядет за стол, и тетя Адалжиза подаст ему обед. Когда Манела опаздывает, тарелка остывшего супа ждет ее на кухне — вовремя надо являться, вперед будет наука. Но сегодня Адалжизе не до того: она и сама-то еле прикоснулась к бифштексу с фасолью, ибо от изумления и возмущения первый же кусок стал у нее поперек горла. В висках сразу заломило, во рту появился привкус горечи, язык отнялся. Адалжиза глядела и глазам своим не верила — и лучше бы ей ослепнуть.

ВОДЫ ОШАЛА — «Задом наперед только краб ходит», — авторитетно заявила накануне Жилдета, весьма склонная к поговоркам, пословицам и афоризмам. Тонко подмеченной особенностью крабьей походки и кончилась ее гневная речь против Адалжизы: она успокоилась, уселась между племянницами, принялась перебирать волосы своей дочери Виолеты, примостившейся у ее ног. Затем всем им была поведана легенда о водах Ошала — если угодно, я вам ее перескажу. Может, при этом и была у Жилдеты тайная мысль, но она ее вслух не высказала. Итак, она понизила

голос и поведала нижеследующее — ну, может, где-нибудь переврал я словечко-другое:

— Слышала я от своей чернокожей бабушки, а ей когда-то старики рассказывали, что в один прекрасный день решил Ошала обойти все свои владения и царства трех сыновей своих — Шанго, Ошосси и Огуна — и узнать, как живется людям, восстановить справедливость, покарать зло. Чтобы не узнали его, надел он нищенские лохмотья и пустился в путь-дорогу. Однако прошел немного: очень скоро его как бродягу схватили, засадили в тюрьму да еще и избили. И вот за решеткой, в одиночестве и в грязи, провел он долгие годы.

Но однажды проходил мимо ужасной той каталажки Ошосси и узнал он в арестанте отца, которого уже считал мертвым. Ну, конечно, мигом освободили Ошала, вывели из тюрьмы, а перед тем как с почетом водворить во дворец, с песнями и танцами принесли женщины воды, настоящей на душистых травах, омыли его тело, а самые красивые согревали потом ложе Ошала, сердце его и прочие члены.

«Вот теперь на собственной своей шкуре, — молвил тогда Ошала, — понял я, как живется людям в моем царстве и в царствах троих моих сыновей: здесь, и там, и повсюду правят сила и произвол, всем велено молчать и повиноваться, а доказательства тому — у меня на спине. А вода, которая гасит пламя и врачует язвы, погасит и страх и деспотизм, а жизнь народа изменится к лучшему. И в том клянусь я своим царским словом». Вот какую историю о водах Ошала передают из уст в уста: она перелетела через море и к нам, в баиянскую нашу столицу. Ведь очень многие из тех, кто идет в шествии и несет в горшках и кувшинах благовонную воду, чтобы вымыть полы во храме, не знают, откуда повелся такой обычай. А вы теперь знаете и расскажете об этом детям своим и внукам: история хороша и поучительна.

Замолчала Жилдета, улыбнулась племянницам и дочери. Потом взяла Манелу за руку, прижала ее к своей груди, расцеловала в обе щеки, погладила по кудрявым волосам.

Всякий с первого взгляда заметит, что Ошала не удалось изменить жизнь людей к лучшему. И все-таки я считаю, ни одно слово против насилия и тирании даром не пропадает: всякий, кто это слово услышит, может побороть страх и начать борьбу. Вот почему Манела в тот час, когда ей полагалось уже быть дома, еще ходила дорогами Ошала во дворе храма Спасителя Бонфинского.

ЭКЕДЕ — Когда зазвонили колокола, не на шутку встревоженная

Манела решила прибегнуть к Спасителю Бонфинскому, для которого, как известно, ничего невозможного нет. Над ризницей целый этаж отведен под благодарственные подношения тех, кто имел случай убедиться в чудотворной его силе.

И в ту самую минуту, когда взмолилась к нему Манела, — «Пощади, господи!» — бессознательным, от далеких предков унаследованным движением начала она обряд экеде — младших жриц, которым поручено заботиться об ориша: сняла стягивавший талию пояс, чтобы этой незапятнанной тканью отереть пот с лица Жилдеты, — приказ отдал, уперев сжатые кулаки в бока, сам Ошала.

Манела ясно сознавала тяжесть свершенного преступления и степень своей вины — ох, велика, велика, больше, наверно, и не бывает. Теперь надо придумать правдоподобное объяснение, измыслить что-нибудь такое, что удержало бы карающую десницу Адалжизы и заткнуло бы ей рот, — иные слова хлещут побольней оплеухи. Обмануть недоверчивую и подозрительную тетку было трудно, и все же иногда удавалось Манеле провести ее и избежать нотаций, брани и плетки. Не то что она от рождения была лживой девочкой, но в минуты страха и унижения ничего другого не оставалось. Беда-то в том, что порой ей никакая увертка не приходила в голову, и тогда оставалось лишь признавать вину и просить прощения: «Прости меня, тетечка, не буду больше, никогда больше не буду, господом нашим клянусь и спасением маминой души, никогда!» Признание вины от кары не спасало, в лучшем случае чуть-чуть ее смягчало — так стоило ли виниться?

И вот Манела отерла пот с лица Жилдеты и бездумно, словно исполняя чей-то приказ, — а не Ошала ли шепотом произнес тот приказ? — пустилась в пляс рядом с теткой, празднуя свое посвящение, радуясь вновь обретенной свободе, окончанию одиночества и подлости. В голове у нее помутилось, по рукам и по ногам побежали мурашки, колени задрожали, хотела выпрямиться — не смогла, изогнулась всем телом. Как во сне бывает, чувствовала она, что стала другой, что парит в воздухе, что не надо ей придумывать объяснений и уверток, не надо врать, ибо никакого преступления, проступка, ошибки не совершала и ни в чем не грешна. Не в чем ей виниться, не за что просить прощения и наказывать ее тоже не за что. Как рабыня, получившая вольную, танцевала Манела перед хозяином Святого Холма, перед грозным Ошала, а стоявшие вокруг баиянки хлопали в такт. Где научилась Манела этим движениям, где подсмотрела эти па? Проворна и легка была она, ибо восстала против неволи и сбросила с плеч тяжкое бремя страха и вины.

Ошолуфан, Ошала-старец, главный над всеми богами, подошел к ней, обнял, надолго прижал к себе, покуда дрожь не прошла по его телу, не отозвалась в теле Манелы. А потом она отступила на шаг, крикнула во все горло, во всеуслышание: «Эпаррей!» И баиянки, склоняясь перед нею до земли, повторили: «Эпаррей!»

Иансан исчезла так же неожиданно, как и появилась. Исчезла, унося с собой, чтобы зарыть в лесной чащобе весь набор мерзостей — малодушие и покорность, притворство и позор, страх перед угрозами, бранью, затрещинами и оплеухами, перед жестким ремешком, висящим на стенке. Унесла она и то, что было гаже всего остального — мольбу о прощении. Ойа вытерла лицо Манелы, пригладила растрепавшиеся кудри.

На смену страху, овладевшему ею, когда колокола прозвонили полдень, пришло чувство беззаботной, ничем не омраченной радости — Манела, отринув ярмо и кнут, возродилась к жизни. Вот докуда докатились в тот четверг воды Ошала. Угасили они адский огонь.

COUP DE FOUDRE^[20] — В тот четверг, в день Спасителя Бонфинского, под ослепляющим и обжигающим январским солнцем Манела узнала Миро.

«Настоящий coup de foudre», — сказал бы об этом событии дорогой сосед, высокоученый профессор Жоан Батиста де Лима-и-Силва, знаток французского языка и литературы. Выражение «любовь с первого взгляда» справедливо только по отношению к Манеле, ибо, если верить Миро, он-то уже давно положил на нее глаз и только ждал удобного случая, чтобы объясниться.

Ликующая Манела оказалась у самой церковной ограды, кропя душистой водой восторженную толпу — «дочери» святых как раз воплощались в богов, и по двору в трансе бродили шестнадцать Ошала, десять Ошолуфанов, семь Ошагиньясов, — и вдруг услышала: кто-то зовет ее, настойчиво повторяет ее имя:

— Манела! Манела! Глянь-ка сюда!

Манела поглядела в ту сторону, откуда доносился голос, и увидела этого парня — он был прижат к прутьям ограды и смотрел на нее молящими глазами. Черное лицо расплывалось в широчайшей улыбке, обнажавшей белоснежные зубы, а ноги его, хоть он и был вплотную притиснут к ограде, выделявали па самбы. Манела вылила последние капли из своего кувшина на его курчавую голову, причесанную по последней моде, завезенной из Америки «черными пантерами»,

активистами движения «black power^[21]», — борцами против расизма. Манела не помнила, видела ли она его раньше, да и какое это теперь имело значение?

Миро протянул ей руку и сказал:
— Пойдем.

ЛАСТОЧКА В ПОЛЕТЕ — Словно вырвавшаяся на волю ласточка, которая бьет крыльями, готовясь взмыть в воздух и открыть для себя весь мир, Манела заливалась смехом, чувствуя, как переполняют ее блаженная легкость и свобода, беспричинная радость бытия, счастливое безумие, как вселяется в душу единственное желание — жить.

На церковной площади и на прилегающих к подножию холма улицах меж тем начинался карнавал — полтора месяца праздности и веселья, полтора месяца непрерывного праздника — человек ведь, согласитесь, не железный, чтобы целый год сносить нищету и угнетение, пить немеряную и горькую чашу страдания? А умение веселиться да еще в обстоятельствах, столь мало располагающих к веселью, — это уж редкая особенность нашего народа, она дарована нам Спасителем Бонфинским и Ошала; из них двоих родился Бог Бразилии, и родился, разумеется, в Баии.

Проходили карнавальные группы, школы самбы, афоше. «Дети Ганди» впервые в этом году показывали на улице свое мастерство, и гулкое эхо электрогитар долетало до самого горизонта — грязного, заболоченного, гниющего. Сновали в толпе «капитаны песка», продавая ленты, ладанки, медальончики, раскрашенные фигурки святых, разнообразные талисманы и амулеты. Поспевала вслед за процессией возбужденная и говорливая орава туристов.

На лотках источали неземное благоухание разные яства: акараже, абара, мокека, крабы, жареная рыба. В палатках и павильончиках, до отказа набитых шумными посетителями, продавали каруру, ватапу, эфо и прочие всевозможные блюда — и ледяное пиво, и кашасу с лимонным соком и сахаром. Исполинские корзины с фруктами — одних только бананов одиннадцать видов, а манго? а «бычье сердце», сапоти, кажа, кажу, питанги, жамбо, а груды арбузов, а кучи ананасов? Все это надлежит съесть без промедления, а то испортится, но зеленчики не сбавляют цен, хотя торговля идет бойко, как никогда, — покупатели сметают все подряд.

А в домах, сданных внаем понаехавшим на праздник туристам, гремят маленькие оркестры — гитара, аккордеон, флейта, кавакиньо, пандейро-погремушки, — чтобы поднять дух оробевших хозяев. Кружатся пары, и среди них немало стариков и старушек, ни в чем не уступающих молодым.

Что ж, танцы заглушат тоску по доброму старому времени... Но конечно, самое веселье — на свежем воздухе, на улице, где электротрио наяривают самбы, фрево^[22], карнавальные марши. Недаром же сказал один бродячий менестрель: «А вослед за этим трио только мертвый не пойдет...» Кто своими глазами не видел, тому смысла нет рассказывать об этом бале без начала и конца, о непрекращающемся танцевальном марафоне.

Манела вместе с ватагой молодежи — с сестрами родной и двоюродной, кузенами, их приятелями, подружками, приятелями подружек и подружками приятелей — веселилась без устали. В тот день она была вне конкуренции, никто не мог ее затмить или хотя бы сравниться с нею. Словно тяжко, чуть ли не смертельно больной человек, который чудом выздоровел, она хотела теперь получить все, на что имела право. Под чарующие звуки джаз-группы «Мастаки из Перипери» отплясывала она прямо на улице вместе с народом — правильней будет сказать — с простонародьем: так принято именовать самую неимущую часть баиянских граждан — самбу и румбу, фокстрот, болеро и твист, и даже аргентинское танго, ибо кавалер ее был совершенно непредсказуем. Там — глоток пива, тут — рюмку ликера, где-нибудь еще — коктейль, и становилась все веселей, все беззаботней. Вот, оказывается, что значит жить.

ОСВЯЩЕННАЯ СВЕЧА — В павильончике «Морская царица» сидела Жилдета во главе обильного стола, за которым оживленно и бессвязно кипела беседа, — она ела и пила, хохотала вместе со своими сыновьями, дочкой и племянницами, опекала влюбленных. А ушла еще до наступления сумерек — ей, пятидесятилетней вдовице, слушать рок-группу было неуместно да и не под силу.

Ушла Жилдета, поручив дочку и племянниц заботам своих сыновей — Алваро, студента-медика, с самыми серьезными намерениями ухаживавшего за своей сокурсницей, и бесшабашного красавца Дионизио, торговавшего на рынке Модело, неугомонного юбочника, вечно окруженного выводком девиц. В этот вечер внимание его оспаривали две сестры-близнецы — одна крашеная блондинка, вторая — темноволосая, — а он, выражаясь морским языком, решил, очевидно, затралить обеих. Двойняшки? Тем лучше. Кроме сыновей Жилдеты от Манелы ни на шаг не отходил и Миро.

Наслаждаясь лангустом, Жилдета искоса поглядывала на племянницу и оставалась очень довольна: Манела не говорила, что ей пора домой, не ерзала на стуле, никуда не спешила. Еще утром она поминутно смотрела на часы, сидела как на иголках, а после церемонии совершенно успокоилась.

Тревога ее сменилась необычайным оживлением: она говорила без умолку, хохотала по всякому поводу или без повода, была раскованна и вольна и не отнимала из рук Миро своей руки, а уж Миро в тот вечер был само остроумие, сама предупредительность, сама нежность. «Может быть, моя племянница выбросила лозунг „Независимость или смерть“?» — спрашивала себя тетушка Жилдета, которая, будучи, как известно, учительницей начальных классов, любила исторические аналогии. Поднявшись из-за стола, она спросила Манелу на ухо:

— Не хочешь пойти со мной? Вместе будем отвечать перед Адалжизой.

— Нет, спасибо, тетя, не стоит. Я еще побуду, вернусь с девочками. Не беспокойтесь, все будет о'кей.

Жилдета всмотрелась в ее лицо и за безудержным оживлением, за жаром праздника и влюбленности различила впервые проявившийся характер и бесповоротно принятое решение — да, несомненно, Манела провозгласила независимость. Ну, как бы там ни было, тетушка ее в беде не оставит, в трудную минуту не бросит, вмешается, если надо будет. «Веселитесь, дети мои!» — напутствовала она молодежь, взяла швабру, кувшин и отправилась на автобусную остановку.

Когда языческий обряд был окончен, двери храма открылись, и добрые католики, еще так недавно неистовствовавшие на радении, благоговейно крестились у чудотворного образа Спасителя Бонфинского, шептали «Отче наш», став на колени. Туристы, дав друг друга в тесной ризнице, прорывались в «Музей Чудес», спрашивали, можно ли фотографировать, и тотчас принимались за дело. Святоши продавали свечи, члены общины собирали пожертвования. Пожилой темнокожий падре с седым курчавым венчиком вокруг тонзуры подошел к дверям, окинул взором ликующую церковную площадь. Он еще застал времена, когда мыть разрешалось весь собор, и, ей-богу, не было в этом ничего кошунственного или святотатственнойю. И зачем понадобилось кому-то из церковных иерархов запрещать такую трогательную и умильную церемонию — народ моет и чистит господень дом? Негритянский обряд? Ну и что ж с того? Покажите мне баиянца, в жилах которого не текла бы африканская кровь. Нет такого. Ну, скажем, почти нет, но исключения крайне редки.

Жилдета зашла в храм, купила освященную свечу, зажгла ее. Осенила себя крестным знаменем и поставила свечу в один из бесчисленных канделябров у главного алтаря. Потом преклонила колени перед изображением господи нашего, Спасителя Бонфинского, помолилась, поднялась и пошла дальше, не забыв ни швабры, ни опустевшего

кувшина.

ВЛЮБЛЕННЫЕ — Когда Миро схватил Манелу за руку и повел, потащил в «Морскую царицу», где, благодаря связям Дионизио, ждал их накрытый стол, там уже сидели ее кузены — Алваро со своей невестой и вертопрах Дионизио с двойняшками, которых он обхаживал умело, увлеченно и успешно. Увидев Манелу, он вскричал, перекрывая гвалт и гомон:

— Эй, Миро, ты даешь! Так вот кто твоя девушка? Манела?

— Ты что, другую знаешь? — не без вызова ответил Миро.

Дионизио, заметив на лице кузины легкое недоумение, поспешил объяснить:

— Этот ветрогон сказал, что сейчас приведет свою девушку, а я и не знал, что вы знакомы.

Сидели тесно — стол был явно маловат для стольких гостей. Манела поглядела Миро прямо в глаза, словно требуя, чтобы тот объяснил свою дерзость, но тот сначала принялся заказывать: Манеле — мокеку из сири и кашасу с соком маракужа, себе — мокеку из ската и кашасу с соком лимонным. И только потом, глядя на нее так нежно, так покорно, что Манела, покраснев, опустила глаза, — на ослепительном солнце румянец, заливший ей щеки, был совсем не заметен, но я все равно не возьму на себя смелость опустить столь важную подробность — сказал:

— Разве ты не помнишь? Я с тобой познакомился года четыре назад, на кандомбле старого Гантоиса, на празднике Ошосси, ты была там с папой и мамой — они тогда еще живы были... Как будто вчера это было. Ты славная такая была девчушка. Я потом тебя как-то потерял из виду, но не забывал все это время. Потом только узнал, что ты — сестра Мариэты и кузина моего закадычного дружка. Ну, сказал я себе тогда, кончен бал, больше уж она от меня никуда не скроется.

«Этот малый от скромности не умрет», — подумала Манела, а сама пошутила, спросив Миро, — и шуточный ее вопрос то, что свыше предначертано, изменить, разумеется, не мог:

— А может, я-то тебя знать не хочу?

— А почему бы тебе не хотеть? У меня в подружках, слава богу, недостатка нет, можешь мне поверить — сами на шею вешаются. Мне ты нужна. Я ж тебе сказал: я тебя не забыл и вон сколько времени искал. Ты меня приворожила.

Он рассмеялся от души, уверенно и доверчиво, а следом засмеялась Манела, а потом, сам не зная чему, — Дионизио, а за ним — сестры-

близнецы. Это был самый настоящий «fou-rire^[23]», как объяснил бы, случись он там, профессор Жоан Батиста. Дионизио, заливаясь хохотом, незаметно показывал Манеле и Миро на двойняшек-соперниц: он еще не решил окончательно, с которой из них завершить сегодня празднество. Может, и с обеими — чтобы удержаться на гребне волны, волны свального греха, за который так горячо и прочувствованно ратуют представители аппетитно разлагающегося среднего класса. Успокоившись наконец, Дионизио сказал:

— Дураки вы оба. Нет, это не мой случай. Мне такая любовь и даром не нужна.

С этой минуты Манела и Миро больше не расставались. Взявшись за руки, бродили они по площади, завязали друг другу на запястье ленты Спасителя Бонфинского — по три узелка на каждой ленте, каждый узелок — загаданное желание. Миро купил еще соломенную шляпу с широкими полями и бумажный веер. Так распрыгались они под звуки рок-групп, что и не заметили, как стало темнеть. Сумерки застигли их, когда они, прильнув щекой к щеке, танцевали медленный жалобный блюз. «Какая романтическая пара!» — сказали про них журналист Джованни Гимараэнс и его жена Жаси.

Дона Жаси угощала гостей изысканными ликерами — лучшим творением монахинь-кармелиток; Джованни вел с друзьями беседы о политике — «да перестаньте, эти солдафоны слишком тупоумны, чтобы править страной, часы диктатуры сочтены...» Ему возражал доктор Зителман Олива: «Простите, местре Джованни, но что-то плохо верится. К сожалению, эти бесноватые пришли надолго. К величайшему сожалению», — повторил он здраво, трезво и печально.

Во исполнение обета чета Гимараэнсов каждый год, в январе, снимала дом на Святом Холме и устраивала торжества в честь чудотворца. «Обещаю тебе, Спаситель, что если забеременею...» Ну вот, дона Жаси и забеременела, и родила чудную девочку, получившую при крещении звучное славянское имя Людмила.

«Во исполнение обета»? Да разве Джованни не коммунист да еще из самых убежденных? Ну и что? Чем одно мешает другому? А кто это тут собрался проверять меня на идеологическую выдержанность? Убирайтесь отсюда к чертовой матери, живо! В этой книге, заключающей в себе целую вселенную, идеологическим дозорам не место!

ПОЦЕЛУЙ — За медленным томным блюзом последовал бешеный рок, за роком — свинг, за свингом — самба, а потом, под рукоплескания

зрителей, пришел черед танго. Миро танцевал как бог, Манела была ему под стать: пара настоящих виртуозов, разве что слишком много чувства вкладывали они в свой танец. «Как прекрасно, что в этом мире, который все сильней захлестывается низким материализмом и себялюбием, еще остается чувство», — растроганно заметила дона Аута Роза, обращаясь к бельгийскому профессору-философу Мишелю Лувену, католическому священнику, иностранной знаменитости, почетному гостю. Знаменитость, будучи хорошо воспитанной, вежливо согласилась, хотя и не смогла скрыть некоторого нетерпения, — профессору хотелось бы оказаться посреди пляшущей толпы на мостовой и принять личное участие в народном баиянском празднестве. Бельгиец любил народные праздники, обожал Баию, был священником вполне современным и просвещенным и не врагом материализма, но идеологическим его противником.

В длинном списке запретов, составленном тетушкой Адалжизой, танцы — удивительная поблажка! — не значились: оттого, быть может, что Адалжиза сама любила танцевать и делала это с непритворным удовольствием и несравненным изяществом. Надо ли говорить, что на званых вечерах в Испанском клубе или на вечеринках у знакомых единственным ее кавалером был законный супруг?

В девичестве, еще до знакомства с Данило, она заняла первое место на конкурсе пасодобля, где партнером ее был шустрый Дмевал Шавес, в ту пору служивший в издательстве. Адалжиза и теперь еще надевала иногда золотую с аметистами брошь — приз, учрежденный торговым домом Морейра, почтенной антикварной фирмой. Вручая эту брошь победительнице, Маноло Морейра в краткой, но вдохновенной речи уподобил Адалжизу Терпсихоре, назвал ее «баиянской музой танца». Вот по этой самой причине на днях рождения, на крестинах и именинах, на свадьбах и на балах в Испанском клубе Манеле позволялось танцевать — разумеется, не выходя из рамок приличия.

Но о каких рамках можно было говорить теперь, в четверг, в день Спасителя Бонфинского, в отсутствие строгой тетки, после стольких стаканов пива, стольких коктейлей, не считая монастырских ликеров и того, что слаще и хмельней любой мальвазии, — непрекращающегося объяснения в любви? И когда вдруг погас свет — то ли пробки перегорели, то ли какой-то озорник их вывернул, поди-ка теперь узнай! — Миро поцеловал Манелу в губы и скользнул ладонью по ее груди.

ДЕРЗКАЯ ДЕВЧОНКА — В десятом часу появилась Манела на авениде Аве Мария. Тетушка поджидала ее в дверях. Рохля-Данило ушел из

дому, чтобы не присутствовать при этой встрече, переложил на хрупкие женины плечи и заботу, и ответственность. А она, Адалжиза, несла свой крест, хоть и чувствовала, что силы ее на исходе, — сердце колотилось, во рту было горько, голова раскалывалась.

Манела и словечка не успела вымолвить — «не вздумай врать, сучонка ты подзаборная, мне все известно!» А следом две оплеухи — по одной на каждую щеку, на виду у соседей. Рука у Адалжизы тяжелая.

С тем Манела и вошла в дом. Две звонкие пощечины и целый залп оскорблений. Тут тебе и потакание низменным инстинктам, и развратная натура, и распутный нрав, и пристрастие к дикарским радениям. Не ограничившись этим, потревожила Адалжиза и тень Эуфразио, уж который год мирно почиющего в сырой земле, — «вся в папочку! Пьянь черномазая! Алкоголик, погубивший мою бедную сестру!» О происхождении, привычках и причудах бедной сестры сказано не было ничего, но зато уж африканской крови покойного Эуфразио досталось сполна, ибо это под его растленным влиянием сбивается Манела с пути истинного и погрязает в губительной трясине греха и порока.

Должно быть, запаматовала Адалжиза, как мощно проявилось в ее сестре негритянское начало. Кастильская кровь, струившаяся в жилах Долорес, не сделала из нее белой, не заставила всем сердцем воспринять законы и обычаи порядочных людей. Адалжиза как пошла по католическим стопам отца, дона Франсиско Ромеро Перес-и-Переса, прозванного в признание его заслуг в деле волокитства и блудодействия Пако-Жеребец, так ни на пядь и не отклонилась от правил испанской колонии и догматов святой нашей матери-церкви. А вторая дочка, Долорес, удалась в плебейскую породу матери, Андресы да Анунсиасан, прозванной Андресой де Иансан в честь грозной богини громов и молний, и, хоть и была благочестива на мессе, весела в гостях у соотечественников отца, не пренебрегала ни уличным празднеством, ни карнавальная суматохой, ни своими обязанностями на кандомбле. На волшебстве в «Белом Доме» выбрила она себе голову, став любимой «дочерью святой».

Африканская кровь сказала и в дочерях Долорес: у обеих смуглая кожа отливала медью, потому что Эуфразио, несмотря на неугомонную бабушку-латинянку и фамилию Белини, был очень темным мулатом, истым бразильцем со смешанной кровью — итальянской, португальской и негритянской. Недаром и звали его Эуфразио Белини Алвес до Эспирито-Санто. «Сколько белых, молодых людей из хороших семей, — восклицала Адалжиза, — так нет: выбрала себе в мужья чернокожего, который горазд только брэнчать на гитаре!»

И вот, когда тетушка принялась поносить последними словами Эуфразио, когда она обозвала его пьяницей и убийцей, — только тогда Манела вдруг открыла рот, подала голос и пресекла этот поток брани:

— Про меня можете говорить все что угодно: вы — моя тетка, я живу у вас в доме. Это ваше право. Но имя моего отца трепать не смейте — он умер и не может защититься.

Это было так неожиданно, так непривычно, так дерзко, что Адалжиза осеклась на полуслове. Как она сразу не заметила, что с племянницей ее творится что-то небывалое — молчит, безмолвно сносит оплеухи, не плачет и не просит прощения? Куда делась прежняя Манела, покорная и боязливая, в три ручья ревущая, на коленях вымаливающая пощады? «Не бейте меня, тетечка, клянусь вам, не буду больше, ой, не буду, клянусь вам спасением души!» Сначала молчала как каменная, а когда все-таки разверзла уста, сказала такое, что онемела Адалжиза. Что же случилось, отчего это она так осмелела, где набралась подобной дерзости? Что произошло? Что происходит?

— Ну, погоди у меня, неблагодарная тварь! Ты у меня язычок-то быстро прикусишь!

И с этими словами Адалжиза ринулась в комнату, сорвала со стены плетку.

ТЕЛЕВИЗОР — Адалжиза имела обыкновение не выключать радио целый божий день. Боясь пропустить что-нибудь интересное, она не расставалась с транзистором, переносила его с места на место: из ванной — на туалетный столик в спальне, со столика — на кухню, где стряпала, из кухни — в гостиную, где шила. Замолкал приемник только под вечер, когда Адалжиза садилась смотреть очередную серию какого-нибудь телеромана. Обычно к ней присоединялся муж, а потом, сделав уроки, и Манела.

А телевизор — штука благородная и дорогая — использовался не так усердно и бездумно, как приемничек на батарейках, — носить его с собой и смотреть передачи, управляясь, например, по хозяйству, было нельзя. Но зато вечером он доказывал свою ценность, показывая телероманы, фильмы, прямые репортажи о важнейших событиях. Данило предпочитал спортивные передачи — истинной его страстью был футбол: некогда он играл за «Ипирангу» и до сих пор остался верен своему первому и единственному клубу. Туда он пришел мальчишкой, там стал знаменитым и прославленным центральным нападающим. В свое время он отверг миллионные контракты с «Баией» и «Виторией»: наотрез отказался сменить цвета своего клуба и защищал их до тех пор, пока из-за серьезной травмы

не пришлось навсегда распротиться с зеленым полем.

Было у него и еще одно пристрастие — выпуски новостей, особенно тот, который передавали в час дня: не вставая из-за обеденного стола, Данило узнавал обо всем, что творится в Баии, в Бразилии и в мире. Адалжиза новости смотрела без большой охоты, исключение делала только для демонстрации мод и для коронованных особ — монархов Испании, Великобритании, Монако. Особенно умиляла ее английская королевская семья. «Какая душечка!» — восклицала она по адресу Елизаветы Второй.

Но в тот день, включив телевизор, чтобы Данило посмотрел часовой выпуск, Адалжиза едва не хлопнулась в обморок, ибо увидела на экране свою племянницу Манелу, участвующую в обряде омовения. Мерзкая девчонка вылила остатки душистой воды на курчавую голову какого-то проходимца: спустя несколько дней проходимец этот оказался шофером такси, поджидавшим Манелу на углу и оглашавшим всю Аве Марию немилосердным завыванием клаксона. Как хорошо, что Адалжиза успела опуститься на стул! Данило закричал: «Гляди, Дада, это ж наша Манела!» Он еще обрадовался, несчастный! «Боже, боже мой!» — еле слышно произнесла Дада и взялась за сердце, а не то оно неминуемо разорвалось бы.

Прямой репортаж с вершины Святого Холма начался с крупного плана Манелы — она стояла у церковной ограды с кувшином в руке — ах, кто увидит, тот уж не забудет. Потом показали, как губернатор и префект приветственно машут толпе, а потом пошла стремительная череда кадров, и некоторые были очень удачны: вот этот, например, где баиянки на церковном дворе танцуют в честь Ошала. Адалжиза узнала Жилдету, увлекавшую за собой Виолету, Мариэту и Манелу. Ну, ладно, тетушка и ее дочка — непременно участницы этих бесовских игрищ и радений, но им, видно, мало показалось одной беззащитной сиротки Мариэты — решили и вторую приобщить к своим мерзостям. Ах, подлые! тайком, украдкой совратили Манелу, вонзили Адалжизе нож в спину!

Камера еще раз выделила из толпы пляшущих Манелу — показала ее во всем бесстыдстве, во всей непристойности — бедра так и ходят, на лице — пот и распутство, ноги выписывают дьявольские кренделя. Однако репортер, расточавший бесчисленные комплименты баиянским женщинам вообще и Манеле в частности, увидел ее совсем не такой: он обращал внимание телезрителей на ослепительную белизну одеяния, он называл все эти ожерелья и браслеты подлинными произведениями искусства, а для Адалжизы это было всего лишь варварские и дикарские побрякушки. Репортер — циничный, самоуверенный сатир, прячущий похотливую

ухмылку в бороде a la Че Гевара, модной среди оппозиционно настроенных рок-юношей, — сообщил, что «бессилен должным образом описать светло-шоколадную красу Манелы» и призывал на помощь вдохновение Годофредо Фильо и творческое воображение Карлоса Капинама. Тем не менее репортер и сам подыскал кое-какие слова, сообщив, что «ослеплен расцветающей прелестью Манелы, чуть надменным выражением ее лица, красотой этой великолепной представительницы бразильской расы, этой девушкой, так истово выполнявшей обязанности „дочери святой“ на шествии в честь Ошала». С каким наслаждением Адалжиза надавала бы оплеух этому говоруну, если бы он возник перед нею въяве, а не на экране. Но на экране безудержно хохотала Манела — в нее точно бес вселился! — на экране делали ритуальные шаги ноги Манелы, мелькала в низком вырезе блузы полуобнаженная грудь. Подумать только: показывать такое да еще в дневном выпуске новостей, который смотрят сотни тысяч людей по всей стране! Какой позор! Какой стыд!

«Ай да Манела!» — сказал Данило, польщенный вполне, на его взгляд, заслуженными похвалами красоте Манелы, сказал — и осекся под взглядом Адалжизы, полным такой ярости и муки, что простодушный супруг мигом понял свой непростительный промах и ужаснулся, осознав преступную подоплеку происшествия: Манела пошла на празднество по своей воле, не спросив разрешения Дада, не получив ее согласия и — это уж ни в какие ворота не лезло — по приглашению тетушки Жилдеты. А он-то, дурень, вздумал еще восторгаться! Дядя, называется!

«Великолепная представительница, расцветающая прелесть, чуть надменное выражение лица!..» Адалжиза видела на экране лицо, мокрое от пота, вульгарное, развратное — вот, слово найдено! — какое и должно быть у этой притворщицы, предательницы, лицемерки, вруньи, предающейся отвратительным таинствам волшбы. Адалжиза, сраженная из-за угла, с предсмертным хрипом выключила телевизор. А Данило отложил салфетку и, не дожидаясь кофе, убрался подобру-поздорову из дому.

От нестерпимой мигрени разламывалась голова, в горле стоял ком, подташнивало, мутило, немоглось. Адалжиза возвела угасающие глаза к изображению сердца Христова: «Господи, спаси меня, выведи из столбняка! Даруй мне силы обратить грешницу, вернуть заблудшую овцу в стадо твое!»

УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ — Заявить, что в родительском доме Манеле никогда не попадало, было бы ложью, искажением фактов, данью дурной традиции, которая ныне осуждена выдающимися мужами,

пишущими Историю — большую Историю, с заглавной буквы. Но пишут-то они сообразно вкусам и интересам власть имущих и потому стараются, чтобы собранные ими факты не оскорбили чувств диктаторов. «Нет-нет, — объясняют они, — речь идет не об искажении Истории, а об очищении ее от событий и персонажей, которые пятнали столь необходимую ей идеологическую чистоту.»

Так вот, время от времени Манела в наказание за какую-нибудь крупную шкуру, для памяти и науки, получала от папы или мамы шлепок по мягкому месту. Один раз было то, что принято определять неблагозвучным понятием «выволочка», но Манела ее более чем заслуживала. Ей тогда исполнилось двенадцать лет, и она училась в гимназии Мануэла Девото.

В один прекрасный день Эуфразио вызвали к директору, где ему и всем прочим родителям было сообщено о том, что Манеле и ее одноклассникам грозит исключение за весьма серьезный проступок, имевший место накануне. Одним только родителям ведомо было, каких трудов стоило устроить детей на бесплатное обучение: так, например, место для Манелы было выбито с помощью могучей руки Вильсона Линса, писателя и видного политика.

Итак, накануне все сорок учеников — двадцать два мальчика, восемнадцать девочек, — разозлившись на преподавателя основ морали и права, который из чистой вредности поставил сорок единиц, вылили изрядную порцию пальмового масла в классный журнал, а то, что еще оставалось в бутылке — на сиденье стула, где покоил свой костлявый зад деспот и самодур. Учитель — тощий отставной армейский майор, придира и зануда — припер директора к стенке. Ну, разумеется, угроза исключения так угрозой и осталась, ибо невозможно выгнать из школы целый класс. Тем не менее Эуфразио этого дела так не оставил и дочь-преступницу выпорол.

И эта-то вот счастливая жизнь с любящими и доверяющими родителями, жизнь, в которой не было ни страха, ни лжи, неузнаваемо изменилась после гибели Долорес и Эуфразио в автокатастрофе. Манела стала жить у Адалжизы, наступила эра брани и кары. Особенно тяжким был первый год, когда Манеле еще хватало силы духа оказывать сопротивление тетке. А потом она сменила тактику: начала притворяться, и врать, и действовать исподтишка.

Да, эра брани и кары наступила и продолжалась: выслушивать ругань и сносить затрецины стало делом привычным — унижительной и мучительной неизбежностью. Духовник Адалжизы падре Хосе Антонио

научил свою духовную дочь избегать слова «наказание» — мать не наказывает, но исправляет и вразумляет. Она так и говорила: «Манела заслуживала взыскания, я и взыскала с нее, исполняя свой долг, ибо воспитываю ее в почитании господних заветов и делаю из нее порядочную женщину».

На Данило Манеле жаловаться не приходилось: он ни разу пальцем ее не тронул, ни разу не обозвал «дрянью», «неблагодарной тварью» или как-нибудь похуже. Вначале он еще пытался защищать племянницу от гнева Адалжизы, но вскоре бросил это дело — не в силах оказался перечить своей неукротимой Дада, такой нервной, такой болезненной, подверженной таким жестоким мигреням, — хотя в глубине души наверняка осуждал методы воспитания, которыми действовала его набожная, честная и яростная супруга.

Данило, наделенный от природы веселым и покладистым нравом, обучал Манелу тонкостям игры в шашки и в триктрак, карточным фокусам и раскладыванию пасьянса, что, как известно, требует и терпения и сообразительности. Терпение и сообразительность пригодились Манеле для того, чтобы выстоять и победить, подчиниться, не покоряясь, выполнять, глумясь над ними, предписания, которым подчинена была вся ее жизнь, определен каждый ее шаг. Поведение ее было точно и строго регламентировано, и всякой вине соответствовала своя кара.

Уложение о наказаниях было таким пространным и детальным, что ни один палач не нашел бы в нем изъяна. Отменить кино, запереть в комнате, когда по телевизору очередная серия, не пустить в гости к подружке или к Жилдете, оставить без сладкого, заставить вслух молиться по четкам — таковы были самые ходовые меры воздействия. Применялись также: простой выговор, головомойка, трепка за уши, битье по щекам, а на случай совершения греха не простительного, а смертного имелось средство более эффективное, древнее и наводящее ужас — плетка. Список смертных грехов был Адалжизой расширен по сравнению с катехизисом, так что праздно висеть на стене плетке доводилось редко. Ее подарил падре Хосе Антонио, узнав, что любимейшая из его прихожанок решила взять на воспитание сиротку-племянницу: «Примите ее, дочь моя, она вам пригодится, смело пускайте ее в ход и помните, что исправление порока — дело святое, и господь с вас за это не взыщет, ведь это во имя его. Еще в Священном писании сказано: тот, кто карает со всей твердостью, свершает милосердное деяние».

Не следует терять время и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня: на следующий же день после похорон Долорес и

Эуфразио, когда Манела, еще опухшая от слез, вернулась из гимназии, Адалжиза изложила ей свое кредо, прочла символ веры. «Давай условимся сразу, чтоб ты потом не говорила, что, мол, не знала. Если будешь почтительна и послушна, если будешь хорошо учиться, вести себя достойно и скромно, бояться божьего гнева и не огорчать дядю и тетю, тебя ждет награда».

Какая именно — осталось тайной, но зато о том, чего нельзя, Манела узнала сразу и навсегда. Нельзя было: попадать в дурные компании, ходить в кино, на праздники, на танцы, а также смотреть телевизор без взрослых; попусту болтаться по улицам; дружить с мальчиками; влюбляться, а также позволять, чтобы в тебя влюблялись. О кандомбле и прочих мерзостях забыть и думать: именно там улавливает сатана в свои тенета души христиан.

Тетку, сестру отца, навещать можно, но не чаще одного раза в неделю, а хорошо бы и пореже. Если же по сестре соскучилась, пусть Мариэта приходит в дом Адалжизы и Данило — они ведь ей тоже родные. Долго наставляла тетюшка свою приемную дочь, и голос ее звучал то проникновенно и ласково, то злобно и угрожающе, ибо заводилась Адалжиза моментально.

«Цель оправдывает средства», как учил еще Гитлер, а за ним и многие другие отцы нации, гениальные вожди народов. «Я сделаю из тебя настоящую сеньору, чего бы мне это ни стоило», — и в заключение своего монолога Адалжиза указала Манеле на плетень, висевшую между гравированным изображением Пречистой Девы и пожелтевшей фотографией, запечатлевшей счастливые лица Адалжизы и Данило в день свадьбы. Если будет нужно, она, тетка, принявшая на себя долг матери, без колебаний и пагубной жалости пустит плетку в ход. «Это для ее же блага, когда-нибудь она мне сама „спасибо“ скажет».

ПОЧТИ МИСС — А довелось испытать Манеле, как больно бьет плетень, как долго не заживают рубцы от нее, спустя год после этого первого и решающего разговора. До той поры она считала ее скорее символом устрашения, чем орудием пытки.

За этот год она достигла значительных успехов в обдуривании тетки, в запудривании ей мозгов, в вешании ей на уши лапши: научилась усыплять ее бдительность, запутывать в паутину лжи. А для вящего успеха создала нечто вроде заговора, в который умудрилась вовлечь одноклассниц и даже соседей, удрученных тем, в какой невыносимой строгости держит Адалжиза свою беззащитную жертву. «Даже бандитам в каталажке вольготней

живется! — возмущалась ближайшая соседка Дамиана, обитавшая за стеной и волей-неволей слышавшая жалобные вопли, и звонкие оплеухи, и мольбы о прощении, — это не женщина, а змея подколотная, у нее сердца нет!»

Успев привыкнуть к покаяниям Манелы, ибо та каялась в содеянном, хоть и знала, что все равно не избегнет кары — «кое-что хорошее в ней есть, она, например, не врет мне», — Адалжиза в течение нескольких месяцев верила в те разнообразнейшие легенды, которые сочиняла Манела в оправдание своих отлучек, задержек и опозданий. «Я, тетя, сегодня провожала Телму в Португальский госпиталь, у нее там отец лежит, у него, бедненького, рак, говорят, ему уже недолго осталось». Адалжиза с живостью подхватывала волнующую тему: «Что ты говоришь? Рак? А метастазы есть?» Операции и больницы, болезни и похороны тешили ей душу. В баснях Манелы всегда была крупинка истины, ну а в случае необходимости ее до самого дома провожала соучастница обмана, готовая подтвердить честным словом самое несусветное вранье.

Но не зря ведь сказано: «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить». Вранье громоздилось на вранье, ширилось и разрасталось, а потом стало повторяться — тут-то Адалжиза и почувяла, что ее водят за нос. Она прикинулась доверчивой дурочкой, а сама тем временем подвергла тщательной проверке все оправдания, извинения и отлучки Манелы. В самом скором времени обман был раскрыт, а обычная доза наказаний удвоена, поскольку теперь требовалось покарать и за ложь, которая, как известно, является одним из семи смертных грехов.

О конкурсе «Мисс Весна» Адалжиза узнала совсем случайно, но, слава богу, вовремя и успела принять должные меры во избежание худшего. Услышав о нем, она остолбенела и несколько минут ничего не могла понять. Потом поняла, очнулась и ринулась в бой.

Дело было так. Ее постоянная клиентка, некая донна Норма Мартинс, богатая дама, представительница самых что ни на есть сливок общества — а при этом еще сведущий врач-гинеколог и очень милая женщина, — заказала Адалжизе шляпу для торжества по случаю бракосочетания дочери доктора Жорже Калмона. Из-за этой свадьбы Адалжиза света божьего не видела, работала день и ночь, чтобы смастерить за неделю шесть великолепных и наимоднейших шляп.

Пока донна Норма примеряла этот шедевр — искусственные цветы и маленькая вуалетка, — модистка и заказчица судачили о том о сем. Донна Норма, не упуская случая поговорить о своем сыне-гимназисте, обнаружившем необыкновенное музыкальное дарование, сказала между

прочим:

— Кстати, мой Ренатинью говорит, что голосовать будет только за вашу дочь.

— Дочь? — удивилась Адалжиза, но тут же поняла. — Ах, вы о Манеле! Приемная дочь, это моя племянница. Я воспитываю ее с тех пор, как погибла сестра. Так ваш сын знаком с Манелой?

— Да не только знаком! Я ж вам говорю, он от нее без ума и организовал в ее поддержку целую кампанию. У нее единственная соперница, не помню, как ее зовут, она снималась в фильме д'Аверсы...

«Вот несурезица какая, наверно, ошибка или недоразумение», — подумала бедная Адалжиза, а вслух произнесла:

— Кампанию в поддержку Манелы? Вы не путаете, дона Норма? Какую кампанию?

— Так ведь объявлен конкурс «Мисс Весна», разве ваша девочка не входит в число претенденток? Она — кандидатка от газеты Ариовалдо, ну, воскресная газета — там чудные статьи, жалко только, что ее быстро прикроют; уж больно она щиплет правительство, — дона Норма рассмеялась, припомнив что-то забавное из газеты Ариовалдо.

Ноги у Адалжизы вдруг сделались ватные, в висках застучало, пришлось взяться за спинку стула, стоявшего перед трюмо. Она вымученно улыбнулась и еле выдавила:

— Ну, как же, как же... Конкурс красоты.

К счастью, заказчица отправилась за деньгами, чтобы оплатить материал и работу, — сумма получилась изрядная, но шляпка стоила того.

— Замечательно, дона Адалжиза, вы настоящая художница. Желаю вам, чтобы Манела одержала победу. Ренатинью говорит, что она самая красивая. Поздравляю.

Адалжиза еще нашла в себе силы поблагодарить за доброе слово. Потом она пулей понеслась к другой клиентке, доне Айдил Кокейжо, все всегда про всех знавшей. Обо всех этих бесстыжих конкурсах красоты и фестивалях народной музыки никто не был осведомлен лучше доны Айдил и ее мужа, единого во многих-многих лицах: он и праведный судья, и юрист-теоретик, и профессор права, и обозреватель в газете, и увенчанный премиями композитор, и гитарист, и пианист, и певец, вдохновитель и организатор бесчисленных начинаний, и президент черт его знает скольких обществ.

В самое яблочко. Даже не потребовалось как-то объяснять свой интерес: чуть только заговорили о конкурсе, дона Айдил дала подробнейший и восторженный отчет, снабдив его остроумными

комментариями. Конкурсы «Мисс Весна» проводятся ежегодно, в сентябре; претендентки представляют ту или иную газету, а некоторые торговые и промышленные фирмы покрывают организационные расходы и участвуют в прибылях. Жюри, состоящее из одних знаменитостей, выносит свой вердикт. Каждая участница должна показаться в национальном баиянском наряде, в вечернем туалете и в бикини.

«В бикини?» Дону Айдил позабавил ужас модистки: «Не будьте ханжой, Адалжиза: глухой купальник теперь уже никто не носит». Финал состоится через два дня, в театре Вила-Велья, донна Айдил непременно пойдет полюбоваться этими девочками. Если Адалжиза хочет, она берется устроить билеты ей и мужу.

О том, какую газету будет представлять Манела, и о том, где будет разыгрываться непристойное действо, Адалжиза спрашивать не стала — ей это было известно от падре Хосе Антонио. Еженедельник распространяет русскую заразу, отравляет умы и души ядом красной пропаганды. Падре отказывался понимать преступное безразличие властей — куда они смотрят? почему немедля не закроют подрывной листок? Возглавляет мерзостную газетенку некий злонамеренный писака, кое-кто считает его крупным писателем, а на самом деле он похабник и крамольник, за что уже бывал арестован. Подписывается он «Ариовалдо Матос».

А на сцене театра Вила-Велья ставятся самые отвратительные, самые скандальные пьесы, глумящиеся над религией, над моралью и добропорядочностью. Там устраиваются «шоу» с песнями протеста, там выступают безыдейные и пошлые юмористы, там проводятся балы, больше смахивающие на негритянские радения, на вакханалии. Там пригревают всю интеллигентскую сволочь вроде Глаубера Роши или Жоана Убалдо Рибейро^[24] — безродных бродяг, заклятых врагов строя, порядка и священных предначертаний господнего завета.

Адалжиза вернулась домой вне себя: Манела стремительно катится в пропасть греха, увязает в трясине порока, на этом свете ее ждут тюремные нары, а на том — пламя геенны.

При ее появлении племянница поднялась, робко улыбнулась и просящим голосом сказала:

— Знаете, тетя Адалжиза, в воскресенье...

«Знаю, знаю. Знаю, что будет в воскресенье. — И Адалжиза сняла со стенки плетень. — Мне бы еще только знать, не опоздала ли я, успею ли предотвратить падение?»

В ту пору Манеле было пятнадцать лет, и уже полтора года минуло со дня гибели родителей — полтора года кабалы и неволи. Тогда произошло ее

первое знакомство с плеткой. Тетушка не ведала ни жалости, ни снисхождения: она отделала ее на славу, живого места не осталось, разве что лицо поберегла. А когда наконец выбилась из сил, заперла несостоявшуюся «Мисс Весну» в комнате, посадила ее на хлеб и воду с вечера пятницы до ночи воскресенья. Пусть поразмыслит и раскается.

А в понедельник, понуро вернувшись из гимназии, избитая так, что сидеть не могла, опухшая от слез Манела узнала, что Марилда Алвес, представлявшая газету «Эстадо де Баия», единогласно избрана победительницей конкурса «Мисс Весна».

ПЛЕТКА — Первый удар пришелся на поясницу, просек кожу. Но нестерпимей боли было выплюнутое теткой оскорбление:

— Сука!

Адалжиза снова занесла плеть, которой за эти два года скучать не приходилось, но опустить ее не успела — племянница вдруг шагнула вперед и проговорила не очень громко, но веско и значительно:

— Хватит. Бросьте эту штуку, если хотите, чтоб я вас хоть немного уважала.

— Сука! Проклятая!

Плеть свистнула в воздухе, но удар не вышел: проклятая сука, звезда праздника в честь Спасителя Бонфинского, безгрешная телом, чистая духом, правой рукой перехватила запястье Адалжизы, а левой разжала ее пальцы, вырвала плетку и отшвырнула в сторону. Выпучив от изумления глаза, онемев и оцепенев, воззрилась тетка на племянницу, словно взору ее предстал сам сатана. Должно быть, пришел конец света.

— Не смейте меня бить. С этим покончено навсегда. Если хотите, чтобы я жила здесь и слушалась вас.

Судорога прошла по всему телу Адалжизы, она закрыла ладонями налившееся кровью лицо, пена показалась в углах рта, глаза закрылись, словно настал ее смертный час. Брякнулась на пол.

Тело ее конвульсивно задергалось, руки-ноги заходили ходуном, изо рта побежала слюна. Словно обуянная бесами, тетушка Адалжиза забилась головой об пол.

Крестный путь

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — Доктор Калишто Пассос, удобно развалившись в вертящемся кресле, прервал взволнованного директора изящно-повелительным манием руки.

— Еще одна! Если так и дальше пойдет, в церквах Баии скоро не останется ни одной мало-мальски ценной скульптуры! Известно ли вам, дон Максимилиан, сколько совершено за последние три месяца краж? Шестнадцать, друг мой! Не четырнадцать, нет! И не пятнадцать! Шестнадцать!

И улыбнулся, упиваясь самым звучанием своего голоса. Он был записным оратором еще со студенческой скамьи, а потом развил дар красноречия, защищая в суде интересы могущественных банков и корпораций. Дорожка ему была укатана. «Калишто Пассос поставил свой талант на службу правосудию», — захлебывалась от восторга пресса по случаю назначения нового начальника полиции. Комиссар Паррейринья — он стоит у стола Калишто Пассоса — восхищен своим шефом и сопровождает каждое слово одобрительным кивком: в его глазах мудрость доктора Пассоса безмерна, это второй Руи Барбоза^[25]. Дон Максимилиан фон Груден, напротив, склонен считать его воплощенной бездарностью.

Доктор Пассос перегнулся через стол к монаху, доверительно понизил голос:

— А кто виновен? Мы все знаем кто. На воре шапка горит. Но как быть, если под шапкой — тонзура? А?

«Олух ты безмозглый, дурак набитый, — проносится в голове у дона Максимилиана, лишившегося от отчаяния остатков великодушия, — что несешь-то, кретин? Зачем пересказываешь идиотические домыслы о том, что „изображения святых, таинственно исчезнувшие из провинциальных церквей и часовен, украдены и проданы из-под полы самими священниками“. Приходы-то бедные, некоторые — просто нищие, денег не хватает на самое необходимое, а тут в ризницах стоят, место занимают, старые священные деревянныешки. Как же их не продать?»

Однако дон Максимилиан проглатывает свое негодование и отдающую желчью слюну.

ОТСТУПЛЕНИЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЕ ДИЛЕТАНТСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ДОНА МАКСИМИЛИАНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДАЖИ — НЕ ПРОДАЖИ, А ОБМЕНА — ИЗОБРАЖЕНИЙ СВЯТЫХ И ПРОЧИХ ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТА — По поручению крупных антикваров или на свой страх и риск рыщут в поисках товара по захолустью ушлые плутоватые молодцы, неумоимо переходя из городка в городок, из местечка в местечко, из одного имения в другое. Возвращаются с туго набитыми чемоданами — там и бесценные сокровища, и полная ерунда.

Попадается им — и довольно часто попадается — нечто из ряда вон выходящее, истинное произведение искусства, продав которое, может безбедно жить до конца дней своих оборотистый бродяга, сподобившийся господней милости.

И вот, посланные божественным провидением, которое не может бесчувственно взирать на бедственное положение пастырей господнего стада, прозябающих в нищете, появляются они в глухих приходах и платят — платят на месте, наличными. Платят, по правде говоря, мало: торгуются, плутуют, сквалыжничают, а если обстоятельства благоприятствуют, норовят украсть и смыться. И тем не менее добро пожаловать! ибо на деньги, вырученные от продажи этих никому не нужных раритетов, можно пополнить церковную кружку, где давно уже нет ни одного обола, покрыть дефицит жертвований.

И вот с одобрения и помощью прихожан покупают священники новенькие гипсовые статуи святых, покрытых еще липнущей к пальцам краской — синей на мантиях, красной — на митрах и тиарах, взамен источенных жучком изображений, которые в добрый час удалось — нет, не продать, святыню не продают! — а обменять на толику денег. А алтари только выигрывают от такого обновления — «совсем другое дело, — говорят прихожане, — не налюбуйешься». И тогда уплачиваются долги, вновь вершатся богоугодные дела, призываются страждущие и есть что подать Христа ради нищим, и обильней становится скудная трапеза падре или викария, а также его кумы-экономки с детишками. А кума эта, во дни юности вводившая во искушение всю общину, и сейчас еще хранит на постаревшем лице и расплывшемся теле следы порочной, зазывной, с пути истинного сбивающей красоты.

Такие ныне времена, так свирепствует инфляция, что и на чистейшей стезе священнослужения приходится вертеться и ловчить, ибо иначе никак не накормишь бедняков, а многоголовое стадо господне станет крошечной отарой. Пусть там, в столицах, князья церкви пышут гневом и расточают

угрозы, толкуют о святотатстве и нечести, клеймят позором и страшат законом, запрещая продавать родовое церковное имущество. Да что они понимают, эти иерархи, хватающие объедки с кардинальского стола, что они знают, эти вкушающие все радости жизни монсеньоры, о той жестокой нужде, в которой пребывают заброшенные в сертаны священники, питающиеся едва ли не святым духом?! Сытый голодного не разумеет.

О, если бы не природная скромность, дон Максимилиан, пожалуй, всерьез озадачил бы доктора Пассоса, сообщив ему, что с точки зрения сохранения культурных ценностей вся эта кощунственная купля-продажа спасает приобретенные за бесценок или просто украденные раритеты от порчи и неминуемой гибели в чуланах церковей и монастырей. Переходя из рук в руки — и всякий раз повышаясь в цене, — они в конце концов обретают должное попечение и приют в частных собраниях или в музеях.

Ересь, скажете? Называли уже, называли дона Максимилиана и еретиком, и вероотступником, и святотатцем, а падре Хосе Антонио Эрнандес пошел и дальше, обвинив нашего директора в неверии и анархизме, сказав, что это — вопиющий пример того, каким не подобает быть священнослужителю, что он по-настоящему опасен, ибо рамена его облечены в белую сутану ордена бенедиктинцев, и что в наше смутное время всеобщего одичания, упадка морали и нравственности, когда сатана наряду с прочими своими кознями измыслил и «теологию освобождения», враги веры и ниспровергатели христианской доктрины, подобно волкам, рядящиеся в овечью шкуру, надели облачение пастырей.

ХОХОТ — Дон Максимилиан, призвав на помощь всю свою выдержку, — а она, видит бог, не входила в число его добродетелей — выжидает удобный момент, чтобы остановить поток язвительного красноречия и вернуть начальника полиции к делу. Еще в самом начале аудиенции с приличествующим случаю жаром и во всех подробностях сказано было и о серьезности происшествия, и о необходимости принять срочные меры к розыску похищенной скульптуры и аресту злоумышленников. Особо была подчеркнута просьба хранить дело в совершеннейшем секрете — дон Максимилиан ни на миг не забывал о викарии из Санто-Амаро: боже, что только устроит он, узнав об исчезновении святой!

Засим директор повел речь о ценности скульптуры — о номинальной ее стоимости и о той, которая не в деньгах выражается. Подлинное сокровище! Национальное достояние! Произведение искусства, созданное не позднее середины восемнадцатого века, то есть современница

гениальных творений Алейжадиньо, которые одни только и могут превзойти ее, да и то вряд ли. Примите в расчет, что это — единственное изображение не просто Святой Варвары, но Святой Варвары Громоносицы и атрибутом ее является не всем привычная пальмовая ветвь, а пучок молний. Стоимость ее не представляется возможным оценить даже приблизительно: любой музей в Европе или в США не глядя отвалил бы за нее сколько скажут.

Засим директор обратил внимание начальника полиции на то, что выставка имеет быть открыта через два дня, а уж после вернисажа стоимость статуи возрастет многократно. Дон Максимилиан, разумеется, намекал на свою книгу, которая как раз в эти дни должна была выйти в свет — об этом рискованном исследовании давно уже трубили газеты; начальник полиции вежливо — ах, лицемер! — подтвердил, что слышал самые заинтересованные отзывы.

Слышал или не слышал, дело не в том, а в том дело, что этот болтун все никак не мог осознать масштаба происшествия: для него похищение статуи было одним из очень многих краж такого рода, зарегистрированных на территории штата Баия. Зря дон Максимилиан время тратил, попусту расходовал красноречие. Так и не удалось ему втолковать Пассосу, что речь идет не о пустяковой краже еще одной изъеденной жучком скульптуры.

Уставившись взглядом снулой рыбы в голубые глаза дона Максимилиана, доктор Калишто Пассос говорит со смешком:

— Подобные случаи правильней квалифицировать не как кражу... По крайней мере, красться во тьме и взламывать замки вору не приходилось...

Он упирается обеими руками в столешницу, искоса взглядывает на Паррейринью, который вне себя от восторга — «во дает, начальник, во котелок варит!»

— Скульптура попросту сменила хозяина. За примером далеко ходить не надо: несколько дней назад две статуи святых, украденные в Ларанжейрасе, были обнаружены на складе некоей компании, на улице Индепенденсии. Их привез из Сержипе и продал здесь... — он на мгновение замолкает для вящего эффекта, — родственник тамошнего священника...

— Позвольте, доктор, я ведь вам сказал...

Но доктор Пассос не дает себя перебить, он сам кого хочешь перебьет:

— Вы мне вот что скажите, дорогой дон Максимилиан: викарий из Санто-Амаро вам хорошо известен? Говорите откровенно и без стеснения, нас никто не слышит, — Паррейринья с безразличным видом смотрит в окно. — Как вы считаете, ему можно доверять или...

Дон Максимилиан фон Груден, давно уже достигнув крайней степени волнения, прилагал нечеловеческие усилия, чтобы не вывалиться на улицу, оглашая воздух нечленораздельными воплями. Но теперь, услышав доверительный вопрос начальника управления общественной безопасности по штату Баия, он разражается таким взрывом хохота, что слышно, наверно, в сопредельных землях.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ — Встреча с полковником Раулем Антонио Паррейрасом, по крайней мере, хоть что-то дала: дон Максимилиан нашел постамент статуи и немедленно отвез его в музей.

По просьбе полковника солдаты береговой охраны отбуксировали «Морского бродягу» к тому причалу, где швартовались военные суда. Полковник, связавшись с дежурным офицером морской базы, в два счета решил судьбу «транспортного средства, использованного при похищении», а кроме того, послал агента пошарить в окрестностях Рампы-до-Меркадо.

— Владельцы непременно объявятся, коль скоро их лоханка теперь у флотских. Мы их выслушаем и поспрошаем как полагается. Я не сомневаюсь, что они — соучастники, если не главные действующие лица. Все разъяснится очень скоро.

Речь шла о шкипере Мануэле и его жене Марии Кларе. Без проволочек отправили полицейского с приказом задержать супругов — федеральная полиция размещалась на территории порта, в перестроенном пакгаузе, в двух шагах от места предполагаемого похищения. Однако сержант вернулся ни с чем: сойдя на берег, указанные лица сели в такси и отбыли в неизвестном направлении. Сведения эти были получены от припозднившегося лоточника.

Дон Максимилиан выходит из мрака безнадежности, в который повергли его нелепые словопрения с Калишто Пассосом. Полковник хоть внимательно выслушал директора, выказал непритворный интерес и, кажется, понял всю важность дела. Он был в штатском и перед началом беседы ножницами и пилочкой холил свои ногти — вовсе не такое уж страшилище этот полковник, как все про него говорят.

Он радушно встретил высокоученого монаха, он не удивился его настойчивой просьбе сохранить все дело в тайне — «будьте покойны, никому ни слова, мы привыкли работать без шума: иначе с преступностью и терроризмом не совладать». Он не спешил. Он произвел на дона Максимилиана весьма благоприятное впечатление: говорил просто, сжато, убедительно, без риторики, как уважающий себя профессионал.

— Федеральная полиция внимательно изучила все эти ограбления церквей, мы подняли документы и дела за последние двадцать лет. По моему мнению, мы столкнулись с великолепно организованной мафией. Раньше такие кражи носили эпизодический характер.

Если начальник управления общественной безопасности любил слушать собственный голос, то начальнику полиции нравилось блистать осведомленностью:

— Эпоха дилетантов миновала, одиночки-любители больше не разъезжают по всему штату, как некогда, забираясь даже в Сержипе и Алагоа, чтобы обчистить монастырь или часовню. Раньше эти художники-налетчики зарабатывали на кражах больше, чем на своих картинах и скульптурах. А сейчас они купаются в золоте, могут запросить любые деньги, живут как набобы, и им нет никакой необходимости воровать. Жалко, что меня не учили живописи... Но их преступная деятельность тайной не осталась — достаточно прочесть любую статью о Карибе или Дженнере Аугусто, а «джип» Марио Краво стал попросту легендарным. Украденные ими статуи попали в руки коллекционеров, украшают теперь особняки богачей.

Прежде чем аккуратно спрятать в ящик стола пилочку и ножницы, он отрезает кончик сигары, долго раскуривает ее, выпустив облачко дыма, вдыхает его аромат, а потом, откинувшись на спинку кресла, нажимает кнопку звонка. Не угодно ли дону Максимилиану промочить горло холодным пивом — ужасная сегодня жара! Он наполняет стаканы и лишь после этого продолжает:

— А сейчас ситуация куда более серьезная: перед нами группа злоумышленников, которая не желает считаться с последствиями своих преступных деяний. Обратите внимание, дон Максимилиан: скульптуры, представляющие истинную ценность, исчезают бесследно. Почему? Потому что их переправляют за границу. Нам удавалось находить подтверждение этому в Португалии, в Испании, в Швейцарии и во Франции. Существует международный канал, по которому антиквариат уходит за кордон. Ну, да вы наверняка знаете об этом. Я нисколько не сомневаюсь, что и к исчезновению вашей знаменитой святой тоже приложила руку мафия. Нам надлежит действовать очень оперативно, чтобы не дать и этой бесценной скульптуре уйти за границу.

Дону Максимилиану давным-давно уже осточертели рассказы об этом таинственном канале: совсем еще недавно двое его коллег, два несносных болтуна, две знаменитости рассказывали ему такое, от чего волосы вставали дыбом. Но вот сегодня ему впервые пришлось услышать

от высокопоставленного лица подтверждение тому, что опасная международная банда существует вправду. Беда в том, что в фондах Музея Священного Искусства найдутся экспонаты происхождения темного, чтобы не сказать подозрительного, — дон Максимилиан предпочитает не знать, какими путями попали они в монастырь Святой Терезы. Полноте, дон Максимилиан, так ли вы и не знаете?

Последние слова полковника просто-напросто добивают его. Неужели Громоносица окажется за границей?

— Вы и вправду считаете, что есть опасность?..

— Такими вещами не шутят. Впрочем, переправить статую преступники еще не успели, прошло слишком мало времени. Думаю, что она где-то припрятана. Мы должны отыскать ее в течение суток. Я сейчас же прикажу взять под наблюдение аэропорты, автовокзалы и шоссе. Размеры статуи нам известны, мы будем досматривать любой подозрительный багаж. Положитесь на меня, дон Максимилиан: я буду держать вас в курсе происходящего.

Он поднимается, чтобы проводить директора, и уже у дверей делает последнее сообщение, от которого и вовсе можно спятить:

— А известно ли вам, куда идут деньги, вырученные за украденные статуи? Нет? На подрывную деятельность, на финансирование терроризма, на разжигание «герриллы», их получают коммунисты и эти... «падре-арбузы» — снаружи зеленые, а внутри красные. Вы удивлены? Я мог бы вам рассказать об этом более подробно и привести конкретные примеры, но следствие пока не закончено.

Он кладет тяжелую руку на хрупкое плечо монаха:

— Я Америки не открою, если скажу вам, что очень многие падре заодно с коммунистами. Для меня и для всех, кто отвечает за порядок в стране, за национальную безопасность, они еще хуже, чем сами коммунисты. Они не просто враги, они — изменники. — Он повторил веско, с нажимом — Изменники! Но мы покончим с ними и с коммунистами, со всей этой шайкой. Мы найдем на них управу.

В довершение к тревоге и беспокойству, денно и ночью снедающим дона Максимилиана, теперь присоединился сосущий холод внизу живота: куда девалась сердечность, с которой полковник начинал беседу? Теперь в его голосе звучат остережение и угроза — значит, правильно называли его полицейским страшилищем. Чуть сжимая железными пальцами плечо директора, Раул Антонио Паррейрас — ох, на многих это имя наводит ужас! — отдельно, чуть не по слогам, произносит, глядя ему прямо в глаза:

— Я все про вас знаю, ваше высокопреподобие, абсолютно все. И то,

что вы хоть и не поддерживаете наше героическое правительство, но и против него не выступаете и что стараетесь держаться от политики подальше, знаю, что не плетете заговоров против славной революции 64-го года, спасшей Бразилию от коммунизма. Если и дальше так будет, никто нас не беспокоит. Это я вам обещаю. Не якшайтесь со смутьянами — мой вам совет.

Голос становится мягче, слабеет стальная хватка на плече у дона Максимилиана, губы и глаза улыбаются — зверюга-полковник вновь любезен и обходителен.

— Благодарю, что выбрали время посетить меня. Было очень приятно познакомиться с вами лично. — Он протягивает дону Максимилиану руку. — Будьте здоровы. В самое ближайшее время я сообщу вам новости, и, надеюсь, они вас обрадуют. Рассчитывайте на меня.

Он приказывает агенту проводить оглушенного посетителя и донести до машины постамент Святой Варвары. «Ох уж эти интеллигенты, дерьмо собачье...» — и полковник, сплюнув, растирает плевков подошвой.

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО — А начался в этот вечер крестный путь дона Максимилиана с аудиенции у монсеньора Рудольфа Клюка, исполнявшего должность помощника архиепископа Баиянского. Беседа, больше походившая на поединок, велась по-немецки — на родном языке сражающихся.

Отправив Эдимилсона в Музей, совершенно убитый дон Максимилиан двинулся на Кампо-Гранде, во дворец кардинала-архиепископа, чтобы немедленно сообщить его высокопреосвященству о происшествии и решить, что надлежит предпринять в первую очередь, попросить совета, поддержки и помощи. Кардинал всегда выказывал живейший интерес к выставке, и его вмешательство было совершенно необходимо.

Однако на Кампо-Гранде директору сказали, что кардинал вместе с ректором университета улетел в столицу, чтобы попробовать если не отменить, то хотя бы смягчить наказание, готовое обрушиться на головы студентов, посмевших устроить забастовку и демонстрацию протеста.

Делать было нечего. Дон Максимилиан позвонил монсеньору Клюку, второму лицу в архиепископии, и попросил срочно принять его по чрезвычайно важному делу. «Что ж, приходите, если это и впрямь не терпит отсрочки», — ответил тот.

Он, как и дон Максимилиан, был немцем, но на этом всякое сходство между ними кончалось: они представляли друг другу полную противоположность — лед и пламень, соль и сахар, небо и земля. Директор

Музея был высок, худощав, бледен, элегантен, трепетен и деликатен; епископ — приземист, коренаст, полнокровен, толстокож и неряшлив. Они едва выносили друг друга, а когда приходилось изредка общаться, были необыкновенно церемонны и любезны.

Поговаривали, что Рудольф Клюк получил назначение в Баию, чтобы было кем и чем уравновесить новоизбранного кардинала Баии, примаса Бразилии, известного своими симпатиями к прогрессивным позициям, которые занимала значительная часть духовенства — так называемая «Церковь бедняков» — в том, что касалось проблем социальных и политических. В вопросах же вероучения кардинал примыкал к консерваторам и отстаивал традицию. Случай не столь уж редкий среди священнослужителей, зажатых между нищетой народа и тайнами доктрины, между аграрной реформой и мессой на латыни. Но довольно! хватит метафизики, ей не место на этих пирронических, извините за выражение, страницах^[26].

Много еще чего говорили — в том числе и весьма неприятного, — но дон Рудольф пропускал все это мимо ушей и продолжал свой подвиг: писал статьи, давал интервью, наставлял и поучал, читал проповеди с амвона и по радио, не пренебрегая этим самым массовым из всех средств массовой информации. Из окна своей кельи в бывшем монастыре урсулинок глядел он на раскинувшуюся перед ним панораму Баии — не Баии, а Салвадора. Красивый город, спору нет, но живут в нем полукровки-идолопоклонники, которые, не ведая об иерархии рас и культур, о превосходстве расы арийской и культуре западной, глумятся над законом и Священным писанием и на ложе греховной любви смешивают воедино разную кровь и разных богов.

Но надлежит немедля отделить зерна от плевел, агнцев от козлиц, добро от зла, следует провести границы, установить пределы. Жаль только, что приходится таить про себя великолепный пример — не поймут дон Рудольфа, превратно его истолкуют, ибо со дня окончания великой войны, со дня поражения воцарился на земле хаос. Нет, нельзя пока еще заявить во всеуслышание, что совершенство мира нашло себе прибежище в Южной Африке.

ЕПИСКОПСКИЙ ПЕРСТЕНЬ — Итак, беседа шла по-немецки, что придавало ей тон особенно неприятный и тягостный. Выслушав подробнейшее сообщение дон Максимилиана, Рудольф Клюк заметил по поводу галлюцинаций Эдимилсона:

— Вот видите, смешанные браки приводят к психической

неуравновешенности и к слабоумию. Этот ваш помощник, уж простите меня, дон Максимилиан, — настоящий кретин.

Директор Музея стерпел это, ибо не хотел ввязываться в свару с высокопоставленным лицом, дабы не усиливать неприязни, которую издавна питал к нему дон Рудольф — он не прощал ему независимости суждений и острого языка. Создавшаяся ситуация требовала смирения и глубины кротости. Доктор Максимилиан поник головой.

Не желая упустить столь редкий случай, епископ потер руки, прищурился и заговорил медленно, с расстановкой, по каплям цедя яд:

— Мне говорили об этом вашем... как его бишь «сонме музейных ангелов»? Да-да, именно так!

Дон Максимилиан собрал всю свою волю в кулак, сгорбился в кресле, а не знающий пощады епископ продолжал:

— Я поначалу решил, что речь идет о деревянных или каменных изваяниях, но потом понял свою ошибку. Ангелы — это ваши сотрудники. Если б они по крайней мере хоть что-нибудь смыслили в своем деле и не были такими олухами!..

Не поднимая головы — ничего, сеньор епископ, придет час расплаты! — дон Максимилиан сказал:

— У нас еще будет случай поговорить о моих сотрудниках, ваше преосвященство, и я берусь объяснить вам, по каким критериям их взяли на службу. Кстати, это делал не я, а ректор. Но сейчас мне хотелось бы вернуться к таинственному исчезновению Святой Варвары.

Это возымело действие: епископ был зол и злоречив, но необыкновенно ревностно оберегал от любых посягательств как церковную доктрину, так и храмовое имущество. Он протянул руку — на пальце сверкнул епископский перстень — и коснулся согбенного плеча своего собеседника:

— Вы правы. Это очень серьезное дело. Давайте обсудим. Насчет спутников Святой Варвары — падре и монахини — епископ просил дону Максимилиана не беспокоиться и действовать так, словно их и в помине не было; пусть пропажей статуи занимается полиция, а церковные власти тем временем выслушают отчет свидетелей.

— Падре прибыл в столицу по моему вызову и завтра утром должен явиться ко мне. Да вы, наверно, тоже слышали про него — это падре Абелардо Галван, викарий Пиасавы, близ Конкисты. Знаете, что он устроил? Во главе целой вооруженной толпы захватил земли полковника Жоаозиньо Косты! Мы до сих пор расхлебываем заваренную им кашу. Вот поэтому его лучше держать как можно дальше от полиции. Установить, кто

была эта монахиня, труда не составит. Предоставьте их мне.

Он дал дону Максимилиану совет теперь же, не теряя ни минуты, связаться с начальником управления безопасности и с начальником федеральной полиции. Совет этот весьма напоминал приказ. Рудольф Клюк сам позвонил обоим и договорился о встрече, особо подчеркнув строжайшую секретность всего дела: просочатся слухи — беды не оберешься. Представляете, что нам устроит фонд исторического наследия? Дон Максимилиан представлял, но сильней всяких фондов пугал его викарий из Санто-Амаро.

Тут пришел черед испугаться его преосвященству. Он прекрасно знал, что это за непочтительный, неотесанный, невоспитанный грубиян. Крепкий орешек. Некоторое время тому назад его пытались мягко убедить в необходимости освободить храмовой праздник от элементов варварства, от фетишей и африканских обрядов. И что же? Нарвались на решительный отказ. Не только решительный, но и дерзкий. Он заявил, что праздник в честь Приснодевы устраивает народ, значит, народу и решать.

Разумеется, утаить от него происшествие невозможно, но хорошо бы потянуть время, вдруг удастся избежать его ярости.

— Отложим на завтра, может быть, дело разрешится само собой— Впервые в жизни интересы дона Максимилиана совпали с устремлениями дона Рудольфа: вот какой ужас внушал обоим настоятель церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан.

Епископ закруглял разговор — приближался час, назначенный начальником управления, директору Музея пора было ехать.

— Скажите, что мы очень обеспокоены и подчеркните секретность и срочность дела, — напутствовал его епископ.

Прирожденный дипломат, дон Максимилиан окончил беседу так:

— Завтра я буду иметь честь преподнести вашему преосвященству экземпляр моего труда. Выход книги приурочен к открытию выставки. Это плод многолетних исследований и размышлений, думаю, что в ней наконец будет закрыт вопрос о Святой Варваре Громоносице. — И добавил скромно: — Это триумф не мой, но Церкви.

Дон Рудольф ответил, что уже наслышан и о книге и о ее огромном значении, поблагодарил за подарок — «не забудьте надписать» — и благословил его. На указательном пальце блеснул перстень — знак сана, должности и степени священства.

НОСИЛКИ — Первый этаж бывшего монастыря Святой Терезы, ныне превращенного в Музей Священного Искусства при Баиянском

университете, был ярко освещен, когда его директор, дон Максимилиан фон Груден, затормозил во дворике и с помощью привратника вытащил с заднего сиденья носилки.

В самом Музее под руководством архитектора Жилберта Шавеса два сотрудника, два смуглокожих юноши, два ангела — злобное измышление твердолобого толстокожего пруссака Рудольфа Клюка — размещали в залах экспонаты, обычно хранившиеся в запасниках. Дон Максимилиан приветствовал Шавеса, осведомился, в добром ли здравии пребывает его жена, дона Сония, и начал обход своих владений. Дойдя до места, уготованного Святой Варваре, он остановился, чувствуя на себе внимательные взгляды архитектора и своих помощников.

— Сейчас будем ставить, местре? Где статуя?

— Нет, не сейчас. Послезавтра, за несколько часов до открытия. Иначе сюда сразу же набьется прорва народу, нам не дадут работать. — И чтобы пресечь возможные возражения, добавил: — Есть немало людей, которых мы не впустить не можем, так что уж лучше вообще ее не выставлять пока. — Он вымученно улыбнулся. — Святая Варвара в надежном месте.

— А где она? В церкви?

— Нет, не в церкви. Далеко отсюда. В полной безопасности.

В сопровождении троих помощников он двинулся дальше. Экспозиция была уже почти развернута. Дон Максимилиан похвалил троицу за хорошую работу, тут же внес некоторые изменения: передвинул распятие, поменял местами две дарохранительницы, велел унести ковчежец в малый зал.

— Да, совсем забыл! — спохватился один из «ангелов». — Три раза звонил викарий из Санто-Амаро. Сначала спросил, причалил ли парусник. Я ответил, что причалил и что вы отправились на пристань за статуей. Потом он звонил еще дважды, справлялся, не вернулись ли вы. Просил немедленно связаться с ним, как только приедете.

— Поздно, уже первый час.

— Он просил позвонить, когда бы вы ни вернулись.

Воспользуемся заминкой и сообщим читателю, что викарий носил имя Теофило Лопес де Сантана, что весь приход называл его «падре Тео», а экономка и домоправительница — Тетео, в хорошие минуты, конечно.

Дон Максимилиан прощается с архитектором и помощниками, остается один посреди своих сокровищ, медленно бродит по экспозиции, подолгу разглядывая каждый предмет. Да, это нечто! Такого множества уникальных произведений искусства Бразилия еще не видала. На почетном месте — статуи, изваянные Агостиньо да Пьедаде и Агостиньо де Жезусом,

и исполненный трагической красоты Христос на кресте работы Шагаса. Может быть, только в штате Минас-Жераис, благодаря наследию Алейжадиньо, удалось бы собрать нечто подобное. Глаза донна Максимилиана увлажняются: ведь все это — результаты его трудов, разысканий и штудий, плоды его любви. Но тут взгляд монаха падает на постамент, предназначенный Святой Варваре Громоносице, и сердце его сжимается.

Кто бы мог подумать, что долгожданная Выставка обернется невиданным провалом, беспрецедентным поражением, ознаменует собой катастрофу, гибель карьеры, конец жизни?! Нет, о самоубийстве донна Максимилиан не думал, но с поста директора, конечно, придется уйти и окончательно затвориться от мира в монастыре Сан-Бенто.

Жирофле

Очень многое насчет того, как проводила время Иансан, явившись в славный город Баию, так тайной и останется; никогда мы не узнаем, где она спала, с кем шутила нежную шутку, на чью грудь склоняла голову в час отдохновения и целительного сна. Не знаем же мы этого вовсе не потому, что деяния сии покрыты мраком — напротив, слишком уж резок их свет для наших глаз, которые в один прекрасный день закроются навеки.

А праздной болтовни, слухов и сплетен, досужих вымыслов и вздора в избытке на террейро и в университетах, в спальнях и культурных центрах, на рынках и ярмарках. На чужой роток, как известно, не накинешь платок, но болтать, только чтобы болтать, — занятие недостойное.

Взять, к примеру, приключение, пережитое или выдуманное фотографом Бруно Фурером. Ведь его же — приключение, а не Бруно — разнесли по всему белу свету, пересказали в стихах и прозе, присочинив всякой чепухи. Нет, ничего плохого о мастерстве и таланте этого высокого профессионала я сказать не хочу, да и не могу: работы его всем известны. Прошу заметить одну лишь, от всеобщего внимания ускользнувшую деталь: Фурер всецело посвятил себя творчеству художника Карибе (его настоящее имя Эктор Жулио Париде де Бернабо сделало бы честь венецианскому маркизу или же владельцу кабаре в Буэнос-Айресе), десятилетиями снимает только его работы, всячески их пропагандирует и во имя святой этой цели исколесил все пять континентов, забираясь в дали немислимые, повидал и безлюдье Патагонии, и ленинградскую зиму, — разумеется, за счет владетельного герцога нашей живописи.

В ту первую ночь, когда богиня явилась в наш город, — дело было около полуночи — Бруно, держа под мышкой набитую фотографиями и диапозитивами папку, с двумя неразлучными камерами на шее пришел к местре Карибе, чтобы вручить ему заказанный лондонским «маршаном» материал — сорок пять репродукций его последних работ и росписи в Игуатеми. Бруно был при последнем издыхании, он работал не покладая рук, ибо сроки поджимали: британец улетал на завтра утренним самолетом.

Однако хозяев дома не было: Карибе и его жена Нэнси отправились на ужин к банкиру Виктору Градену, супруга которого, Грейс, окончила очередную серию своей керамики — мало того что миллионерша, но еще и художница истинного дарования! — и перед обжигом желала показать ее компетентнейшему ценителю. Бруно ждать не мог и, зная беспечное

обыкновение хозяев оставлять двери открытыми — они в воров не верили, — вошел в дом.

А дом этот, помещавшийся на улице Боа-Виста-де-Бротас, больше напоминал музей — столько и такого там всего было. Здесь, конечно, не место перечислять произведения искусства, являющиеся собственностью художника, но чтобы дать вам представление о полноте его коллекции, о некоторых я хотя бы упомяну.

Греческая кариатида, выменянная у собирателя из Сан-Пауло Жоана Агрипино Дории на три акварели и одну картину маслом, принадлежащих кисти хозяина дома; гранитная статуя Святого Георгия из Хорватии — эти монументальные работы стоят в мастерской. А в столовой на стенах висят три обетных приношения, написанные не позднее середины прошлого века, и иконы — русская, македонская и болгарская, — последняя принадлежит кисти знаменитого богомаза Христо Захарьева, помечена 1824 годом и изображает в бело-зелено-золотистых тонах Святого Георгия и Святого Димитрия. Каким образом оказались эти почитаемые и строго-настроено запрещенные к вывозу православные святые в баиянском квартале Бротас? Вопрос этот повиснет в воздухе: не стану я толковать сейчас о плутовстве, о заговоре, фальсификациях и подлогах, о подкупах и контрабанде, язык не поворачивается. Как заявил не так давно начальник полиции, — а он слов на ветер не бросает, — живописец Карибе с лихвой наделен и изворотливостью, и опытом.

Столь же неисповедимыми путями попал сюда и пышный ораторий, который Карибе выудил в Португалии в загородном особняке, где проживала прабабушка баиянского политика Мануэла Кастро. Карибе разливался соловьем и, сумев-таки сладкими речами улестить старушку, беспокоившуюся только о том, не оскорбят ли тонкий вкус правнука вольные картины, сдал ораторий в багаж, «чтобы вручить выдающемуся правнуку скромный сувенир от его португальской родни». А потом, сраженный очередным приступом беспамятства — амнезии, выражаясь по-научному, — совсем забыл о своем намерении, так что Кастро и по сию пору не подозревает о существовании оратория. Впрочем, Карибе компенсировал свою забывчивость красочными и подробными рассказами о неведомых Кастро заморских родственниках — милых и гостеприимных аристократах.

Вольные картины ничей вкус не оскорбили: изнутри ораторий был расписан сценами из жизни Марии Египетской в духе средневековой безыскусности — «naiv^[27]», — поправил профессор Жоан Батиста на праздничном обеде по случаю дня рождения юной Нэнси. Что правда, то

правда: картины забавные, вольные и весьма откровенные. Изображали они превращение хорошенькой и совершенно голой блудницы, без всякой аллегорической недосказанности предающей пороку, в старую гримзу, закутанную с ног до головы в грубое глухое одеяние, с жаром и рыданиями кающуюся в содеянных грехах.

Для того чтобы роспись всегда была на виду, Карибе ничего в оратории не ставил и дверцы его держал открытыми.

Однако вернемся к Бруно. Он включил хрустальную люстру, чтобы выложить на стол репродукции и слайды, и вдруг заметил в нише оратория изображение святой, а точнее — резную деревянную статую, и статуя эта была само совершенство. Карибе зачем-то поставил ее в ораторий, не заботясь о том, что соблазнительные похождения египтянки видны теперь не во всей полноте. Где и как он раздобыл статую? В антикварных магазинах такое чудо не выставлялось, а еще накануне ее в доме не было.

Бруно подошел поближе, и восхищение его усилилось. Он не был специалистом, но достаточно разбирался в редкостях, постоянно имел дело с коллекционерами, чуть ли не ежедневно фотографируя статуи, ковчежцы, прочую церковную утварь, чтобы оценить шедевр по достоинству. «Феноменально!» — воскликнул бы Бруно, вместив в это слово переполнявшие его чувства, если бы знал его, но поскольку не знал, ограничился восторженной сентенцией: «Твою мать!»

Ему продолжало казаться, что где-то он эту скульптуру видел. Но где же, где? Уже в машине, по дороге домой, его вдруг осенило: да ведь это знаменитейшая Громоносица из церкви Санто-Амаро! Какого ж дьявола попала она в гостиную Карибе?!

Приехавши домой, он разбудил Гардению, поведал ей обо всем и спросил, что она думает по этому поводу. «От Карибе всего жди, — высказалась та. — Разве ты не помнишь, как он украл полотно Дженнера из конторы Мирабо, украл почти открыто, чуть ли не у всех на глазах, когда там было полно посетителей? С Карибе станется». Однако вынести Святую Варвару Громоносицу из алтаря — это даже для него, пожалуй, чересчур.

Несколько часов спустя, уже под утро, Пержентино по кличке «Пятиклассник» перелез через ограду, пересек сад и проник в мастерскую Карибе. Он желал овладеть несметными сокровищами художника. Во время последней отсидки среди прочих сведений, имевших целью повысить интеллектуальный уровень заключенных, он узнал от очеркиста Клаудио Вейга, а узнав, нимало не усомнился, что в ателье художника Карибе, в сундуке из Гоа лежат фантастические богатства. Пержентино очень тщеславился тем, что он — не какая-нибудь серая и темная личность:

он доучился до пятого класса гимназии и не получил среднего образования потому только, что отец умер и надо было кормить семью. Однако отсиживать часы «от» и «до», платить налоги и делать что велит Пержентино не пожелал. Как видим, он был не только грамотеем, но и индивидуалистом.

Завороженный историей о пещере Аладдина, он, на свою беду, пропустил мимо ушей слова профессора Вейги: Карибе — один из двенадцати баиянских оба^[28] — Оба Она Шокун — и на кандомбле место его по правую руку от матушки Стелы де Ошосси, «матери святой».

Привыкнув по профессиональной необходимости обходиться без света, он тотчас заметил, что на деревянной скамье спит чернокожая красавица в чем мать родила. Пержентино бесшумно приблизился: «Картинка!» Она была хороша как богиня, но он не узнал в ней Ойа Иансан — ему и в голову такое не могло прийти. Чуть подрагивали в такт дыханию непокорно торчавшие груди, а бедра, не уместившиеся на вполне просторной скамье, служившей ей ложем, могли бы вогнать в столбняк любого смертного. Пержентино не стал исключением и застыл: никогда ему не приходилось видеть такого изобилия.

Пержентино-Пятиклассник под наплывом новых ощущений позабыл и сундук из Гоа, и сокровища, торопливо расстегнул джинсы и изготовился к действию, резонно полагая, что вряд ли натурщица, которая привыкла позировать голой, станет отбиваться и поднимет шум из-за такой малости. Во всем прочем Пержентино надеялся на себя, ибо мужские его качества высоко ценились среди белокожих и смуглых обитательниц квартала Бротас.

Но не успел он прикоснуться к спящей, не успел ощутить жаркую ласку уст и лона, как в это самое мгновение гранитный Святой Георгий пришпорил своего белого коня и, сопровождаемый огнедышащим драконом, ринулся на него, уставив копьё, собираясь пронзить то, что составляло утеху и гордость Пержентино.

Налетчик, опять же по профессиональной необходимости проворный как кошка, метнулся к двери и скатился по лестнице. Святой Георгий поскакал следом, не оставляя намерения оскотить святотатца. Пятиклассник, окутанный пламенем, которое изрыгал дракон, вопя и призывая на помощь, едва не спятив от ужаса, пролетел сад, выскочил на улицу и мчался не останавливаясь до самого полицейского участка, куда и ворвался с повинной. Его сочли мертвецки пьяным, а поскольку он был человек в полиции известный, инспектор велел поставить его под холодный душ для вытрезвления.

Что же касается фотографа Бруно Фурера, который весь следующий день болтал на каждом углу о своем открытии, то его задержали и по распоряжению комиссара Паррейриньи доставили в отдел, ведавший грабежами и кражами. Однако Бруно был парень тертый и ни в чем не сознался, резонно утверждая, что, если история эта у всех на устах, он тут ни при чем. Ах, твердил он, для него величайшим счастьем было бы увидеть Святую Варвару — у Карибе ли или где угодно еще — и сфотографировать ее. «Пожалуйста, господин комиссар, как разыщете, не откажите в любезности мне звякнуть, я со своей „лейкой“ буду тут как тут».

А бродячий певец Карлос Кунья, наслушавшись рассказней и небылиц, присел на скамеечку в саду Баиянской Академии Литературы и обозначил всю эту кутерьму иностранным словом «жирофле». А кто захочет узнать, почему, пусть спросит отгадку у самого поэта.

Помолвка и свадьба

ОБЕЩАННОЕ — СВЯТО — Любезный читатель, должно быть, помнит, что я обещал приподнять таинственную завесу, окутывавшую супружество Адалжизы, и описать, в какие строгие рамки ввела религия пыл Данило Коррейи, сорокалетнего делопроизводителя, а в прошлом — надежды баиянского футбола: не сегодня завтра его пригласят в сборную страны, — предрекали спортивные обозреватели того славного времени.

Что ж, пришла минута выполнить обещание, уплатить долг, пока управление безопасности, федеральная полиция и агенты архиепископа рыщут по следам пропажи, отрабатывая разнообразные версии и отыскивая ниточку, дернув за которую, можно будет размотать преступный клубок и найти Святую Варвару Громоносицу. Смогут ли наши проникательные и неутомимые сыщики раскрыть преступление, упрятать злоумышленников за решетку и спасти дона Максимилиана фон Грудена от вечного заточения в его келье?

Дон Максимилиан в четырех стенах не выживет: он рожден для просторов ученой беседы, дружеской болтовни, для общения с себе подобными, для ехидной полемики, для научных собраний, для вечеринок, для сплетен и злословия. Одним словом, для блестящей светской жизни. Недаром ведь так часто встречается его имя в колонке светской хроники газеты «Тарде», обозревательница которой диктует моду, предписывает вкусы, в общем, вращает землю.

Скоро, скоро будут известны результаты — надеюсь, положительные — сыска и дознания, подтвердится какая-либо из версий или все сразу, но пока ничего определенного не обнаружено, на хвост похитителям не сели и святую не нашли, воспользуемся этой передышкой и посплетничаем немножко, поговорим о любви и любовниках, о горестях и радостях, о томлении и ликовании. Будет у нас мелодрама с «хеппи-эндом».

МЕЧТАТЕЛЬ — Почистив на ночь зубы, натянув синие в желтую полосочку пижамные брюки, Данило появляется в спальне. Мохнатая грудь его открыта. Лежащая в постели Адалжиза, подоткнувшись со всех сторон простыней, закрывает глаза.

Беспутные подружки Данило, растянувшись, бывало, рядом с ним на мягком матрасе, набитом обезьяньей шерстью, говорили, поглаживая

густую поросль у него на груди: «Прямо как бархат... Чуть прикоснусь — и я готова». Но Адалжиза редко прикасается к мужниной груди, а уж что такое «готова» она не понимает, ибо подобные слова порядочной женщине не то что произносить, а и знать зазорно.

Данило, положив очки на ночной столик, поставив шлепанцы носок к носку, укладывается. Прежде чем погасить ночник, он приподнимает одеяло и с вожделением новобрачного оглядывает зад Адалжизы, тщетно скрываемый панталонами, — да-да, именно этой безнадежно устарелой, давно вышедшей из моды частью туалета, которую ныне днем с огнем не сыщешь в фешенебельных магазинах. Склонясь над женой, Данило обращается к ней с обычной просьбой и нарывается на столь же обычный отказ:

— Нет. Сегодня — нет. Я уже помолилась.

Данило еще предпринимает робкие попытки прижаться, притулиться, обнять Адалжизу, но та отстраняется и переворачивается на живот, оберегая свои прелести от кощунственных посягательств.

— Ты, если уж не молишься на ночь, хоть бы перекрестился! Безбожник!

Она резко отталкивает руку Данило:

— Не трогай меня! Маньяк!

А во сне — к сожалению, лишь во сне — Данило овладевает ею так, как ему хочется. Длится эта пытка уже девятнадцать лет.

РОХЛЯ — Девятнадцать лет, как они женаты, да годик накиньте на помолвку, да еще несколько месяцев ухаживанья — вот вам и полные два десятилетия. Данило Коррейя, видный мужчина, по натуре добряк, характера ровного и приветливого, которого друзья продолжают звать Принцем теперь уже не за изысканные финты и филигранные передачи, а за природное красноречие и элегантность, вынужден пить и шляться по бабам, применяя эти испытанные средства во исцеление своего недуга.

Так почему же такое дружелюбное и душевное существо, как он, оказалось намертво пришитым к юбке этой сварливой и вздорной дьяволицы? Почему, спрашиваете? Да потому! Адалжиза, разменявшая четвертый десяток, при всей отвратности своего характера остается весьма и весьма привлекательной дамой — лакомый кусочек! Когда она, достав из шкафа, надевает праздничный наряд и идет к десятичасовой мессе, или в гости к своим высокопоставленным клиенткам, или на обед к школьному приятелю Данило — миллионеру Артуру Сампайо, или на бал в Испанский клуб, все встречные мужчины провожают ее алчными взглядами: бедра ее

качаются в прихотливом и вольном ритме, как корабли под ветром. «Даст же господь такое!» — размышляет профессор Луис Батиста, слушая, как клянет Адалжиза все человечество и обещает сломить рог непокорной племяннице.

Данило гулял усердней, чем пил. Не было человека, который в шутку ли или всерьез, с похвалой или с укоризной — а большинство с неприкрытой завистью — не дивился бы тому, как аккуратно — не реже двух раз в неделю — отправляется Данило к жрицам любви, проводя вечера в домах терпимости, в последних притонах, чудом еще уцелевших на баиянских улицах, в борделях, неумолимо клонящихся к упадку.

Профессор Жоан Батиста, его сосед и партнер по шашкам и триктраку, тоже отдавал дань природе и имел обыкновение обмениваться с Данило впечатлениями о внешности, нраве, дарованиях и достоинствах девиц, которых оба знали и ценили. Но ни разу не осмелился он задать вопрос, вечно вертевшийся у него на языке: чем объяснить, что в бордели ходит человек, имеющий у себя дома, в полном своем распоряжении, женщину такого класса, как дона Адалжиза? Что за вопиющая нелепость? Будь он, Жоан Батиста де Лима-и-Силва, женат на ней, уж он бы не стал тратить деньги на потаскушек, а получал бы в супружеской постели и рядовой обед, и изысканную трапезу, и легкую закуску, и дежурное блюдо, и фирменное кушанье, и десерт. Ах, дона Адалжиза — непокорная грудь, роскошные бедра! что за женщина! пир плоти, *geras exquis*^[29].

Он не спрашивал и ничего наверное не знал, но само развитие событий указало ему, по каким причинам ударился в разгул его редкостный сосед. «Редкостный сосед», — таково было единодушное мнение всей авениды Аве Мария.

Дамиана — та просто считала Данило святым, достойным быть причисленным к лику, ибо только святой, по ее мнению, мог столько времени терпеть такую злую, на весь свет обиженную бабу, как Адалжиза, — «я бы на его месте давно бы послала такую жену куда подальше». Алина — соседка слева — находила такое объяснение странностям Данило: сам господь наложил на него, бедненького, эту епитимью во искупление какого-то греха. Ну, а супруг Алины, сержант военной полиции Деолиндо, рьяный поборник мужских прав, называл Данило слюнтяем, рохлей, сурово порицая его непомерную уступчивость и терпимость. «Он у нее под каблуком, она им вертит как хочет, веревки из него вьет и чихает на все с присвистом. Попалась бы она мне, я бы ее живо привел в должный вид: гаркнул бы да навесил слева-справа, враз стала бы как шелковая. Бабам никакой потачки нельзя давать: сунь палец, они всю

руку норовят отхватить».

Сержант был мужчина суровый, зычноголосый и собой нехороший. Алина, слушая его речи, со всем соглашалась и кротко кивала, а в душе посмеивалась, ибо знала, что суровость его и мужественность — это так, видимость одна, и не найти во всем квартале такого рогоносца.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ — По просьбе влиятельных героев моей истории — профессора Жоана Батисты де Лима-и-Силвы, журналиста Леокадио Симаса, горемычного Принца Данило — а также многих иных граждан, имена которых я, разумеется, огласке не предаю, словом, всех усердных посетителей и желанных гостей обреченных на вымирание борделей, не побежденных, но вытесненных новомодными мотелями с высокой пропускной способностью, и массажными заведениями, — я прошу почтить минутой молчания светлую память этих центров общения и досуга, где некогда процветало милое моему сердцу искусство разврата.

Через баиянские дома терпимости прошли одно за другим целые поколения мужчин богатых, бедных и скромного достатка, представители всех профессий, носители всех идеологий, наставники и школяры, мастера искусств и мастеровые, банкиры и бандиты, клерикалы и клерки, торговцы и продавцы, князя церкви и скромные ее служители, помещики и депутаты, крупные политические деятели и мелкая муниципальная сошка, военные в больших чинах и рядовые, врачи просто и врачи зубные, ветеринары, фармацевты, инженеры, прошли аристократия, духовенство и третье сословие. Эти учреждения несли в народ начала демократии и азы культуры, прививали вкус к знаниям и добропорядочности и, несомненно, заслужили толику благодарности со стороны Исторического и Художественного фондов. Вспомним, смахнув слезу умиления, бордель Жозетт Ла Рукин, помесь притона с литературным салоном, где во время оно царил славившийся изысканностью своей рифмовки сонетист Браулио де Абреу.

Под матерински взыскательными взорами хозяек выходили в залу девицы, угощали клиентов сладостями, ликерами из бананов или питанги, какао, роз и фиалок, в тиши обитателей изготовленными и очищенными через бумажные фильтры сестрами-монахинями. На душистых простынях изобретательно, искусно и добросовестно разыгрывалась бесконечная гамма ласк, которые готовили и вели к высшей точке наслаждения, где жизнь уже почти неотличима от смерти.

Многие приходили, чтобы здесь, в тишине и покое, в жарких объятиях получить то, на что не смогли претендовать из-за предрассудков ханжеской

морали у себя дома. Они покидали бордель успокоенные, примиренные с действительностью, вновь обретшие радость бытия. Восстанавливалась гармония брачных союзов, незыблем становился семейный очаг, укреплялся институт семьи, являющийся, как известно, основой христианского западного общества... ну, ладно, ладно.

Непомерную цену платим мы за ложно понятый прогресс, оборачивающийся вандализмом, насилием, разрушением. Мы путаем понятия «рост» и «развитие». Человек, обреченный на одиночество мотеля или «кабинета массажа», утрачивает радость жизни.

А ведь еще совсем недавно в борделях специалистки высочайшей квалификации, наши соотечественницы и иностранки — о, романтические француженки, о, таинственные полячки! — эти жрицы сладострастия, как писали некогда в плохих романах, щедро потакая любым прихотям, правили стародавнее ремесло.

Нет, даже пустив в ход французский язык, самим богом созданный для эротических таинств и постельных забав, профессор Жоан Батиста, испытанный поклонник борделей, все равно не согласится принять мотели и массажи — эти прилавки, за которыми общество потребления торгует сексом тоскливым и порочным, где нет места ни монастырским ликерам, ни романсам, ни беседам, ни поэзии. Ах, невозвратные времена!

ИГРОК — Хотя плодовитый и льстивый Силвио Ламенья, ведущий колонки «High Society» в «Диарио де Нотисиас», не жалел слов, описывая «бракосочетание прекрасной Адалжизы, точно сошедшей со страниц Лорки, истинного украшения нашего общества, нежно любимой дочери нашего подписчика дона Франсиско Ромеро Перес-и-Переса, пользующегося заслуженной известностью виднейшего представителя иберийской колонии, с популярнейшим спортсменом, Принцем Данило Коррейей, стяжавшим себе громкую славу на футбольном поле...», но церемония прошла более чем скромно. Не было даже торжественного венчания в церкви. Не позволяли средства.

Пако-Жеребец стремительно разорялся. Карточные проигрыши смели бакалейные лавки, сожрали акции Экономического банка и Банка Баии, уничтожили ценные бумаги и облигации. К тому же началась засуха и бескормица выкосила чуть не весь скот. Пришлось за сущие гроши продать имение «Каталония», купленное когда-то бездумно, поспешно и из чистейшего бахвальства: уж больно хотелось Пако, сидя за картами в Английском клубе, чувствовать себя плантатором-помещиком, на равных с «королем какао» Раймундо Са Баррето, с латифундистом Алмиром Леалом

и с прочими землевладельцами — сильными мира сего. Сам-то он крайне редко навевывался на свою фазенду, затерянную где-то в глуши сертанов, и пригодилась она по-настоящему лишь однажды: там провели свой медовый месяц Долорес и Эуфразио.

Долорес, младшая дочка, вышла замуж рано, на два года раньше Адалжизы, когда дела семьи были более или менее благополучны. Новобрачных венчал сам епископ Аракажу, старинный друг Пересов, случившийся в то время в Баии. Орган и женский хор исполнили марш Мендельсона. Центральный неф был увит гирляндами живых цветов; три ангелоподобных девочки и три херувима-мальчика открывали шествие, устилая путь невесты лепестками флердоранжа; дамы из лучших фамилий несли длиннейший шлейф ее украшенного кружевами платья из белого органди. Отец вел ее под руку; всхлипывала мать, обручальные кольца были из самого чистого золота и самого новейшего фасона. У церкви толпились и толкались зеваки. Несмотря на то, что свадьба была задумана и исполнена в страшной спешке, дона Эсперанса Трухильо успела управиться с подвенечным нарядом к сроку, чему никто не удивился: все знали ее обязательность.

Объяснялась же спешка очень просто: Долорес была на третьем месяце. Эуфразио был малый не промах и еще до помолвки лишил Долорес невинности, найдя для этого очень подходящее место за Маяком: в те времена семейство Пересов проживало еще в собственном доме, на берегу моря.

Потом этот дом тоже был продан за долги, и от всего богатства осталось у Пако только лавчонка старьевщика в квартале Агуа-дос-Менинос, куда он вложил деньги, чтобы помочь своему юному и предприимчивому земляку Хавьеру Гарсии. Тот рьяно взялся за дело, и дело пошло.

Хавьер карт в руки не брал, терпеть не мог ни казино, ни кабаре, ни баров, ни борделей и был так бережлив, что дважды в день спускался и поднимался по Ладейре-де-Агуа-Бруска, чтобы не тратиться на фуникулер. Семь лет назад он приехал из Тенерифе с пустым карманом и с тех пор разбогател, благодаря не столько строжайшей экономии, сколько удивительной ловкости, с которой он разорял своего партнера и компаньона. Хавьер, в отличие от Пако, был не игрок, а жулик.

ПРОПОВЕДЬ — А Адалжиза венчалась дома, а не в кафедральном соборе, и никакой помпы не было, но все же все приличия соблюсти удалось. Не такая уж нищая получилась свадьба.

Ломился стол от разнообразнейших яств, и выпить было что — и испанские коньяки, и мансанилья, и херес. За здоровье молодых пили шампанское: свидетели на регистрации брака, Амелия и Бенито Фернандесы, помимо ценного свадебного подарка — великолепного сервиза — привезли еще и полдюжины шипучего. Что это еще за «шипучее»? Так позволительно называть некую подделку из штата Рио-Гранде-до-Сул, а «vin blanc mousseux^[30]», импортированное из Франции, извольте писать и произносить так, как велит профессор Жоан Батиста де Лима-и-Силва: «шампань». И кстати, можно будет избежать неразберихи, проистекающей от растущей дороговизны и ухудшающегося вкуса.

Церемония началась позже, чем того требуют правила хорошего тона, — в пять часов. Дело было в субботу, на дворе стоял май. Сначала — венчание, коим руководил падре Гаспар Садок, а потом — регистрация брака, осуществленная судьей Жозе Алвесом Рибейро. Такого столпотворения, как два года назад на свадьбе Долорес, конечно, не было, но все-таки гостей набралось порядочно: Пако-Жеребца ценили не только за деньги, которых у него, впрочем, уже не было, но и за иные качества. Квартирка на улице Грасе оказалась даже тесновата: приглашенные разбрелись по комнатам, торчали в спальне, шушукались на кухне о том, как Пако пустил по ветру свое состояние. «Карты и разорение — неразлучная пара», — гремел в воскресной проповеди красноречивый падре Барбоза в изящной церкви Витория и лучшей иллюстрации этого тезиса подобрать бы не смог.

Воздушное тюлевое платье в стиле Ренессанса было придумано, скроено и сшито самой Марией Зилдой, а подарено — четою Котрим, посаженными матерью и отцом невесты; фата и флердоранж свидетельствовали о непорочной чистоте Адалжизы, которая, не в пример младшей сестре, действительно была чиста и непорочна и принесла к алтарю совершенно нетронутое целомудрие. Ягодка была не надклевана — случай в наше время редкий, заслуживающий особого упоминания.

Адалжиза утерла слезу, когда священник вспомнил о матери невесты, о добросердечной Андресе, и о ее наставнице и доброй фее, доне Эсперансе Трухильо, «которые упокоились в лоне Авраамовом и благословляют свою дочь и воспитанницу в счастливый день бракосочетания». Падре Гаспар Садок не знал себе равных в свадебных церемониях.

БУКЕТ НЕВЕСТЫ — По мнению жениха, проповедь несколько затянулась. С немой укоризной взирал Данило и на поэтического судью, который так долго воспевал «ослепительную, роскошную, истинно

бразильскую красоту Адалжизы, рожденную в том тигле, где сплавляется воедино кровь многих рас...», что эта речь была больше похожа на объяснение в любви и всерьез озадачила жениха: поэты не заслуживают доверия. Данило переминался с ноги на ногу, чему было и более прозаическое объяснение: нестерпимо жали новые лакированные туфли, и он не чаял, когда же можно будет наконец скинуть их, когда можно будет остаться вдвоем с Адалжизой, на берегу моря, на Морро-до-Сан-Пауло, в загородном доме, который предоставил в распоряжение молодых богатый промышленник и старинный приятель тестя Фернандо Алмейда.

Но вот, слава богу, речи кончились и началась канитель поздравлений: поцелуи, объятия, пожелания счастья, двусмысленные шуточки — и так без конца. Данило целовался, обнимался, улыбался, благодарил, но мысли его были далеко.

Впрочем, почему же далеко? Близко были его мысли, ибо совсем рядом с ним во всей непорочности своей стояла Адалжиза. Теперь, после благословения и подписи судьи в брачном свидетельстве, он имел на эту непорочность все права, и главное право — покончить с ней как можно скорей. Услышал господь его молитву.

Адалжиза, принимая поздравления, выслушивая лукавые смешки подружек и завистливые шуточки, порхала по комнате от гостя к гостю. Данило стало вконец невтерпеж, а еще надо было сняться на память об этом счастливом дне, да не один раз: вот новобрачные рука об руку; вот они меняются кольцами; вот их первый поцелуй. Последняя мизансцена чуть не доконала его.

Адалжиза бросила свой букет в толпу всполошившихся девиц на выданье: есть такая примета — кто поймает его, в том же году выйдет замуж.

ДЕВУШКА СТРОГИХ ПРАВИЛ — Несколько ранее устами профессора Жоана Батисты высказывалось мнение о том, что за год от помолвки до свадьбы кое-какие потачки и вольности допускает даже самая стыдливая и высоконравственная девица. Однако нет правил без исключений: ровно год прошел от предложения до свадьбы, но Адалжиза пришла к импровизированному алтарю девственницей и, более того, — непорочной девственницей: столь редки были потачки, столь немногочисленны вольности.

И вовсе не потому, что обстоятельства не благоприятствовали: возможностей для легкого блуда было сколько угодно. Два часа в день, с восьми до десяти, жених и невеста проводили наедине, обсуждая

последние фильмы, радиоспектакли, шлягеры, певцов и певиц — Адалжиза с ума сходила по Анжеле Марии. Данило предпочитал Далву де Оливейра, и оба восторгались Элизет Кардозо — вспоминая перипетии футбольных сражений, в которых некогда блистал Данило, строя планы на будущее. Пако-Жеребец уходил туда, где ждали его крапленые колоды, подпольные казино, игорные притоны, он уходил, а жених приходил, и в дверях они вежливо здоровались и обменивались парой ничего не значащих любезностей. Андреса, побыв с нареченными несколько минут, потом оставляла их: дел по хозяйству у нее было множество.

Жених и невеста сидели рядышком на диване, или, взявшись за руки, бродили по городу, любовались полной луной, стоявшей над морем, с холма, где некогда была резиденция иезуитов — на Ладейре-де-Санто-Антонио-де-Барра, или шли к теннисным кортам, или к яхт-клубу, — все это места, просто созданные для влюбленных и издавна облюбованные ими. В непроглядной тьме или в лунном сиянии Данило, вдали от нескромных глаз, совершенно спокойно мог бы совратить Адалжизу, если бы она, конечно, согласилась. Но она не соглашалась.

Что? До свадьбы? Никогда! Легче умереть! Пример прыткой Долорес старшую сестру не вдохновлял. И в этом аспекте, и во многих других сестры представляли друг другу полную противоположность. Долорес залетела в шестнадцать лет, а венчалась уже с Перивалдо во чреве, но малышу недолго пришлось носить это красивое имя, полученное при крещении: восьми месяцев от роду он умер от дизентерии.

Адалжиза, с детства отличавшаяся заносчивостью и самоуверенностью, теперь, на двадцать втором году жизни, огородила себя непроницаемой стеной принципов, полученных в наследство от крестной, доньи Эсперансы Трухильо, непреклонной вдовицы. Принципы эти предписывали Адалжизе стиль и манеру поведения: донья Эсперанса воспитала ее как настоящую сеньору. Дада стояла насмерть; фанфары сексуальной революции звучали впустую, а о противозачаточных пилюлях она и понятия не имела. «Девушка строгих правил», — говорили про нее кумушки.

ПОТАЧКИ И ВОЛЬНОСТИ — Да, жениховство Данило было на редкость платоническим: отношения его с невестой были чистейшие, а притязания — скромнейшие. Будь на месте его невесты другая, он, красавец и знаменитость, идол болельщиков, кумир женщин, не стал бы терять время даром и уж как-нибудь да нашел бы способ удовлетворить снедавшую его страсть, но с Дада — при том, что виделись они

ежедневно, — дело не шло дальше поцелуев: чем ближе был час расставания, тем продолжительней и горячей они становились. Прощальное же лобзание было точь-в-точь как в кино. Целоваться Адалжиза любила.

Иногда в редкие минуты допускалась такая вольность, как тисканье или лапанье, но ни разу не разрешили Данило засунуть руку в вырез платья или под рубашку, а уж под лифчик — и думать нечего было. Иногда случалось провести ладонью по бедру — тоже поверх юбки, и только однажды удалось ему залезть невесте под юбку. В тот день, когда он осмелился на подобную дерзость и скорее угадал, чем почувствовал по-настоящему возделенные контуры, Данило разрядился тут же, не сходя с места, не успев даже добежать до дома или до ближайшей своей приятельницы. В них он недостатка не знал: Данило был весьма популярен в веселых домах Масиэла и Гамелейры.

По пальцам можно пересчитать, сколько раз за этот год — год напора и задавленного желания — доводилось Данило совершить с Адалжизой нечто более существенное. Почувствовав прикосновение чего-то твердого и нетерпеливо подрагивавшего, Адалжиза вздрагивала и резко отодвигалась. Никогда не позволяла она рискованных контактов, боязливо держала в руке грозное орудие Данило, так толком и не оценив его калибра, длины и объема. Ее удивляла оставшаяся на ладони капелька: если потереть, похоже на клей.

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ — Незавидное, скажу вам, дело — расписывать ограничения и запреты, повествовать о том, что должно было бы свершиться, да не свершилось, рассказывать о вещах унылых и разочаровывающих, скучно это, угнетает это и обескураживает. Но летописцу не пристало искажать истину, скрывать уродливые и грустные грани бытия, а главное — обманывать читателя, наплетя ему, например, с три короба о победе Данило, тогда как бедный малый брел по тернистой тропе (или по безводной пустыне), терпел голод и жажду, посаженный, можно сказать, на хлеб и воду. Очень мало было хлеба и еще меньше воды...

Адалжиза расслаблялась, утрачивала бдительность, снимала караулы только во время танцев — на семейном каком-нибудь торжестве на «matinee^[31]» в Галисийском центре, на «soiree^[32]» в Испанском клубе. Опьяненная медленной романтической музыкой, замороженная ритмом, она не противилась, когда Данило, слегка нарушая правила приличия, прижимался к ней плотнее, обхватывал теснее, а только томно улыбалась,

полуприкрыв глаза. Уж очень она любила танцевать. Однако не каждый же день случаются вечеринки и вечера, крестины и именины. Всякому известно: хорошенького — понемножку...

Приняв в расчет все эти горести Данило, о коих я против воли рассказал, читатель без труда сообразит, в каком состоянии духа и плоти пришел он ко дню свадьбы. Чаша его терпения была переполнена, он жаждал и алкал и сдерживался из самых последних сил. Ничего, утешал он себя, скоро настанет день, когда исполнятся все его желания, даже самые безумные и невероятные, скоро он отыграется за все, и все себе возместит, и устроит пир на весь мир.

Но заблуждается тот, кто подумает, дойдя до этого места моего нескладного, но честного повествования, будто страдалец Данило не испытывал к Адалжизе ничего, кроме вожделения, что чувства его ограничивались лишь любострастием и похотью. Подобное умозаключение — скороспелое и узколобое — может лишь опорочить истинные чувства Данило. А он любил Адалжизу глубокой, неподдельной любовью, любил всем сердцем.

Конечно, его пленили изящество, красота Адалжизы, совершенство ее тела, наповал сразили ее точеные ноги, ее крутые бедра, ее осиная талия, ее высокая грудь, ее смоляные локоны.

Конечно, его не оставили равнодушными многосторонние дарования невесты: она очень вкусно готовила, играла на рояле, шила и вышивала, не говоря уж о том, какие дивные выходили из-под ее рук шляпки. Нравился ему и характер Адалжизы — цельный, неуступчивый, алмазной твердости. Но сильнейшее впечатление производили на Данило ее моральные качества и первое из них — ее несокрушимая добродетель. Эта черта возвышалась над всеми прочими бесчисленными достоинствами. Данило гордился неприступностью Адалжизы, умеренностью ее ласк, отпором, который она давала его притязаниям, скудостью вольностей, ничтожеством потачек.

Вот какие бывают в нашей жизни неразрешимые противоречия — их и утаить нельзя, и обсуждать нечего. Каким бы необъяснимо нелепым ни казалось нам диалектическое противоречие, это неотъемлемая часть нашей жизни. Данило, гордясь и восхищаясь целомудрием невесты, глубоко страдал от последствий этого самого целомудрия, но, не будь этого противоречия, он не любил бы ее так преданно и горячо и не выдержал бы годовичного искуса. А как иначе объяснить их девятнадцатилетнее супружество?

ВРЕМЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ — О девятнадцатилетнем

супружестве пока умолчим, воспользуемся тем, что молодые сломя голову несутся в Валенсу, там сядут на катер и доберутся до Морро-до-Сан-Пауло, где и будет проходить их медовый месяц, — и прервем на время рассказ об их... — даже не знаю, как назвать?.. — об их пламенной и чистой любви.

История, которую я тщусь изложить на этих страницах, довольно запутанного свойства, занимает много места и в пространстве и во времени, и потому надо как следует напрячь мозги, дабы не запутаться, не расшибить себе лоб на крутом повороте сюжета, не сбиться с пути на развилке, приготовленной лукавыми бесами.

Так что подождите малость. Скоро я опять возьмусь за историю о бывшей футбольной звезде и модистке и в лучших традициях жизненной правды и реализма расскажу о том, как прошла их первая брачная ночь и медовый месяц, и тогда обретет смысл такое запутанное словосочетание, как «пламенная и чистая любовь». Повествовать — мало, надо еще при этом соблюсти пропорции и меру, чтобы получилось то, что надо. Всякому эпизоду — свой черед, для каждого героя — свой тон. Если кто-нибудь полагает, что это просто, пусть сам попробует.

Сейчас пришло время уделить внимание другим фронтам, вернуться к отложенному, снова вывести на сцену других, не менее значительных персонажей. Вот, к примеру, дон Максимилиан фон Груден, — ведь он почти не сомкнул глаз этой тревожной ночью. Справедливо ли так и держать его в неведении, не сообщить ему никаких новостей? Обнадеживающих, конечно, и отрадных, раз ему так хочется.

Ну а если кому-нибудь не терпится узнать, как же протекала брачная ночь Данило и Адалжизы, если кто жаждет сведений из этой волнующей сферы бытия, то вольному воля: пусть он перелистнет десяток страниц и получит детальнейшее, без умолчаний и недомолвок, описание того, как именно распрощалась девица со своим девичеством. Вовсе не обязательно читать всю книжку целиком.

Телефонные разговоры

ГАЗЕТНАЯ ШУМИХА ИЛИ СЛАВА И ДЕРЬМО — Дон Максимилиан фон Груден, даже если ложился спать далеко за полночь, засидевшись над книгами или в кругу друзей, вставал всегда очень рано, когда в пролетарском квартале, примыкавшем к монастырю, пели петухи.

Стоя с зубной щеткой у окна, директор Музея глядел, бывало, как оживает улица, как торопливо шагают на службу невыспавшиеся, хмурые мужчины, как с утра уже усталые женщины принимаются за свои домашние дела, которых все равно не переделаешь. Жизнь эта, убогая, неинтересная, серая, разительно отличалась от его собственной, и дону Максимилиану даже в голову не приходило пожалеть своих соседей, проникнуться к ним состраданием: он просто их не замечал. Нет, он их презирал вовсе не за то, что они бедны — он и сам Крезом не был, — а за то, что они слишком заурядны и их заботы, труды и досуги не имеют ничего общего с его возвышенно-интеллектуальными радостями и печальми. Однако в это утро — был четверг, и с момента исчезновения Святой Варвары прошло ровно двенадцать часов — дон Максимилиан, не сомкнув ночью глаз, почувствовал свое кровное родство с соседями. Ему, пожалуй, еще хуже, он попал в безвыходную ситуацию. Впрочем, один выход все же оставался: узенькая дверца, за которой — отставка и всеобщее презрение.

Прежде чем стать на молитву, дон Максимилиан имел обыкновение просматривать утренние газеты, которые Нелито, его «бой», еще один из его ангелочков — херувим на посылках, черный как сажа негритенок — аккуратной стопочкой складывал у двери. Вот и в этот четверг директор Музея по установившейся привычке и природной любознательности принялся просматривать прессу, усевшись в черное кожаное кресло, так эффектно оттенявшее его белую сутану.

На первой же странице первой газеты — это была «Тарде» — он увидел собственное свое улыбающееся изображение: Вава, превосходный фотограф и добрый приятель, выбрав удачный ракурс и подходящий момент, щелкнул директора, когда тот перелистывал книгу о таинственной скульптуре. Очень хорошо вышел на снимке дон Максимилиан! Надо будет послать Вава экземпляр бразильского издания с теплой надписью. Директор снова посмотрел на свою фотографию: очень, очень хорошо, и

улыбка такая скромная и умная. Красиво! Зачем скрывать?

«Завтра состоится открытие Выставки. Знаменитая статуя Святой Варвары уже прибыла в Баию!» — этот жирно напечатанный заголовок отсылал читателя на третью страницу, где был помещен репортаж о пресс-конференции. Три колонки в верхней части листа: умело поданная и совершенно исчерпывающая информация — это дело рук репортера Жозе Аугусто Берберта, матерого, хоть и молодого годами, журналиста. Он пришел в «Тарде» совсем мальчишкой. Очень способный парень, хотя и отлучен от церкви: покойный кардинал да Силва еще в тридцатые годы предал анафеме юриста Эпаминондаса Берберта де Кастро, отлучил от церкви его и весь род его до седьмого колена. Но это уже другая история... Из нее получилась бы прелестная новелла...

Репортер покинул пресс-конференцию еще до звонка Эдимилсона и подробнейшим образом повествовал о том, как она протекала, какие вопросы были заданы, особо отмечал присутствие португальского поэта, специального корреспондента «Журнала», посланного «для освещения двух крупных событий — открытия Выставки и выхода книги». Он называл ее по-португальски и по-немецки, пускал такие вот словесные шутихи: «первоклассная полиграфия, великолепное, роскошно иллюстрированное издание». А в части содержания ссылался на просвещенное мнение Антонио Селестино: «Основополагающий труд, монументальное исследование».

Далее газета обещала в ближайшую субботу поместить статью ведущего критика об этой книге, еще не появившейся на прилавках книжных магазинов, но уже превознесенной до небес, и сообщала, что называться рецензия будет «Труд жизни дона Максимилиана».

Репортаж был украшен еще одной фотографией — директор Музея беседует с лиссабонцем. Какой все-таки молодчина этот Вава! Не забыть бы послать ему экземпляр!

Сердце дона Максимилиана успокоилось, дух поднялся, на устах появилась улыбка. В тишине, нарушаемой только пением двух канареек, он признал себя неправым. Несправедлив он был по отношению к Селестино, зря он подозревал интригу и заговор, понапрасну кипел от гнева и выпускал отравленные стрелы сарказма — ведь честный португалец, вполне достойный прочувствованной дарственной надписи, сидел за машинкой, сочиняя статью во славу его, дона Максимилиана! «Труд жизни!» Как верно, как тонко подмечено! Лучи славы вызолотили сутану.

И к поэту Пашеко он был несправедлив. Теперь, видя на фотографии приветливо-почтительное выражение его лица, директор осознал, что столь

возмутивший его вопрос задан был вовсе не по указке заморского соперника Коимбры Гоувейи и не таил в себе гнусной подоплеки. Все это была игра воображения, химера и мнимость... Ах, как превосходно складывалось бы все, если бы не это несчастье со статуей! Разве можно утешаться сообщением — к сожалению, ложным — о прибытии Святой Варвары в Музей?! Берберт якобы самолично присутствовал при этом — жаль, что в репортерском своем рвении он иногда выдает вымыслы за факты. И все-таки репортаж поднял дону Максимилиану настроение и искра надежды согрела ему душу: а вдруг полиция, служба безопасности или курия уже разгадали загадку, отыскали скульптуру, схватили воров — если были, конечно, воры? А вдруг? — Все может быть.

Ах! На первой странице «Диарио де Нотисиас» поджидала его пренеприятнейшая неожиданность — еще одна фотография. И как они ее раздобыли, мерзавцы?! Как умудрились снять его на причале — руки растопырены, лицо перекошено, а на заднем плане — «комби» и Эдимилсон. На всю полосу шапка: «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЗНАМЕНИТОЙ СТАТУИ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ ГРОМОНОСИЦЫ». Под фотографией подпись: «Директор Музея узнает о том, что самая знаменитая статуя в Бразилии похищена». Половину страницы занимал репортаж об этом прискорбном происшествии, подписанный Гидо Герра, хотя дон Максимилиан и без подписи узнал бы автора — кто еще мог знать о вздорных требованиях викария из Санто-Амаро? Репортаж дословно пересказывал беседы, которые велись в полиции, в управлении безопасности и в курии, и повествовал о том, как дон Максимилиан вернулся в Музей с пустыми носилками. Сенсация! Гидо всех обставил, всех обштопал. Лучи славы? Зловонные потеки дерьма на белоснежной сутане.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК — Утренняя молитва была коротка. Благочестивые размышления директора прервал крик:

— Дон Максимилиан, это вас! Из федеральной полиции!

Оскар Мафра, выпускник университета, проходящий стажировку в Музее, был немало удивлен тем, как его директор, обычно величавый и сдержанный, опрометью кинулся к телефону, путаясь в полах сутаны. Наконец-то! Накануне полковник твердо обещал вскорости порадовать его добрыми вестями: вот он и выполняет свое обещание, а похвальная быстрота лишней раз свидетельствует, в каких надежных руках столичная служба правопорядка. Дон Максимилиан ожидал услышать нечто такое, от чего будничным четвергом станет истинным воскресеньем — воскресением

из мертвых. Слава тебе господи! Наконец-то! Директор скатился по лестнице, влетел в кабинет, схватил трубку:

— Да! Слушаю!

— Минуту, с вами будет говорить полковник Раул Антонио.

Потом прозвучал грубый голос неизвестного полицейского: «Возьмите трубку, господин полковник», а еще минуту спустя загредел и сам господин полковник, который даже не счел нужным поздороваться:

— Потрудитесь объяснить, почему вы не сообщили о том, что вместе со статуей на баркасе находился падре Абелардо Галван?! Почему вы скрыли от следствия такое важное обстоятельство? А? Отвечайте!

— Важное обстоятельство? Но я...

— Что «я»?

— Но я полагал, что коль скоро речь идет о священнослужителе...

— Вам полагается не полагать, а оказывать следствию всемерное содействие! Вы утаили от нас факт пребывания падре Галвана на судне! Почему? С какой целью?

— Да никакой цели у меня не было. Как я мог подумать, что священник...

— Этот ваш священник — ключевая фигура преступления, если не главарь банды.

— Позвольте, как же это? Главарь... Ключевая фигура... Господи помилуй...

— Только не вздумайте утверждать, будто вы не знаете, кто такой этот Абелардо Галван!

— Но я правда не знаю, полковник. Впервые слышу это имя. — На самом-то деле дон Максимилиан вчера слышал, как епископ Клюк с подозрением и осуждением отзывался о Галване. — Я знал только, что статую сопровождали священник и монахиня...

— И не сказали нам об этом ни слова! Послушайте, я не привык повторять: не финтите, ничего не выйдет!

— Я...

— Не забудьте, мы знаем о вас все! — Полковник, как и накануне, отчеканил по слогам: — Аб-со-лют-но все!

И шваркнул трубку не попрощавшись. Дон Максимилиан так спешил услышать добрую весть, что даже забыл присесть. Теперь он мешком опустился в вертящееся кресло, поник, закрыл лицо руками. Пятикурсник Мафра, увидев своего наставника в столь бедственном положении, забеспокоился и отважился на робкий вопрос:

— Вам нехорошо, дон Максимилиан?

Монаха тронуло это участие, он чуть-чуть подобрался в кресле, попытался выдавить улыбку — из этого, впрочем, ничего не вышло.

— Нет, Оскар, все в порядке. Благодарю тебя. Ступай, займись своими делами, мне надо побыть одному. Только сначала дай мне, пожалуйста, воды.

Он достал из кармана овальную коробочку — на эмалевой крышке изображена «Троица» Андрея Рублева, из коробочки — пилюлю, помогающую держать в порядке блуждающий нерв, а потом, подержав ее на ладони и приняв в расчет ситуацию, — вторую. Что говорил ему епископ про этого Галвана? Да ничего хорошего. Потому и посоветовано было даже не упоминать, что он был на баркасе. Значит, и про монашку ни слова. Бесплезный совет дал ему монсеньор Клюк: федеральная полиция знает все!

ЗВОНКИ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ — Снова зазвонил телефон, но дон Максимилиан велел сказать, что его нет: вышел, а когда вернется, не сказал. Междугородный разговор с Санто-Амаро пришлось вести Оскару. Судя по его растерянными ответам, викарий был в совершеннейшем бешенстве:

— Да нет же, ваше преподобие, почему брехня? Он правда ушел... Нет, это не он приказал мне так отвечать... Его нет. Что сказать? — Глаза его полезли из орбит. — Нет, этого я передать ему не смогу...

Положив трубку, он с запинкой произнес:

— Викарий...

— Да не стоит, Оскар. Я отлично представляю себе, что он сказал.

Третий звонок был из управления безопасности. Доктор Калишто Пассос, не в пример полковнику, был сама любезность, и голос у него был совершенно вазелиновый:

— Добрый день. Добрый день, дон Максимилиан... — И после чуть затянувшегося обмена приветствиями Пассос приступил наконец к делу: — Звоню вам, как обещал, чтобы сообщить новости. Нашу маленькую задачку мы пока не решили, но действуем, действуем! Мы напали на след. Это нечто сенсационное... Хотелось бы потолковать об этом с вами.

Дон Максимилиан благодарил и расшаркивался, предоставил себя в полное распоряжение собеседнику — ей-богу, лучше иметь дело с идиотом, чем с палачом. Вопрос Пассоса его уже не удивил.

— Вам, несомненно, известно, что на паруснике, доставившем в Баию... э-э... интересующий нас предмет, находился и некто Абелардо Галван?

— Сегодня утром мне об этом сообщили.

— Вы с ним знакомы?

— Лично — нет. Я впервые услышал это имя час назад, — и, желая споспешествовать следствию, добавил: — На том же баркасе приплыла к нам какая-то монахиня.

— Да-да, это нам известно... — Голос в трубке отдалился. «Очевидно, Пассос ищет, где у него записано имя монашки», — сообразил директор. Слышалось бормотание: «Куда я ее девал? А! Вот она!» — Ее зовут Мария Эуниция, из обители Кающихся. Ее допросят сегодня же. Дел за ней никаких нет, мы проверили. А вот за падре Галваном кое-какие грешки водятся — он опасный агитатор... — Начальник управления, видимо, сообразил, что говорит лишнее, и осекся.

Дон Максимилиан при всем своем в поговорку вошедшем любопытстве не стал выпрашивать, за что именно агитирует падре Галван и в каких предосудительных деяниях он замечен. Епископ толковал что-то о захвате земель... Да-да, захват помещичьих земель, агитация среди арендаторов, подрывная деятельность. Господи Боже, в какую клоаку попал дон Максимилиан, с каким сбродом приходится иметь дело!.. Звучный голос доктора Пассоса вернул его к действительности:

— Ну, об этом мы поговорим при личном свидании. Через некоторое время, когда будут обобщены первые результаты, я попрошу вас оказать нам честь и побывать у нас. Может быть, даже и сегодня.

— Располагайте мной, доктор Пассос, располагайте мною всецело. Хочу только напомнить: дело весьма спешное — вернисаж назначен на завтра, перенести открытие нельзя. Надо во что бы то ни стало вернуть...

— Предмет, — подхватил начальник управления. — Думаю, успеем. Подтверждение моей версии сильно облегчит нашу задачу. Вчера я вам ее изложил...

— Да...

— Особый вид кражи, помните? Так вот: подтверждается. Злоумышленники... всегда рядом с... предметом.

Он ждал, очевидно, одобрения и восторгов, но на другом конце провода молчали, и тогда он с беспокойством спросил:

— Алло, вы слушаете?

— Слушаю, слушаю. С большим интересом. Не уверен только, что правильно ухватил вашу мысль. Вы говорили о...

— Злоумышленниках. Обратите внимание: этот падре Галван — настоятель церкви в сертанах. Маленький, глухой приход. Он едет в столицу штата через Санто-Амаро, то есть делает огромный крюк, и

оказывается на одном паруснике с... предметом. Вам не кажется это странным? Санто-Амаро, Санто-Амаро-де-Пурификасан...

— Ну и что? Я не совсем понимаю...

— Разве не из Санто-Амаро пропала старинная дарохранильница чистого золота? Пропала, а потом появилась среди подарков, предназначенных папе. Помните? Тогда имя викария было у всех на устах.

НОВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЗОЛОТОЙ ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦЕ — В моем анархическом рассказе, исполосованном уходами и приходами, появлениями и исчезновениями героев, внезапными «flash-backs^[33]», переполненным самыми разнообразными повествовательными планами и вообще «pleine des iongeurs^[34]», как сказал бы профессор Луис Батиста, если бы удосужился прочесть его и вынести о нем свое суждение, в очередной раз и, боюсь, не в последний приходит черед отступлению. Я желаю удовлетворить болезненное любопытство тех, кто помирает от нетерпения, мечтая узнать, какую же это историю с дарохранильницей упомянул доктор Пассос. Дарохранильница чистого золота, изрядного веса и тонкой работы исчезла из церкви Санто-Амаро, а появилась в числе прочих даров, предназначенных Верховному Понтифику: кто-то из князей церкви отправлялся в Ватикан.

Надо отдать должное дону Максимилиану: он попытался было внести ясность в этот вопрос, но доктор Пассос не дал ему договорить, распрощался и повесил трубку. Может быть, доля истины и содержалась в этой басне, но все детали были перевернаны. Начать с того, что принадлежала дарохранильница не церкви Санто-Амаро, а совсем другой, а падре Теофило Лопес де Сантана, неистовый викарий Тео, хотя и заслуживает порицания за дурные манеры, свирепый нрав и невоздержанность на язык, не имеет никакого касательства к таинственному перемещению священного сосуда с берегов Парагуасу на берега Тибра. Совсем наоборот: он зубами держится за имущество своего прихода и жизнь положит за его неприкосновенную сохранность. Однако попробуйте-ка втолковать это начальнику службы безопасности, обладателю истины в последней инстанции. Для объяснения серии краж он разработал блистательно-простую теорию, зиждущуюся на ежедневной практике, и сам считал ее просто гениальной, в чем соглашался с ним и комиссар Паррейринья.

— «Cherchez le pretre^[35]»! — кричал Пассос, услышав о том, что

пропал новый предмет церковной утвари. Он прибежал к французским речениям не реже профессора Батисты, но с произношением дело обстояло значительно хуже.

Дон Максимилиан злословия не чурался, и противникам от него доставалось изрядно. Так что, если кто-то все-таки желает услышать всю историю до конца и во всех подробностях — где именно расположена была церковь, в честь какого святого выстроена, сколько весила дарохранильница в унциях, и сколько долларов потянула бы, и сколько веков ей было от роду, и как звали викария того храма, которому она принадлежала, и каково было имя того преосвященства, который преподнес папе столь прекрасный, ценный и благочестивый дар, — так вот, кто хочет узнать все это и еще многое-многое другое, пусть обращается к директору Музея Священного Искусства при Баиянском университете, ибо я эти чистые страницы ни хулой, ни глумлением, ни клеветой не оскверню.

А вероятней всего, что вся история эта от начала до конца есть гнусное измышление заклятых врагов западной цивилизации, людей без чести и совести, не гнушающихся никакими средствами для достижения своих чудовищных и гибельных целей. «Собака лает, ветер носит», — скажем мы и заверим читателя, что поднятая газетами волна разоблачений, вся эта шумиха и свистопляска, инсинуации и намеки, весь этот ор и вой, стихший разом как по команде — а может, так оно и было? — и толки праздношатающихся, и эпиграмма Кловиса Аморима, и стихотворный фельетон виршеплета Эдилена Матоса — суть ложь и провокация. И слава богу, что вовремя подоспела наша цензура и положила конец этой интриге, ибо это была самая настоящая интрига, в чем готов, если надо будет, и присягнуть. Пожалуй, даже не интрига, а заговор, ставящий целью ниспровержение существующего строя.

Присяга, конечно, присягой, но голову на отсечение не дам: есть заметное отличие между этими понятиями. Даже во имя святого дела пересаливать не следует, не надо: можно и без головы остаться.

ПРОЧИЕ ЗВОНКИ — Их было без счета, и перечислять все — значит попусту тратить время и переводить бумагу. Больше и чаще всего звонили из редакций газет, с телевидения и радио — шла охота за информацией. Секретари, редакторы и репортеры желали поговорить с самим доном Максимилианом или с каким-либо еще сотрудником Музея, лучше всего, конечно, с Эдимилсоном — живым очевидцем происшествия. Телефон не умолкал все утро. «Словно трубы Страшного суда», — подумал белокурый стажер, но произносить это при директоре поостерегся: тот был

явно не расположен к шуточкам такого рода. Ну, а Эдимилсон просто испарился — взял отпуск и как в воду канул. «Я его, педераста паршивого, на дне моря разыщу», — рычал в трубку Наполеон Сабойа, корреспондент «Эстадо де Сан-Пауло», терзая слух и вкус бедного Мафры. Бумага не вытерпит всего того, что он наслушался в этот день.

Репортаж Гидо Герры смело уподоблю землетрясению с эпицентром в Баии — толчки были ощутимы и на Юге нашей страны, и на Северо-Востоке. Журналисты, которые до той поры и не слыхивали про Святую Варвару Громоносицу, бросились по следу с каталогами под мышкой, горя желанием порадовать подписчиков полноценной информацией, во-первых, а во-вторых, раскрыть дерзкое преступление, совершенное на причале Рампы-де-Меркадо чуть ли не у всех на глазах. В Сан-Пауло, в Рио-де-Жанейро, в Ресифе второпях интервьюировали самых крупных специалистов — Пьетро Барди и его жену, архитектора Лину Бо, бывшую директрису Музея Современного Искусства, Жоакина Кардозо, Ренато Созейро, Жоакина Фалкана, Алоизио Магальяэнса, Маркое Винисиуса Виласу — я называю только самых-самых.

Но никому — ни одному баиянскому журналисту, включая и Жозе Аугусто Берберта, считавшегося его другом, — не удалось поймать дону Максимилиана фон Грудена, хотя именно он был вождеденнейшей добычей для всех бразильских газет «au grand complet^[36]». Он был необходим и как директор Музея, куда прибыла — должна была прибыть! — знаменитая скульптура, и как автор на шумевшей книги о ней. Где бы раздобыть экземплярчик? Было известно, что газета «Тарде» изъяла книгу у Антонио Селестино и засадила за нее Круза Риоса, аса журналистики, чтобы тот сочинил передовицу, — дело это требует компетентности и ума. Дон Максимилиан, как и Эдимилсон, пропал бесследно. Мафра заплетающимся языком твердил по телефону одно и то же: «Директор ушел рано, сразу после мессы, куда — неизвестно, когда вернется — не знаю» — и поспешно бросал трубку, чтобы не слушать брани.

Тут же раздавалась новая трель — в Музей звонили со всей страны. Позвонил из Рио даже бразильский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Эдвин Мак-Доуэлл. Любопытно отметить, что американец, в отличие от своих бразильских коллег, знал и о существовании статуи, и о ее ценности. Но и с ним не пожелал иметь дела непреклонный дон Максимилиан — когда Святая Варвара будет водворена на свой постамент, добро пожаловать, а сейчас — извините. Отравленный желчью подозрений, из-за угла зарезанный директор только вздыхал: «Господи боже! за что мне такие муки и „Нью-Йорк таймс“ вдобавок?»

Говорить он стал лишь с ректором университета, который вместе с кардиналом находился в столице, но уже собирался вылететь в Баию, как только состоится встреча с министром... нет-нет, не просвещения и культуры, а с военным министром: только он мог решить судьбу студентов. Добиться этой встречи было ох как нелегко, ректор отменить ее не мог и потому, встревоженный сообщениями из газет и по радио, позвонил по телефону.

Разговор был долгий и тягостный. На людях ректор и дон Максимилиан демонстрировали сердечнейшие отношения, обменивались лестными отзывами и комплиментами и выказывали взаимное уважение, однако терпеть друг друга не могли. Ректора, человека практического склада и простых понятий, раздражали, беспокоили и угнетали бесконечные выдумки и фантазии монаха. А тот в свою очередь жаловался на скардность ректора, постоянно урезавшего и без того скудный бюджет Музея.

Итак, дон Максимилиан рассказал то небольшое, что было ему известно, не утаил всей серьезности случившегося. Ответ не заставил себя ждать:

— «Серьезности»? Да это трагедия! Трагедия с самыми непредвиденными последствиями для Музея и для университета!

Он напомнил собеседнику о его прямой ответственности: «Ведь это вы всеми правдами и неправдами добивались статуи, вот теперь извольте действовать столь же энергично, чтобы разыскать ее. Иначе и Музей и университет станут объектами самой пристрастной критики, мишенями самых бессовестных инсинуаций, а Музей ваш, как вам, должно быть, известно, и без того пользуется сомнительной славой... поговаривают, что многие его экспонаты добыты в обход закона, что вместо оригиналов в храмы возвращаются копии...» Тут была помянута история Святого Петра Кающегося...

— Недаром викарий из Кашоэйры был против... — припомнил ректор.

— Какой еще Кашоэйры? — окрысился дон Максимилиан. — Из Санто-Амаро!

— Да не все ли равно: Кашоэйра, Санто-Амаро?! Однако вы все же настояли на своем...

В таком вот тоне и духе протекал их разговор. Монах отвел трубку от уха: ясно, чего добивается ректор, — хочет вынудить его подать в отставку, если к вернисажу статуи не окажется на месте. Сказать ему, что отставка — вопрос решенный? Нет, пока незачем радовать его прежде времени... Вновь обретя дар речи, он спросил только: не следует ли перенести открытие

выставки?

— Не вижу оснований. Выставляется ведь не одна Святая Варвара, есть еще кое-какие экспонаты, найдется что посмотреть. И потом: нет статуи, но есть ваше сочинение о ней. Одно заменяет другое, не так ли? — И этот болезненный укол дон Максимилиан снес молча. — Завтра, в назначенный час, торжественное открытие. Министр подтвердил, что будет. — На этот раз имелся в виду министр просвещения: у военного найдутся дела поважнее.

За краткий срок, протекший от разговора по телефону с доктором Пассосом до выхода дона Максимилиана во дворец архиепископа, трижды звонил словно с цепи сорвавшийся настоятель церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан, жаждавший крови, насылавший, по испанскому выражению, чуму на директора. Вот видите, после стольких галлицизмов пошли у нас в ход и испанизмы, оборони господь! Не от чего оборонять: викарий изрыгал хулу на простонародном баиянском наречии, сыпал отборной баиянской бранью, доведенной до совершенства плеядой матерщинников от Грегорио де Матоса до Жамеса Амадо: если надо кому сказать правду в глаза, нет ее лучше.

ОСАДА — Телефон — это еще полбеды. Сильно сомневаясь в правдивости ответов Мафры, журналисты нагрянули в Музей и стали лагерем во дворике монастыря Святой Терезы, как раз напротив входа в церковь. Двери были заперты: «В связи с подготовкой экспозиции доступ посетителей прекращен». Самый отчаянный из репортеров попытался было проникнуть в Музей через окно, но, перелезая через забор, не удержал равновесия и грянулся оземь. Дон Максимилиан возликовал, узнав об этом происшествии: какая-никакая, а радость.

А в коридорах управлений полиции и общественной безопасности тоже толпились ветераны и новобранцы журналистики. Доктор Пассос, желая потрафить им и поддержать свою славу человека сердечного и понимающего, пообещал принять их позже, когда будут новости. «Важная информация может появиться и под утро, запаситесь терпением на благо общества», — сказал он в краткой речи и улыбнулся как фокусник, который вот-вот достанет из цилиндра зайца. При словах «важная информация» комиссар Паррейринья воздел указательный палец.

Полковник же Раул Антонио велел агенту выгнать пишущую братию вон: сообщать нечего и нечего отвлекать людей от дела, пусть убираются. Журналисты и убралась из бывшего портового пакгауза, но далеко не ушли, крутились поблизости — разбили бивак на рынке, где пересказывали

друг другу устаревшие новости: «Морского бродягу» ночью отбуксировали к стоянке военных судов; Марию Клару и шкипера Мануэла под утро арестовали — сплетничали, выслушивали от Камафеу де Ошосси невероятные истории насчет блондинки из Сан-Пауло и нигерийского колечка, закусывали и выпивали в палатках и павильончиках.

Подобная обеспокоенность средств массовой информации наводила на мысль, что исчезновение Святой Варвары Громоносицы — важное, важнейшее событие в стране за последние дни. Припомните-ка: все, о чем повествуется в этой хронике, лишенной блеска, но зато донельзя правдивой, происходило в самые тяжкие годы военной диктатуры, беспощадного гнета цензуры. Действительность была скрыта, страна засекречена. Газеты, радио и телевидение не знали, что писать, говорить и показывать; ничего, кроме безоговорочного восхваления правительства и правителей, не допускалось; категорически запрещалась любая информация, которая не то что рассказывала, а хотя бы туманно намекала на тюрьмы, пытки, политические убийства, попрание гражданских свобод, запреты книг и спектаклей, забастовки, митинги протеста, манифестации, демонстрации и попытки вооруженного сопротивления. Ничего этого не было и быть не могло в счастливой стране под эгидой генералов и полковников — такое впечатление возникало, когда человек разворачивал газеты. Некоторые из них заполняли пустоты, оставшиеся после цензурных ножниц, кулинарными рецептами: «Эстадо де Сан-Пауло», например, поместила прямо на первой полосе рецепт приготовления кисанде — малоизвестного баиянского кушанья — или поэмами, балладами, одами, сонетами классических поэтов, песнями «Лузиада». Читатели понимали намек и в смятении пытались отгадать, что же происходит в стране.

Не позволено было порицать Франко и Салазара, а также победоносных генералов, которые с примерной твердостью и вопиющей безграмотностью правили Аргентиной, Парагваем, Уругваем, Чили, Боливией. Ни в печати, ни с трибуны критика коллег наших вояк не допускалась. В Законодательном Собрании страны депутат Франсиско Пинто назвал Пиночета тираном — он тут же лишился мандата и угодил в тюрьму. Два французских священника, осмелившихся с амвона защищать бесправных на землях Амазонки, моментально были осуждены и посажены.

Стоит напомнить тем, кто позабыл: государство наше стояло на трех китах — на цензуре, насилии и коррупции. Было время позора и страха, время переполненных тюрем, мучителей и мучеников, вранья о «бразильском чуде», время египетской работы и неслыханного

казнокрадства, время показухи. Кое-кто и сейчас еще по этому времени тоскует.

Всем известно, что добрые дела и счастливые неожиданности, нормальная жизнь и веселье низко котируются в редакциях наших газет, а чем крупней катастрофа, тем лучше информация. Бразильская пресса пребывала в удушливом маразме, и исчезновение Святой Варвары Громоносицы было для нее сущей манной небесной. Одни хроникеры уверовали, что это — дело рук бандитов, специализирующихся на храмах и часовнях; другие не отрицали причастности священников и епископов. Причастности или соучастия в преступлении.

Флорисвалдо Матос, заведующий корпунктом газеты «Журнал до Бразил» и увенчанный лаврами поэт — боже всемогущий! сколько же поэтов обитает на благословенной земле Баии! — отчаявшись добиться дона Максимилиана по телефону, смекнул, что ключ к отгадке этой тайны должен находиться в руках высокоученого монаха: через день-два Святая Варвара будет внесена в фонды Музея и займет там достойное место, а в алтаре церкви Санто-Амаро появится искусно сделанная и раскрашенная гипсовая подделка.

БЕГСТВО — Размещением экспонатов занимался, как я уже говорил, архитектор Жилберт Шавес, к которому вскоре присоединился его коллега Лев Смарчевский. Дон Максимилиан, как всегда требовательный, но против обыкновения немногословный, ни разу не засмеявшийся, не рассыпавший блески своего остроумия, что было весьма непривычно для всех его сотрудников и друзей, давал общие указания. Когда Лев вскользь упомянул о статье в «Диарио де Нотисиас», директор ограничился одним словом: «Безответственность». Больше на эту тему не говорили, и только пустые носилки напоминали об исчезновении Святой Варвары.

В ту минуту, когда директор, сняв с витрины великолепную золотую чашу, инкрустированную драгоценными камнями, — скорей всего, славянского происхождения — стал вглядываться в это чудо, из директорского кабинета, где он нес бессменную вахту у телефона, прибежал Оскар Мафра:

— Дон Максимилиан, звонит падре Соарес. — Так звали секретаря епископа Клюка. — Его преосвященство просит вас немедленно прибыть к нему. Немедля! — Мафра точно передал требовательную интонацию Соареса: «Передайте, чтобы поторопился, епископ ждет его».

Отведя шторы, директор окинул взглядом патио, заполненное репортерами и фотографами. Как же выбраться наружу? Дон Максимилиан

и не поворачиваясь понял, что работа в зале приостановилась, и сказал:

— Продолжайте, пожалуйста. Поторопитесь, еще много дела. Завтра к полудню все должно быть готово.

Он снова осторожно взглянул в окно, потом наконец повернулся и подошел к Смарчевскому:

— Лев, это ваша машина — там, на той стороне, возле конторы Роке?

— Моя, дон Максимилиан. Она в вашем распоряжении.

— Спасибо, Лев, мне и вправду она понадобится. Слушайте меня внимательно: через пять минут двери Музея откроются, журналистов пригласят поглядеть, как идет подготовка к вернисажу. Когда же они освободят выход и начнут подниматься по лестнице, вы, Лев, тихо выйдете отсюда — только не торопитесь! — и в машину. Включите зажигание и ждите. Я пройду через церковь. Как только сяду — газуйте!

Сказано — сделано. Все удалось как нельзя лучше. Нелито отпер двери в Музей. Оскар Мафра пригласил репортеров войти. Те, удивленные и торжествующие, — еще бы! монах сдает позиции! — сгрудились в дверях, потом побежали вверх по лестнице. Навстречу им попался Лев Смарчевский. «Прекрасная выставка», — сказал он, а вопрос о доне Максимилиане пропустил мимо ушей. Зажужжали телекамеры.

Выскользнув в полуотворенную дверь церкви, дон Максимилиан скорым шагом устремился через опустевший двор. Но в эту минуту журналист, подошедший к окну, чтобы выбросить окурок, заметил его и поднял тревогу. Позабыв о приличиях, подобающих его летам и сану, директор подобрал полы сутаны и пустился бежать. Выскочил на улицу, юркнул в машину. Лев, рванув с места, помчался по Ладейре-да-Прегиса.

ПОДОЗРЕНИЕ — Пробыло одиннадцать, и в редакции газет странными путями стали поступать первые слухи о том, что падре Абелардо Галван замешан в похищении статуи. Кто-то звонил главным редакторам или ответственным секретарям и, не называясь, говорил, что служба безопасности и полиция напали на след, который вывел розыск на Галвана. Он — подозреваемый номер один. Будьте наготове, следовал совет, вскоре последуют более полные и свежие данные. Забавная деталь: звонили, как легко было установлено, не из полиции, но слухи эти не были опровергнуты ни на Ларго-да-Пье-даде, ни в бывшем пакгаузе.

С этого момента исчезновение Святой Варвары Громоносицы стало событием по-настоящему сенсационным, из ряда вон выходящим, чрезвычайным. Соучастие падре Галвана в преступлении позволяло перебросить мостик от кражи к распрям безземельных крестьян с

латифундистами. Пошла речь о захватах имений, об ответных мерах — стрельбе, трупах крестьян и о деятельности — священной или преступной, смотря кто о ней говорил — «Церкви бедняков».

Имя священника из Пиасавы давно уже мелькало на страницах газет. Не раз за последние несколько месяцев газеты печатали огромные «шапки»: УЧЕНИК ДОНА ЭЛДЕРА, ПАДРЕ АБЕЛАРДО ОСНОВЫВАЕТ ОБЩИНУ. ПАДРЕ — ОРГАНИЗАТОР ЗАХВАТА ФАЗЕНДЫ «САНТА ЭЛИОДОРА» — ВЛАДЕЛЕЦ ОБВИНЯЕТ ЕГО В ПОДЖОГЕ.

Маленькая, скандальная газетенка, выходящая от случая к случаю, привлекла читателей таким заголовком: ПАДРЕ ГАЛВАН — НАШ ДОМОРОЩЕННЫЙ РАСПУТИН. В подзаголовке стояло имя Патрисии.

В четверг утром

БУДЬ ЧТО БУДЕТ — В четверг утром события пошли одно за другим, смешиваясь и переплетаясь, наступая друг другу на пятки, хотя на первый взгляд не имели между собой ничего общего. Сюжет моей истории, и без того запутанный, превратился в настоящий лабиринт.

К уже известным героям присоединилось множество новых: среди них и наши соотечественники, и иностранцы, а кое-кто избрал своей специальностью темные, а то и мокрые дела. И все они толкуются среди достойных людей и отпихивают локтями знаменитостей. Это еще не считая истинного отребья — о нем я и говорить-то не желаю.

Очень стало трудно распутать этот клубок, свести концы с концами, так что буду рассказывать, как бог на душу положит: что выльется из-под пера, то и ладно. Как знать, может, и к лучшему, что я перескакиваю из настоящего в прошлое и обратно, что один эпизод происходит, скажем, тут, а другой — черт знает где? Может, из всей этой неразберихи и путаницы проглянет верная дорога, которая и выведет нас к финалу?

Ну, а не выведет, я от всего вышесказанного отопрусь: я — не я, и лошадь не моя. Что с меня взять?

ДВОЙНИКИ — В четверг утром, когда падре Абелардо Галван в мирской одежде, но в целлулоидном воротничке и нагруднике, указывавших на его принадлежность к клиру, подходил к воротам архиепископского дворца, навстречу ему попала высокая, статная, горделиво несшая себя негритянка в ярком национальном наряде. Поравнявшись с ним, она улыбнулась ему.

Падре же, хоть он и взглянул на нее мельком, показалось лицо ее знакомым, только не вспомнить было откуда. Он даже обернулся эй вслед, но негритянка уже исчезла в густой толпе, вечно бурлящей на Праса-да-Се. Абелардо так глубоко задумался, пытаясь припомнить, где он мог ее видеть или кого она ему напоминает, что даже не обратил внимания на выкрики мальчишки-газетчика:

— Исчезновение святой из храма! Покупайте! Покупайте!

Несмотря на то, что день, час и минуты были указаны заранее и падре предупредили, чтоб не опаздывал — «ровно в половине одиннадцатого», — епископ Клюк заставил его добрых полчаса томиться в приемной.

Семинарист, встретивший его, пошел доложить и до сих пор не вернулся. Жалея, что не купил газету, — можно было бы хоть время убить — падре Абелардо перенесся мыслями в сертаны^[37] Пиасавы. Если бы не долетавшие с площади звуки — музыка, выкрики торговцев, предлагающих свой товар, — он оказался бы в том пустынном и диком краю, въяве увидел бы перед собой пальмовые рощи, крошечный городок, неприкаянных людей.

Стенные часы сипло пробили одиннадцать. Должно быть, в это самое время Патрисия, пролетев галопом вдоль берега обмелевшей от засухи реки, у церковной ограды перевела коня на мелкую рысь, а у лачуги индеанки Милы спешила. Перекинула поводья через луку седла, разнуздала коня, пустила его погостить в тени.

Падре Абелардо, стоя в дверях церкви, провожает глазами каждое движение амазонки, каждый ее шаг: вместо рейтуз на ней вылинявшие джинсы, на ногах не сапоги со шпорами, а теннисные туфли на каучуке. В памяти его всплывает воспоминание детства: в дверях корраля — бабушка, китаянка, коровы. Ничего общего, а ощущение то же — ощущение полноты жизни. Он испытывает его всякий раз — ах, редко, редко это случается! — когда Патрисия приезжает к родителям. Но теперь — или ему это кажется? — она гостит на фазенде чаще и дольше. Падре Абелардо ходит по острию бритвы и держит на закорках вселенную.

Не стал бы он сейчас вспоминать Патрисию и размышлять, часто она появляется в Пиасаве или нет, если бы не внезапное озарение: негритянка, встретившаяся ему у дворца — да где же он ее видел?! — угольно-черная негритянка похожа на Патрисию. Вылитая Патрисия! В тишине епископской приемной сходство их стало увеличиваться с каждой секундой. Да чем же они похожи? Да всем! Манерой держаться, походкой, чертами лица. Ростом, статью, потаенным огнем и даже улыбкой — одновременно доверчивой и уклончивой. И еще чем-то неуловимым. Он видел негритянку всего одно мгновение, но разглядел ее всю, запомнил навсегда.

Они с Патрисией были похожи как близнецы — близнецы, у которых разное происхождение, разные корни, разный язык. И сходство это вдруг напомнило ему, где и когда видел он негритянку. Вчера вечером, на причале Рампы-до-Меркадо, едва он сошел на берег. Только вчера она была мулаткой и одета по-баиянски... Прошла мимо и подмигнула ему. Все то же: рост, изящество, поступь, улыбка! И что-то еще... Что же? Тогда он не сообразил — очень уж был озабочен срочным вызовом к епископу Ключу, — но сейчас понимает, что и мулатка неотличима от Патриси.

Близнецы? Двойники? Так сколько же их? две? три? Что это с ним творится? Наваждение? Помрачение рассудка? Может, он спятил? Так или иначе, но мучимый тревожными предчувствиями попик из Пиасавы покинул тело и душу Абелардо Галвана. И вовремя: перед посетителем, меряя его взглядом с ног до головы, сложив руки на объемистом животе, стоял секретарь епископа падре Соарес и гнусаво сообщал, что его преосвященство просит гостя к себе.

ЕПИСКОП У ОКНА — Пройдя в кабинет, где епископ принимал посетителей и чинил суд и расправу, падре Абелардо увидел, что тот стоит у открытого окна, выходящего на площадь, как на котурнах — дон Рудольф, будучи невелик ростом, любил обувь на высоких каблуках, — в епископской скуфейке на макушке и в весьма воинственной позе. Галвану всегда казалось, что епископу очень пошла бы военная форма: впрочем, на плечах у него он видел не многозвездные погоны победоносного генерала, а лычки какого-нибудь унтера — хрипуна и бурбона. Он приблизился и, чтобы обратить на себя внимание, кашлянул.

Дон Рудольф не внял. Не обратил внимания ни на кашель, ни на звук шагов — продолжал вглядываться куда-то; бархатная портьера оберегала его от любопытства прохожих. Внимание его привлекла статуя негритянки, стоявшая прямо посреди Праса-да-Се в блеске предполуденных лучей. Она была довольно далеко, но епископ совершенно отчетливо видел, что глаза ее горят, пылают, словно раскаленные угли, сверкают, как зарницы или вспышки выстрелов. Не было сомнений: негритянка смеялась — нагло смеялась над ним. Подобные нелепости огорчить епископа не могли, но зато вселяли беспокойство и сбивали с толку.

И вдруг негритянка исчезла. Дон Рудольф глядел на нее не моргая, ни на мгновение не сводил с нее пристального взгляда, а она тем не менее исчезла. Не сдвинулась с места, не растаяла в воздухе, не испарилась, а просто перестала быть. Постамент опустел.

Дон Рудольф перевел взгляд на какого-то оборванца, пялившегося на окна дворца: пастушьи сандалии-альпаргаты, широкополая шляпа, закрывающая лицо, и, несмотря на зной, плащ-дождевик, застегнутый доверху. Потеряв к нему интерес, епископ отошел от окна — сначала медленно, а потом, все тверже ступая, двинулся к письменному столу. Прежде чем усесться, налил воды, отпил два глотка, вытер платком мокрое от пота лицо и шею, спрятал платок, не скрывая досады, — будь прокляты эти тропики, эта липкая влажная жара и этот недостойный пастырь, торчащий перед ним. Затылок у него ломило. Чело было отуманено.

РАТЬ ХРИСТОВА — КАКАЯ ИМЕННО? — Падре Абелардо на сердечный или хотя бы любезный прием не особенно-то и рассчитывал, ибо знал отношение епископа к проблемам, всколыхнувшем прихожан Пиасавы, — к отзвуку тех распрей, которые разделили бразильское духовенство на два враждующих лагеря. Однако и того, что последовало, он тоже предвидеть не мог. Думал: начнется язвительный, но интеллектуальный спор со ссылками на Священное писание, на Второй Ватиканский собор, на последние труды по теологии, а его вместо этого посадили на скамью подсудимых и заставили слушать обвинительное заключение. Права на защиту он был почти лишен. Монсеньор Ключ обрывал его всякий раз, когда Абелардо пытался восстановить истину.

Лицемерие не входило в число пороков епископа: он не любил скрывать свои мысли и маскировать неприязнь. Так, усевшись наконец в кресло, он вместо приветствия лишь сухо кивнул священнику. Не прижал его к груди в братском объятии, не протянул руку, не дал поцеловать перстень — он был вояка, а не дипломат. Показал на стул и тотчас наставил на него, точно боевое копьё, указательный палец:

— Вижу, вы не извлекли никаких уроков из нашей последней встречи, не сделали для себя никаких выводов. По-прежнему пренебрегаете священническим облачением.

— И вывод сделал, и урок извлек, и, повинувшись приказу вашего преосвященства, одет как «clergyman^[38]».

В этой вежливой фразе, сопровождаемой почтительным поклоном, епископу почудилась издевка.

— В сутане! В сутане надо ходить — сказал я вам ясно и понятно. В следующий раз потрудитесь являться ко мне в подобающем виде. Вам что — неловко в ней? тяжело? она вам сковывает движения?

Ну, положим, не очень-то ясно и понятно звучал в устах епископа португальский язык: гортанный тевтонский выговор делал упреки еще более обидными, еще непререкаемей — приказы. Между епископом Ключом — первым помощником архиепископа Баиянского, кардинала-примаса Бразилии — и никому неведомым пастырем крошечного прихода, затерянным в сертанском захолустье, стояла в боевом порядке Христова рать. Вот только одно ли это было воинство? Может быть, две противоборствующие, враждебные армии готовились к сражению?

Для дона Рудольфа этого вопроса не было вовсе: воинство Христова, возведя свои редуты на всех пяти континентах, выполняло вот уж которое столетие свою миссию — поддерживало господствующие классы в их

праве на собственность. Пороки, падре Галван, следует исправлять только милосердием. Для того и существует оно — милосердие, одна из трех канонических добродетелей. Церковь, падре Галван, — это опора порядка, а не зачинщица смуты. Действуйте милосердием!

А падре Абелардо, напротив, считал, что эта Церковь, построенная на слепом повиновении, служащая на благо богатых и сильных, им — все блага мирские, беднякам — надежда на загробное воздаяние, самим существованием своим отрицает Христову заповедь и не служит ни справедливости, ни страждущим. Подлинное господне воинство набирает своих солдат в городских трущобах и в нищих деревнях третьего мира, исповедует другую веру. Оно должно поддерживать непокорство, сопротивление, борьбу.

Лицом к лицу стояли две эти армии, и хотя смертельные враги носили одинаковый мундир — неизменную сутану, — невозможно не заметить между ними различий, нельзя не свершить выбор между старым и новым. Их рознь движет общество вперед, и движение это неостановимо. И довольно об этом — я ведь всего-навсего хотел в немногих словах дать вам представление о том, что за спор вели епископ Клюк и падре из богом забытой Пиасавы, а вовсе не ввязываться в богословский диспут. Его преосвященство нашел определение ереси:

— Вы — охлократ^[39], падре. В наши дни нет более вредного заблуждения, чем попытка внедрить охлократию в Церковь. А вы именно этим и занимаетесь.

Епископ был истинный кладезь премудрости, падре Абелардо — охлократ и, впервые слыша это слово, не знал, что оно значит. Он желал, чтобы уважались права арендаторов и посейро^[40], а для себя — права голоса: в семинарии он был из самых усердных и старательных, ему прочили блестящую будущность и кардинальскую шапку. Но когда он с уже привычным пылом гаушо^[41] стал декламировать Святого Амвросия: «Земля дана всем, а не только богатым, а добро, которое ты присвоил, дано всем для общего блага...» — дон Рудольф прервал его на полуслове, захлопнул Библию, подумав по-латыни: «Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo^[42]».

УЛЬТИМАТУМ — Владелец имения «Санта Элиодора» Жоаозиньо Коста настоятельно просил курию, чтобы падре Абелардо Галван был немедленно лишен прихода и отозван. Епископ Клюк эту просьбу отклонил, ибо знал, что кардинал никогда на это не пойдет.

По его, кардинала, мнению, такие конфликты, как в Пиасаве, — да в ней ли одной? — проистекали от крайней, вопиющей и оскорбительной нищеты, и пастырь не может закрывать на них глаза. Он обязан действовать осторожно, наверняка, но оставаться безучастным права не имеет. Так говорил он дону Рудольфу, прося вызвать в курию падре Абелардо и «подрезать ему крылышки, но шею не сворачивать».

Епископ пообещал положить предел подрывной деятельности Галвана — именно так аттестовал ее фазендейро. Дело было за столом — на торжественном обеде по случаю конфирмации младшей дочери помещика, Марлен. Епископ назвал действия падре Галвана «неосторожными, неуместными, несвоевременными», а Жоаозиньо Коста мимоходом упомянул о предосудительной связи падре с некой особой, дочерью налогового инспектора. Девушка эта — без сомнения, легкого поведения — приезжает в Пиасаву чуть ли не ежедневно якобы повидаться с родителями, ошивается на фазенде, заходит к арендаторам, если, конечно, не пребывает с нашим святым отцом в церкви, за закрытыми дверями. Всякому понятно, чем они там занимаются.

Итак, после охлократии и латинского изречения настал черед ультиматума:

— Слушайте меня внимательно, падре Галван, и потом не говорите, что я вас не предупредил.

Смысл ультиматума сводился к следующему: если Абелардо желает по-прежнему служить господу в Пиасаве, он должен перестать упоминать его имя всуе; должен раз и навсегда прекратить подрывную деятельность — «да-да, подрывную!» — здесь, наедине с падре, епископ мог не церемониться и не смягчать определения, явственно папахивающую марксизмом, что совершенно не вяжется с саном священнослужителя; должен посвятить себя спасению душ, а не предводительствовать головорезами. Господь и архиепископия Баиянская верили его пастырскому попечению приход Пиасавы — от него одного зависит, останется он там или нет. Отныне за ним будут присматривать — и внимательно. Пусть спасает души, исправляет нравы, творит милосердные дела.

Епископ говорил веско, горячо и убежденно: он не советовал, а приказывал. Потом помолчал немного и добавил:

— А кроме того, настоятельно рекомендую вам проявлять побольше осмотрительности в отношениях с женщинами. Вы ведете себя вызывающе.

— Что? В отношениях с женщинами? Кого вы имеете в виду? Я хочу

знать!

— Не важно, кого я имею в виду. Вас об этом не спрашиваю и вам отвечать не собираюсь. Подождите, — сказал он, увидев, что падре встает со стула, — есть еще один вопрос. — Выполнив свой долг и исчерпав самую взрывоопасную тему — «крылышки подрезаны, шея еще не свернута», — епископ заговорил более миролюбиво: — Скажите, известно ли вам что-нибудь о статуе Святой Варвары Громоносицы? Ведь вы с ней прибыли сюда на одном судне...

Ответить Абелардо не успел. В дверях, постучавшись, возник падре Соарес. Он размахивал каким-то листком.

ОБВИНЕНИЕ — Секретарь положил этот листок перед епископом и стал у стола, сложив руки на животе. Дон Рудольф вскинул на него глаза:

— Он у аппарата?

— Еще нет.

— Соедините.

Пока падре Соарес, вернувшись в свой закуток, сообщал по телефону: «Его преосвященство сейчас будет говорить», дон Рудольф, сняв трубку, ждал. Недолго.

— Да, полковник, здравствуйте, — в голосе его звучала легкая тревога, а сам он даже чуть приподнялся из почтения к собеседнику. — Чем обязан?.. — Послушал, строго нахмурился. — Важное и срочное? Слушаю, слушаю. — И тут же перебил: — Да, я в курсе дела. Это я посоветовал разыскать его. Вы помните, я просил вас о встрече? — Он улыбнулся в предвкушении доброй вести, но улыбка тут же погасла. — Как вы сказали?.. Разумеется, знаю. — Он взглянул на Абелардо. — Минутку, полковник, плохо слышно, я перейду к другому телефону.

Он встал и направился в комнату секретаря, по дороге бросив посетителю: «Подождите, я скоро вернусь». Однако вернулся не скоро, телефонный разговор явно затянулся. Повинуясь знаку епископа, секретарь плотно закрыл дверь в кабинет. Падре Галван, оставшись в одиночестве, погрузился в размышления. «Да, у тех, кто владеет землей, — длинная рука, тяжелая рука...»

Он невольно вздрогнул, увидев перед собой взбешенного епископа. Тот снова заговорил о Святой Варваре, но теперь это был уже, пожалуй, не вопрос, а ошеломляющее обвинение — голос дон Рудольфа дрожал и срывался.

— Зачем вам понадобилась статуя? — И, не давая падре времени хотя бы изумиться, забросал его вопросами: — Куда вы девали изображение

Святой Варвары Громоносицы, которое вам поручено было оберегать в пути? Где вы ее спрятали? Зачем похитили? Назовите сообщников! Падре Галван, вы зашли слишком далеко.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ ПАТРИСИИ ПРИ ДНЕВНОМ ОСВЕЩЕНИИ — Если благосклонный читатель возьмет на себя труд вернуться к началу нашего повествования, он припомнит: падре Абелардо знал о Патрисии только то, что у нее хрустальный голос, таинственная улыбка, томный взгляд. Да и ему, читателю моему, вряд ли известно больше. Потороплюсь исправить свое нелепое и совершенно непростительное упущение и даже попытаюсь не стану извиняться и оправдываться: подобную небрежность ничем оправдать нельзя, если, конечно, не лгать, и не выкручиваться, и не прибегать ни к каким уловкам.

Патрисия галопом промчалась по приемной архиепископского дворца, спрыгнула с коня у церкви в Пиасаве. Картина эта явилась алчному и хмельному взору Абелардо. Это благодаря ему, падре Галвану, замелькало имя Патрисии на страницах газет — и не в том разделе, где театральные рецензии разделявали под орех последние премьеры.

Ну, кажется, все: больше никак и нигде я Патрисию не упоминал, ничего про нее не рассказывал. Разве что кое-какие определения: «красивая», «изящная», «горделиво», — вполне заслуженные, конечно, но ведь они носят весьма общий характер и не дают представления о ее облике — ни внешнем, ни моральном.

Высокая или маленькая? Худенькая или, что называется, в теле? Грудь какая? А бедра? Смешлива или серьезна? Даже с цветом кожи полная неясность. В этой женщине смешалась кровь белой, черной и красной рас, и кожа у нее скорее темная. Теперь вот, слава богу, представилась нам, хоть и с опозданием, возможность показать Патрисию при свете дня, когда только что развеялась утренняя дымка и еще не вспыхнули ослепительные юпитеры, под которые явится она нарядная, причесанная, подкрашенная.

Все-таки кожу Патрисии правильней было бы назвать смуглой, а не темной. Удовлетворимся этим определением. Волосы длинные, черные, гладкие, блестящие. Лицо удлинненное, восточного склада — наверняка сказала кровь какой-нибудь патагонской прабабушки — высокие скулы, миндалевидные, простите за банальность, глаза. Да, вот так: глаза прорезаны чуть вкось, а цвет у них ярко-голубой, аквамариновый цвет. Падре Абелардо, считая, что глядят эти глаза томно, попал пальцем в небо, поскольку слабо был знаком с предметом, виной чему — обет безбрачия. Во избежание недоразумений, читатель, поскорей обзаведитесь невестой.

Если бы падре разбирался в таких делах чуточку больше, он заметил бы, что это не томность, а нечто совсем иное, и присуще это нечто всей Патрисии, разлито во всем ее теле, а особенно ярко выражено в упруго колеблющихся грудях, соски которых, казалось, готовы прорвать тончайший батист, и в горделиво качающихся бедрах, чуть-чуть прикрытых мини-юбкой. Бедра эти были вполне негритянского вида, хвала господу!

Патрисия обучалась французской словесности и, не бросая университет, поступила в театральную школу, директором которой был очаровательный человек — Нелсон Араужо, драматург и романист. Это он обнаружил в ней дарование, изменил ей имя и предсказал успех: «Ты рождена для огней рампы!»

Она дебютировала два года назад, получив роль в детской пьесе, и с тех пор уже не останавливалась. Чего только она не перепробовала за эти два года: детский театр, мюзиклы, драмы, комедии, ревю, пьесы драматургов наших и иностранных. Хватала все, что предлагали: привередничать не приходилось — сценическое искусство в городе развито было слабо, и выбор был невелик. Снялась она, благодаря протекции Нилды Спенсер, и в кино, где получила крохотную рольку в фильме Нелсона Перейры дос Сантоса, экранизовавшего роман из баианской жизни. «Она вытянула сцену, — писал король рецензентов Валтер де Силвейра, — а будь эта сцена подлинней, спасла бы и всю картину».

Вместе с университетскими приятелями, так же, как она, не принимавшими военную диктатуру, Патрисия организовала театр «Арена де Баия», который прожил недолгую, но бурную жизнь, — в один прекрасный день на сцену вломилась полиция, затолкала всю труппу в фургон и повезла прямо в каталажку. Девушек отпустили несколько часов спустя, юношей — ночью. Объяснялся арест неумным стремлением студентов поставить запрещенную цензурой пьесу: они продолжали репетировать и не снимали с фасада театра дерзкую афишу, возвещавшую о премьере, Агенты сорвали афишу, разодрали ее на мелкие кусочки, а молодые люди, проявившие героизм, удостоились досье в управлении безопасности, где им пригрозили большими неприятностями.

Патрисия часто бывала во «Французском Союзе», читала там Элюара: «Liberte j'ecris ton nom^[43]» и мечтала о стипендии для ученья в Париже — и о падре Абелардо. Ей попеременно снилось и то и другое, а иногда удавалось объединить Париж и падре: она представляла, как они, взявшись за руки, спускаются под легким снежком по Бульмишу, а вокруг — шальные обитатели Латинского квартала — «des tourtereaux^[44]», как сказал

бы профессор Батиста. Да, кстати, куда он исчез? Где он? Почему ушел со сцены такой симпатичный персонаж? Он, между прочим, был знаком с Патрисией, числил себя среди ее поклонников, хвалил ее безупречное произношение, ее шарм и талант актрисы. «Когда-нибудь она сыграет Федру!» — предрекал он.

ПАТРИСИЯ ЗА ГРИМИРОВАЛЬНЫМ СТОЛОМ — Да, падре Абелардо знал о Патрисии только то, что у нее хрустальный смех, томный взгляд и загадочная улыбка, но, клянусь вам, не она в этом виновата: причина вовсе не в ее неприступности, излишней застенчивости или безразличии. Ах, если бы дело было в ней, зависело от нее одной! Видит бог, она прилагала все усилия: голос ее прерывался на полуслове, взгляд становился потерянным, улыбка звала и манила.

Патрисия никогда и ни для кого не была легкой добычей, за ней надо было долго ухаживать, ее надо было обольщать и покорять, с кем попало она в постель не ложилась, доступность была не в ее правилах. Такую истинную, пожирающую страсть, не дающую ни рассуждать, ни размышлять, испытала она до этого только однажды, когда влюбилась в премьера труппы, и длилось это безумие целый сезон. Но премьер, хоть и писанный красавец, оказался полным ничтожеством. Падре Абелардо же, хоть и писанный красавец, был замечательным человеком и не шел ни с кем ни в какое сравнение. Благородный, чистый сердцем, умный, упорно и бесстрашно боровшийся за права своих неимущих прихожан. А какой голос — звучный, мужественный, прямо в душу идущий! А эти кудри? Как ей хотелось запустить пальцы в эту русую волнистую шевелюру! Но Абелардо, самой природой созданный для любви, держался отчужденно и не замечал пламени, снедавшего Патрисию.

Отношения между падре и Патрисией, зародившись из сочувствия к чудовищной жизни арендаторов и безземельных крестьян, подкрепленные нескончаемыми разговорами о политике и литературе, о музыке, театре и кино, о том, что происходит в мире, и о тяготах бразильского народа, о пытках, тюрьмах, о сопротивлении, о проповеди архиепископа Ресифе и Олинды, о «герилье», отношения эти стали хорошими. Можно даже сказать — близкие отношения. Родственные души, как говорил падре Абелардо. Только не то родство это было.

Бывали мгновения, когда во взгляде падре, в его внезапно дрожавшем голосе, в неожиданном молчании Патрисии мерещились искорки желания, вспышки страсти. Продолжения это не имело — вспыхнет, и тотчас погаснет, и снова становится любящим братом. Словно и не замечал падре,

как порывисто вздымается грудь Патрисии, и самой этой груди в низко вырезанной блузе тоже не видел, и не замечал случайного прикосновения колена, и внимания не обращал на учащенное дыхание. Не замечал или не хотел замечать? Был ли он равнодушен и нечувствителен к ее чарам или робок, застенчив, скован запретами?

Патрисии и в голову не могло прийти, что есть на свете священник, верный обету целомудрия, да еще священник вполне современного толка и вида, в джинсах и цветастой рубашке, священник левых взглядов, с головой ушедший в социальные проблемы, возглавивший яростную волну сопротивления латифундистам и буржуа. Целибат? Это что-то из далекого прошлого, траченный молью предрассудок вроде того, что девушкам до свадьбы надлежит хранить невинность.

Она сидела у себя в артистической уборной, перебирая юбки, блузки, брюки, белый баиянский наряд — костюмы, которые предстояло носить во время пятидневных съемок французского телефильма, — у Патрисии от одной мысли об этом начинало сосать под ложечкой. В четверг утром, в тот самый час, когда падре Абелардо вел богословский диспут с епископом Клюком, она поделилась своей бедой с Силвией Эсмералдой, однокурсницей, подругой и наперсницей.

Силвия Эсмералда — такой псевдоним или, если угодно, кличку выбрала себе эта душа и украшение общества, зараженного вирусом театра, — с сочувственным любопытством следила за тем, как набирает силу безответная страсть Патрисии, а та ни о чем другом не могла ни думать, ни говорить, словно падре Абелардо был единственным мужчиной во вселенной. Между тем в ее распоряжении была французская съемочная группа в полном составе, а возглавлял эту группу всемирная знаменитость, звезда первой величины, неотразимый супермен. За одно только имя можно было ему отдаться, связь с такой личностью обессмертила бы любую актрису.

— По моим расчетам, — сообщила подруге Патрисия, — он уже в Баии. Обещал меня найти. Может быть, здесь удастся...

— Что удастся?

— Слушай, Силвия: он будет мой, даже если придется его изнасиловать! Большого чудака я в жизни не видывала.

Силвия вытянула руку к свету, оглядела ногти, окрашенные в темно-красный цвет.

— Это не чудачество, моя милая. Это догматизм, верность обету. От нее никуда не денешься. Бьюсь об заклад, он вообще не знает женщин.

— Девственник?

Это невероятно. Да ведь ему скоро тридцать. Такой мужчина... А впрочем, почему невероятно? Невероятное случается, когда меньше всего ждешь. Патрисия закусила губу, в глазах появилось отсутствующее выражение.

— Девственник? Бедненький... — Голос ее дрогнул. — Ну, так вот: ему недолго осталось хранить целомудрие! Клянусь спасением души!

Она сложила пальцы крестом, прикоснулась к ним губами.

— Господь меня не оставит.

— Не богохульствуй, Патрисия, — сказала Силвия, чтобы что-нибудь сказать. Мысли ее были заняты французом.

LA CHANSON DE BAHIA^[45] — Звали же этого француза Жак Шансель, и он, как непреложная реальность, как существо из плоти и крови, готовил съемку, которая должна была состояться все в тот же четверг — вечером. Фильм продолжительностью два часа пятнадцать минут будет посвящен Баии и покажет все, что есть в ней примечательного — кандомбле, капоэйру, круговую самбу, афоше и карнавальные группы, море, людей и музыку, — и называться «La chanson de Bahia», как сообщил журналистам Шансель сразу по прилете.

Три года тому назад, побывав в Бразилии вместе с группой звезд французской телекомпании для вручения Мольеровских премий, Шансель на два дня задержался в Баии, чтобы взять интервью у Винисиуса де Мораэса, жившего в то время в Итапуане. Там, в доме поэта, он повстречался с Доривалом Каймми, послушал его морские песни и ополоумел от восторга.

Узнав, что Доривал — патриарх многочисленного рода баиянских композиторов, Шансель попросил Нилду Спенсер, к которой у него было рекомендательное письмо и в чьем доме ему предстояло отведать блюда баиянской кухни, как-нибудь познакомить его с этой музыкой — он так о ней слышан. Нилда выполнила его просьбу, созвала десяток гостей, и вот до и после ватапы, каруру и эфо француз наслаждался искусством Марии Бетании, Гала Косты, Марии Креузы и других, не менее именитых.

Остальным гостям, приглашенным почесать языки со знаменитостью, пришлось удовольствоваться извинением: в тот же день Шансель улетел в Рио, а оттуда — в Париж, велел объявить, что Баия пленила его своей старинной красотой, своей волшебной атмосферой, жизненной силой своего народа. Это было пылкое объяснение в любви. Затем он сообщил, что намерен показать Баию и баиянцев французской публике, чему и посвятит очередной выпуск своей программы, побившей все рекорды

зрительского интереса.

Это намерение, нет, решение непоколебимо: немедля по прибытии в Париж он принимает все необходимые меры и вскоре возвращается в Баию для съемок. Нилда Спенсер в восторге захлопала в ладоши, а француз тут же дал ей уйму поручений. Прежде всего необходимо, чтобы Винисиус де Мораэс в самом спешном порядке сочинил сценарий. После этого говорливый француз со всеми перецеловался и отбыл: *A bientôt!*^[46]

Когда на следующий день Нилда изложила Винисиусу просьбу Шанселя и сказала, что это не терпит отлагательства, он от души расхохотался над ее наивностью. «Милая Нилда, забудь об этом как можно скорее, не бери на себя никаких обязательств, не трать попусту время, не роняй свой престиж: ничего из этой затеи не выйдет, и нечего тебе в нее ввязываться», — сказал поэт и поцеловал ей ручку, а потом продолжил свою речь.

Неужели она не знает, каково иметь дело с этими гринго? Они прилетают в Бразилию, приходят в восторг, являются в Баию, теряют голову, сулят золотые горы и горы готовы свернуть, обещают мюзиклы, телепрограммы, кинофильмы и вполне при этом искренни: и восторг неподдельный, и намерения наилучшие. Но стоит им только вернуться в свой Париж или Нью-Йорк, как всё — они пропадают бесследно, и нет о них ни слуху ни духу. Этому Шанселю, разумеется, очень понравилась Баия, и он, без сомнения, хотел бы снять о ней фильм, используя нашу музыку и музыкантов. Все так. Но сейчас он уже в Париже и давно забыл о вчерашнем разговоре. Да и захочет вспомнить — времени выкроить не сможет: у него миллион дел. Так-то, дорогая моя Нилда.

Тогда Нилда напомнила Винисиусу о собственной его пьесе «Орфей», из которой Марсель Камю смастерил фильм. «Исключение только подтверждает правило; такое не повторяется, — отвечал он, — ну-ну, не печалься, моя негрятяночка, послушай-ка лучше, какую мы с Токиньо сочинили песню об Итапуане». Поэт отхлебнул виски и взялся за гитару.

Делать было нечего, актриса последовала доброму совету, хотя и с тяжелым сердцем: замысел передачи о Баии родился у нее дома, за ее столом, она относилась к нему как к своему детищу, и ей до смерти хотелось его осуществить, тем более что взяться за передачу должна была популярнейшая программа французского телевидения.

Но Винисиус был человек опытный, предсказание его сбывалось. Нилда готова была признать, что он прав на все сто: француз не подавал признаков жизни.

И вот, когда она, пережив горькое разочарование, и думать забыла об

этом деле, и со дня памятного обеда минуло полных три года, пришла телеграмма за подписью Жака Шанселя. Он сообщал, что в Баию через четыре дня прилетает некто Ги Блан, ответственный за выпуск программы, а он, Шансель, появится через неделю вместе со всей своей командой. В пространной телеграмме говорилось о передаче так, словно речь об этом шла вчера, а не три года назад. Шансель просил позвонить Винисиусу и забрать у него сценарий. Нилда была сама не своя от радости, недаром она любила повторять, что жизнь — это творение сюрреалиста. Одно было плохо: Винисиус уехал в Аргентину и Уругвай, на него рассчитывать не приходилось.

Французский режиссер оказался человеком понимающим и расторопным, времени даром он не терял: едва приземлившись в Баии, он развил бешеную деятельность, колеся по городу на такси Миро, которого наняли на весь срок съемок. Вот гдегодились бесчисленные связи популярной и всеми любимой Нилды Спенсер: губернатор, префект, кардинал и «матери святых» готовы были исполнить любую ее просьбу, все артисты и композиторы были ее закадычными друзьями. Она могла все и еще чуточку сверх того. Ги Блан сразу же принял два ее предложения: поручить сценарий Нелсону Араужо и пригласить переводчицей Патрисию да Силва Ваальсерберг.

Жак Шансель одобрил все начинания, но судьбой Патрисию распорядился по-своему. Увидев эту смуглую голубоглазую красавицу, в которой индейская кровь перемешалась с голландской, услышав ее безупречный французский язык с неискоренимым бразильским акцентом, он произвел ее в ранг своей партнерши. Оценив ее чувственную экзотическую прелесть, Шансель объявил, что никто лучше Патрисию не сможет вместе с ним вести программу: «*Tout le monde sera envoûté*^[47]».

ДОСТОИНСТВА ОЛИМПИИ — Жоазиньо Коста, владелец фазенды «Санта Элиодора» и еще очень значительного недвижимого имущества, перечислять которое мы здесь не будем, ибо он то ли по врожденной скромности, то ли по вполне понятному желанию уклониться от уплаты налогов не любит, когда распространяются о его состоянии, был человек простодушный, бесхитростный и прямой.

Именно таковым считал сеньора Косту его зять и советник доктор Астерио де Кастро, процветающий подрядчик и счастливый супруг старшей дочери Косты — Олимпии, дамы атлетического телосложения и веселого нрава. Когда на многолюдном коктейле в новой штаб-квартире фирмы «Кастро — Недвижимость и Строительные работы» с нею

познакомился журналист Аугусто Девос, более известный как Гугу Навоз, он, потеряв лицо и осторожность, возопил: «Да это же пикирующий бомбардировщик!» Гугу занимался тем, что сочинял по заказу Кастро панегирики правительству, которые тот подписывал и печатал в газетах. Доктор рассчитывал, что две волшебные отмычки — эти статьи и самоотверженность Олимпии — откроют ему вождельные сундуки государственной казны.

Ну, раз уж реактивная Олимпия приземлилась в нашей истории, давайте потолкуем о ней не откладывая, а подробности беседы тестя с зятем, хоть они, подробности эти, имеют самое непосредственное отношение к развитию сюжета, вы узнаете чуть позже. Олимпию следует пропустить вперед: во-первых, она дама, во-вторых, дама весьма напористая и умеет за себя постоять. В проповеди по случаю конфирмации ее сестры Марлен дон Рудольф не говорил о достоинствах каждого члена семьи, и потому благосклонный читатель еще не знает о том, как щедро наделена была Олимпия альтруизмом, какой огонь самопожертвования пылал в ее душе, как безгранично была она предана своему мужу.

Да, она была во всех смыслах великая женщина: выделялась и ростом — в отца пошла, и габаритами фюзеляжа, простите, фигуры, и броской внешностью, и бесстрашным нравом, и вокруг нее всегда вилась эскадрилья претендентов — нет, не на руку и сердце, какая там рука и сердце, если Олимпия четвертый год замужем?! — а на место в ее постели. Было известно, что она не оставалась глуха к этим домогательствам, а вот муж затыкал уши, закрывал глаза и жил совершенно спокойно. Олимпия же могла выбирать из большого числа юных и пылких ходочков — и выбирала. Свидетели единодушно удивляются тщательности отбора: она отвергала красавцев и атлетов, неизменно находя возлюбленных в высших эшелонах власти, и в пространном списке сияли звезды первой величины — был там и губернатор штата, и министр, и генерал — не отставной, разумеется, а действующий и командующий чем-то крупным.

Пусть никому не придет в голову морализировать по поводу изысканности ее отбора: Олимпия несла себя на алтарь семейного благополучия, жертвуя собой ради выгоднейших правительственных заказов, которые давали завистникам и клеветникам такую обильную пищу для толков и пересудов. А что, спрошу я, это ли не жертва — спать — и только ли спать?! — с этими омерзительными господами, при одном виде которых начинает тошнить? Олимпию не тошнило: с вестибулярным аппаратом и с характером у нее все было в порядке, это доказано многократно. Выходя замуж за Астерио де Кастро, она отлично знала, что

делает. Да, его никак нельзя было считать красивым, но зато он тщеславился сильно развитым чувством этики, то есть был способен безропотно принять и проглотить все, что послужило бы на пользу дела.

Чтобы возместить себе свои бесчисленные жертвы, Олимпия питала пристрастие к подросткам, чуть было не сказал — к гимназистам в форменных мундирчиках, но вовремя спохватился: теперь гимназисты мундиров не носят! — к неоперившимся юнцам. У нее было несомненное дарование наставницы, и в этом деле она разбиралась досконально. Таковы вкратце достоинства Олимпии — пикирующего бомбардировщика.

ДЕЛИКАТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ — Устремив на своего простодушного, бесхитростного и прямого тестя пристальный взгляд жабы выпученных глаз, доктор Астерио сказал:

— Отзовите «пистолейро», заплатите ему за молчание и пусть катится.

Компетентность зятя завораживала Косту: вылезавшие из орбит глаза и насмешливая интонация лишали его дара речи — он восхищался молча, как и подобает человеку прямому и бесхитростному. Астерио всегда старался, чтобы фазендейро поступал осмотрительно, чтобы не бросался очертя голову в авантюры и применял крайние меры лишь в крайних случаях. Уважение доктора Кастро к необузданному тестю умерялось легким презрением — их разделяла целая эпоха: Жоаозиньо жил в средневековье, в полуфеодальной Бразилии, где все решалось силой и волей. Астерио представлял Бразилию нынешнюю, индустриальную и современную, стремительно развивающуюся: теперь надо больше полагаться на голову, а не на кулак.

— На это можно пойти только в самый последний момент, да и то... Вы сделаете из него мученика, а нам нужно сорвать с этого лицемера личину, разоблачить негодяя. — Он попыхтел кубинской сигарой — явная и баснословно дорогая контрабанда, доступная лишь богачам и людям из высших правительственных сфер. — Не вы ли сами говорили мне, что этот падре крутит роман с какой-то актриской? Помните, я по вашей просьбе велел Гуго упомянуть ее имя рядом с этим проходимцем? Пусть наш падре побесится. Я даже посмотрел ее на сцене — ну и ну, доложу вам!.. Она несет похабщину с ангельским выражением лица. Хороша штучка... Все при ней. По роли она появляется полуголой — есть на что посмотреть... — Он причмокнул, прищелкнул языком, завел жабы глаза, отчего лицо его сделалось совершенно непотребным. — Верните своего «пистолейро», местре, и предоставьте это дело мне.

Когда Жоаозиньо Коста после беседы с епископом Клюком убедился,

что Галвана не уберут из Пиасавы, он понял, что полагаться можно только на наемного убийцу. И такой благоприятный момент: падре уехал в столицу штата — там бы его и прихлопнуть, поди-ка докажи, что Коста имеет к убийству какое-либо отношение: ведь не на его землях, не в сертанах оно произошло. В своих проповедях «красные священники» возлагали на него ответственность за смерть троих бандитов, не пожелавших подобру-поздорову убраться из пределов фазенды. Тогда он выписал из штата Пернамбуко своего давнего знакомца, Зе Ландыша — человека в высшей степени исполнительного и надежного, с безупречным послужным списком, ни разу еще не провалившего порученного ему дела.

— Вы только представьте себе физиономию епископа, когда ему на стол положат фотографию: падре Галван и его девица — оба в чем мать родила — в постели, в мотеле?! И кардиналу приятно будет взглянуть: этот слюнтяй горой стоит за своих крамольников. — Он выпустил клуб дыма и засмеялся, вообразив себе припертого к стенке кардинала. — Ему ничего не останется как только услать мерзавца в какой-нибудь дальний монастырь. Если надо будет, мы этот снимочек и в газетке напечатаем. Анфас, чтобы все было на виду. — Губы его разъехались от удовольствия, в тягучем голосе появилась мерзкая, предвкушающая интонация.

— Да кто же их будет снимать? И зачем они пойдут в мотель — что они, сумасшедшие?

— Вам, милый мой друг и тесть, не хватает воображения. Положитесь на меня и ни о чем не заботьтесь. Для этого святого дела у меня найдутся ловкие ребята, которым подобные номера не в новинку.

Жоаозиньо Коста предпочел не задавать больше вопросов — лучше и вправду ничего не знать. Он опасался затрагивать некоторые сферы деятельности своего зятя — дело темное и опасное: ходили упорные слухи, что подрядчик тесно связан с политической полицией. На каких он ролях в этой секретной и никому не подвластной организации? Рядовой осведомитель или фигура более весомая? Жоаозиньо предпочитал и этого не знать.

«Мафиозо и стукач» — вот как озаглавил свою статью о нем Ариовалдо Матос, поместив ее на первой странице своего еженедельника, и заметьте, что в кавычки эти жирно набранные слова взяты не были. Читателю был представлен весь его путь: от растоптанных и преданных коммунистических идеалов юности к участию в военном перевороте, одним из вдохновителей и организаторов которого был в Баии доктор Астерио. Нашлось место и его процветающей фирме, и общественной деятельности. Подкуп, взятки, мафия в строительстве — всему отыскались

доказательства, и такие, что волосы дыбом встанут. Прямых указаний на связи со Службой национальной информации не было — Ариовалдо, конечно, человек отчаянный, но не до такой степени, — однако всякому становилось ясно, кому служит доносчик, на кого работает осведомитель. Не было в статье и упоминаний об Олимпии — ни прямых, ни завуалированных, — коммунист ли Ариовалдо Матос или просто безумец, но он прежде всего джентльмен.

Прочитав этот пасквиль, Жоаозиньо вознегодовал и предложил зятю: «Хочешь, подошлю к этому щелкоперу толковых ребят — они ему нос на затылок свернут?» Астерио поблагодарил и отказался, произнеся слова, снова прозвучавшие в сегодняшней беседе: «Предоставьте это дело мне». Ответный удар не заставил себя ждать, и выход еженедельника был приостановлен на неопределенный срок, что, впрочем, никого не удивило: помните, дона Норма Мартинс в разговоре с Адалжизой давно уж предсказывала это? А вот того, что Матоса привлекут к суду и посадят в тюрьму, она предвидеть не могла. Истинная причина всех этих крутых мер — сенсационная статья — осталась в тени, о ней никто и не упоминал, Матосу предъявили другие обвинения: участие в нелегальном студенческом конгрессе, подстрекательство баиянских транспортников к забастовке — это уж прямой подрыв основ. Жоаозиньо понял, откуда ветер дует: и в закрытии газеты, и в аресте редактора чувствовалась рука зятя — не рука, а когтистая лапа.

И вот теперь Астерио снова сдерживает его порыв, снова не дает действовать; правда, теперь речь уже идет не о том, чтоб кого-то там отлупить, приговор другой: наказание падре Абелардо должно быть соразмерно его преступлению... Помещик соглашается, хоть и не уверен, что это правильный путь. Действительно, забавно будет взглянуть на этого постника-кардинала, когда он увидит снимок. «Не забудь и мне прислать карточку — я покажу ее этим пентюхам из Пиасавы, а то они уже собрались поместить своего падре на место Святого Иосифа».

ПОТАЕННАЯ ДУМА — И все-таки Жоаозиньо Коста не отказался от услуг Ландыша, а велел ему немного повременить: посмотрим, чем кончится эта затея с фотографиями. Получив приказ ждать новых указаний, Ландыш сообщил помещику, что неожиданную отсрочку приговора использует, чтобы получше изучить лицо приговоренного. У него был единственный профессиональный недостаток — скверная память на лица. Воспоминание о происшествии в Каруару заставляло убийцу быть особенно предусмотрительным и внимательным.

Надо сказать, что чувства, испытываемые фазендейро к своему зятю, тоже были довольно противоречивы. Он отдавал ему должное, ценил за многосторонние дарования, расхваливал на всех углах, хотя об иных талантах Астерио лучше было бы помолчать. Однако на взгляд прямодушного и простого Жоаозиньо, Астерио был слишком мягкотел и бесхребетен — тряпка, подкаблучник, каплун. Но самую свою главную мысль насчет Астерио он таил в глубине души — не только никогда ее не выказывал, но и от себя гнал подальше. В самом начале этой хроники нравов и обычаев я обещал ничего не скрывать и все-таки не без колебания открываю вам истину, умоляя не проболтаться. Дело было в том, что грозный фазендейро терпеть не мог — ну, просто на дух не переносил — обманутых мужей-рогоносцев, притерпевшихся к этому украшению, излюбленной мишени всех остроумцев. Олимпию он не винил — она унаследовала от него и стать, и необузданный нрав, — беда коренится в ее увальне, неспособном, во-первых, удовлетворить женщину, а во-вторых, держать ее в руках.

В своей статье Ариовалдо Матос использовал сильные выражения: в одном месте называл Астерио плюгавым, а в другом — зловещим. Это чистая правда: сеньор Кастро внешнею был подобен жабе, а характером — вампиру. Когда же обозреватель одной газеты попросил Олимпию в немногих словах охарактеризовать мужа, верная супруга ответила: «Это человек чести, это странствующий рыцарь!» Сам же он находил, что сильней прочих у него развито чувство этики. Вот и разберитесь в таком персонаже!

ШТОРА — А в пустом зале архиепископского дворца дон Рудольф вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Глянул в окно: негритянка была на прежнем месте. Скалила зубы, издевалась над ним. Епископ задернул штору, задрожал всем телом, на лбу у него выступила испарина. Ужасное выдалось утро, чего только не валилось ему сегодня на голову: в приходе Пиасавы — беспорядки, статуя пропала, в газетах — шумиха, полиция подозревает, падре Галван возмущается, а в перспективе — беседа с полковником Раулем Антонио. Вертишься, как уж под вилами. Дон Рудольф был обуян беспокойством. Как далеко зайдет Галван в своей ереси? Как глубоко увяз он в марксистской трясине? Как долго сможет он одолевать соблазн лжеучения? Священны ли еще для него господни заповеди? Падре Галван исповедует веру охлократии, но надо признать, что он не таит своих взглядов, не скрывает действий, он отстаивает свою позицию. И не лжет.

Его преосвященство приказал вызвать дона Максимилиана — в конце

концов это он во всем виноват. Если бы не его настырность, Святая Варвара стояла бы себе тихо и мирно в своей нише в церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан... Епископ осторожно и боязливо отодвинул штору, взглянул на площадь: негритянка показывала ему язык. Изыди, сатана!

КОРТЕЖ — Абелардо Галван, выходя из резиденции кардинала-архиепископа, столкнулся в дверях с падре Элизеу Мадейрой — тот, улыбаясь, спешил во дворец. Священники раскланялись, хоть и не были знакомы. Несколько человек, топтавшихся в отдалении, встрепенулись при виде пастыря из Пиасавы. Семинарист Элой, несший в тот день караул у входа, воспользовался возникшей в дверях заминкой, выглянул на площадь: «Ох, какая негритянка, вот это да! Хотя пономарь Бене говорил, что мулатки горячеей...» Паренек побежал посмотреть поближе.

Абелардо, еще не остывший после беседы с епископом, решил сначала переодеться, а потом уже идти на поиски Патрисии — «в театральном училище вам сразу скажут, где меня найти». Он зашагал по улице Мизерикордия, не замечая, что следом, по пятам, за ним идет целая процессия.

Впереди двигался комиссар Паррейринья, орудовавший зубочисткой, чтобы прикрыть выпиравший из-под мышки револьвер.

Двое агентов, один другого здоровей, шли на расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимания, поддерживая связь при помощи мудреных японских «walkie-talkie» — последнего достижения полицейского снаряжения, — их внезапное жужжание дивило прохожих. Замыкал шествие некий субъект в непромокаемом плаще и широкополой шляпе. На носу у него, как и положено классическому убийце, сидели темные очки. Это был, как вы уже поняли, Зе Ландыш, который хотел накрепко запомнить лицо жертвы, чтобы не оплошать, когда придет приказ.

А негритянка шла то перед Абелардо, перегоняя его, то отставала и двигалась рядом с агентами, и в «ходилках-говорилках» тогда начинало что-то свистеть и потрескивать, а потом она вырвалась вперед, чуть не сбив с ног комиссара. Судя по всему, она забавлялась от души. Когда падре поравнялся со зданием Законодательного Собрания, она была уже далеко впереди, у Подъемника Ласерды — сидела в кафе, откуда открывался вид на залив, и потягивала шербет из питанги.

Пока Абелардо восхищался дворцом — какое грандиозное сооружение! — сопровождающие его лица ждали: агенты стояли «смирно», убийца — «вольно», а комиссар переминался с ноги на ногу. Падре Галван был взят в проследку, чтобы выяснить ряд обстоятельств — в какой

гостинице остановился, куда направляется, с кем встречается. Перед арестом нужно было собрать новые данные. Для этого шли за ним полицейские. Убийца же — для того, чтобы в нужный момент выделить его из толпы и не промахнуться.

И вдруг негритянка оказалась на перилах балюстрады, раскинула руки над морем, над городом. Ослепительное, сияющее утро вдруг прорезала зарница. Грянул гром, небо заволокли тяжелые, плотные тучи, и оно налилось лиловым цветом — точь-в-точь как камня в браслетах и ожерельях богини Ойи. Во тьме растворилась негритянка. Тут над крышами дворцов грохнуло так, что весь мир на мгновение оглох. Сразу за спиной у падре Абелардо Галвана опустилась непроницаемая завеса тьмы, а сам он шагнул в свет, исчез в нем.

Перв(ая)ые брачн(ая)ые ноч(ь)и

ПРИГЛАШЕНИЕ — Что ж, покуда на Муниципальной площади царит смятение, покуда комиссар Паррейринья во внезапно наступившей тьме сшибает прохожих, покуда его агенты пытаются зажечь карманные электрофонарики, подарок коллег из ЦРУ, — а фонарики не горят, потому что оказались без батареек, — покуда наемный убийца Зе Ландыш жаркой молитвой отгоняет нечистую силу, мы с вами, любезный читатель, воспользуемся этой заминкой, непроглядной ночью, сменившей солнечный день, и перенесемся на девятнадцать лет назад, к нашим новобрачным. Взявшись за руки, они в сильном волнении стоят на причале Валенсы, ожидая катер. Ночь темная, безлунная, и наступила она, слава богу, в положенный час.

Наверняка кто-нибудь из моих благосклонных читателей ждет не дождется эту главу, повествующую о том, как распрощалась Адалжиза с девичеством. Я не стану вас более томить, поведаю со всеми подробностями, как было дело. Кому-то эта глава покажется чересчур откровенной и длинной и не понравится, а кто-то по той же самой причине придет от нее в восторг. Думаю, последних будет больше: не все ж толковать о священниках да епископах да украшать мою безыскусную хронику богословскими изысками. Не написано еще хорошей книжки, где обиняками или в лоб не говорилось бы о сексе, дарящем радость и причиняющем муки, о любви — животворящем источнике. Даже Библия — и та не избегла общей участи, скорее наоборот.

Я ведь предупреждал, что дело затянулось, а с ним и моя история. Но вина лежит на Адалжизе — она не захотела, на Данило — он не настоял, и на них обоих: почему не озаботились свершить это таинство вовремя? Лучше всего, конечно, до свадьбы: для помолвленных открывается столько блистательных возможностей. Однако я уже говорил и не хочу повторяться: ложно понятая мораль возобладала над здравым смыслом. Ладно. Сейчас они, слава богу, муж и жена: на пальце — обручальное кольцо, в кармане — брачное свидетельство. Можно приступать к возделенной процедуре. Всех желающих приглашаю при сем присутствовать. Ну, а нежелающие пусть перелистнут эти страницы не читая.

РОНДО КАТЕРА — Когда рейсовый катер доставил молодоженов из

Валенсы на маленькую пристань Морро-до-Сан-Пауло, непроглядная тьма уже обрушилась на море.

Ночь выдалась темная, новорожденный месяц еле-еле освещал лица припозднившихся пассажиров — это был последний субботний рейс. Все они привыкли проводить уик-энд на тонком, белом, отшлифованном прибоем песке многокилометровых пляжей — рай земной! — все давно друг друга знали, оживленно переговаривались, строили планы на воскресенье. Данило с Адалжизой уединились на корме. Какая-то женщина толкнула соседку локтем, шепнула ей: «Гляди, молодые», — и обе засмеялись.

Под майским ветерком, посвежевшим к вечеру, Адалжиза продрогла и прижалась к широкой и сильной груди жениха — да не жениха, а законного супруга с обручальным кольцом на безымянном пальце, с брачным свидетельством в кармане! — притулилась к мускулистой груди своего мужа, владыки, господина, повелителя, прося у него тепла, ласки и защиты, склонила на его плечо голову, закрыла глаза, постаралась унять дрожь. Как не признаешь новобрачную?!

Притянув ее к себе, прикрыв подрагивающие плечи новым пиджаком — к свадьбе придворный портной семейства Сампайо, Густаво Рейс, дерущий с многочисленных своих клиентов огромные деньги, сшил ему тройку из голубого «тропикаля», за которую заплатил посаженный отец, доктор Артур Сампайо, — Данило, воспользовавшись таким удобным случаем, опустил ладонь на круглящуюся под шелком блузки грудь: перед отъездом Адалжиза переделалась, и подвенечное платье лежало сейчас на ее девической кровати. Она вздрогнула так, словно ее ударило током. Интересно бы знать, от холода или от страха? Стиснула его пальцы.

Хитроумный молодожен повел ее руку к своему бедру, а потом передвинул к застежке брюк — туда, где рвалась на свободу, грозя оборвать пуговицы, истомившаяся и вполне готовая к бою плоть. Адалжиза не сразу взяла в толк, что затевает муж, а просто обрадовалась теплу, но потом поняла подвох и с негодующим восклицанием руку отдернула, впрочем, скорее от неожиданности, чем от отвращения. Но неисправимый Данило и это обратил себе на пользу, прикоснулся кончиком языка к ее уху: впервые он позволил себе такую неслыханную вольность. Адалжиза вздрогнула всем телом, и даже голос ее задрожал:

— Перестань! Люди кругом!..

— Да брось ты, никого тут нет.

Однако она смотрела так умоляюще, что Данило пришлось обуздывать свои порывы, так что в течение нескольких минут ничего, заслуживающего

внимания не происходило. Данило ограничился пылкими и искренними речами, большая часть которых была позаимствована из радиоспектаклей, шаблонные фразы вроде «ты — солнце моих дней, ты — полярная звезда моих ночей» произносились в убаюкивающем, завораживающем слушательницу ритме и принимались благодарно и благосклонно.

Когда катер причалил, взволнованная Адалжиза снова спрятала лицо на груди мужа, обвила его шею руками. Данило начал с поцелуев в щеку, медленно, не переставая целовать жену, переехал к уху, провел вдоль него языком, прикусил зубами мочку. Дада не противилась и не отталкивала его.

Пассажиры поднялись, пошли по сходням на берег. Плохо соображая, Адалжиза помотала головой, приходя в себя. Данило подал ей руку, помогая спрыгнуть на мол. Она смущенно улыbnулась: время в пути пролетело незаметно.

РАЗНОГЛАСИЯ — Да, время пролетело незаметно, ибо было до отказа заполнено вольностями и потачками, трудным постижением того, что входит в обязанности жены, и Адалжиза, ступив на причал, вздохнула.

А для Данило эти дурацкие сорок минут в море были мукой мученической. Он едва сдерживался, чтобы не оборвать поводья, не закусить удила, он убивал время в любовных клятвах. Хотелось же ему немедленно вступить в права собственности на прелестную стыдливую Дада, приобщить ее к любви, сделать из нее женщину — свою женщину, жену. Разумеется, на катере этим не займешься.

Но вот когда они останутся в спальне с глазу на глаз, когда уже не будет ни посторонних, ни ограничений, ни протестов, ни жалобных взглядов, все, что завоевано им на катере, покажется сущей безделкой — разжигающим аппетит аперитивом, легкой закуской. Тогда он займется блюдом более существенным — Адалжизиной невинностью. Нет, Данило отдавал должное всякого рода утонченностям, изыскам и причудам и вовсе не собирался от них отказываться, наоборот, он их высоко ценил, широко практиковал, но у них с Дада впереди целая жизнь, дойдет и до этого черед.

Обуздывая себя в угоду ее целомудрию и стыдливости и даже уважая ее за это, Данило, жуя хлебешек, который сам сатана замесил, целый год ждал минуты, когда он, выражаясь поэтически, «сорвет в саду красоты и невинности цветок непорочности», а попросту говоря, будет обладать самой хорошенькой и порядочной девицей в Баии. Обладание это, не говоря уж о тяготах жениховства, стоило ему свободы. Он поступил на службу, остепенился, осознал лежащую на нем ответственность и распрощался с вольготным и беспутным холостяцким житьем. Теперь у

него было право, а вот терпения не было вовсе.

«А что же произойдет, когда они окажутся наедине, когда взойдут на этот эшафот, когда пробьет „час истины“?» — спрашивала себя Адалжиза. Крестная, донья Эсперанса, кое-что ей объяснила — Данило тогда устроился на службу, состоялось оглашение и был назначен день свадьбы. А пришлось отложить — как раз потому, что крестная умерла, скоропостижно, бедненькая, скончалась. Нет слов, чтоб выразить, что это была за потеря.

Крестная советовала Адалжизе терпеть и покоряться, стойко сносить боль: «Приготовься к страданию, *hijita*^[48]» — в продолжение этого искуса, во время которого женщина отказывается от того, что в глазах господ имеет самую большую ценность — от чистоты и непорочности. С мужем спать не смертный грех, таинство брака освящает это непотребство, хоть непотребством оно быть не перестает.

«Будь настоже и не допускай, чтобы нарушались запреты и преступались границы, предначертанные святой нашей матерью церковью в рассуждении того, что можно и чего нельзя позволять в супружестве, ибо ты подвергаешь себя опасности поддаться искушению и тогда будешь навеки проклята. Есть такие мужчины — и их *la maugia, hija*^[49], — которые пользуются неиспорченностью своих бедных жен и выводят их на стезю порока, приучают к любострастным забавам, которых постыдились бы и гулящие девицы. Гибельная это дорога, позорная. Постоянно, Адалжиза, помни про своего ангела-хранителя: он всегда рядом и видит все, что ты делаешь». Донья Эсперанса не пояснила, что разуметь под границами и запретами, а сама Адалжиза спросить постеснялась.

Конечно, кое-какие сведения у нее были. Об этом позаботилась ее подруга, Марилу, девица передовых взглядов, разбитная и говорливая, она уже предлагала ей «травки», давно пыталась приобщить ее к миру щедрых и великодушных мужчин, которые не пожалеют денег за невинные развлечения, никак не повреждающие ее целомудрию, а также делилась своими теоретическими познаниями и практическим опытом. Ну, по части теории дело ограничивалось сокращенным изданием «Камасутры», несколькими страницами романа Генри Миллера «Сексус» да некстати упоминаемым Фрейдом. А вот практика у Марилу была богатейшая.

Но Адалжиза отказалась от «травки» и не предоставила себя для невинных шалостей. Наркотик она, правда, однажды попробовала — не понравилось, не приглянулся ей и ни один из тех, кого сватала ей Марилу, тем более что она от нее же знала, что они из себя представляют. Из уст

подруги слышала Адалжиза порицание и насмешки по адресу супругов, из всего волшебного разнообразия сексуальных забав выбирающих одну только примитивную и убогую позицию «папа-мама», высмеянную видными сексологами в специальных радиопрограммах, собиравших немислимую аудиторию, — позицию классическую и к тому же дозволенную канонами церкви, которая разрешает и благословляет соитие — «ну, можно, значит, перепихнуться», — переводила всеведущая Марилу — лишь в том случае, если оно ставит своей единственной и исключительной целью воспроизводство рода человеческого. Все прочее есть грех и стыд. По мнению все той же Марилу, наилучшее место для такой любви — гроб, а время — смертный час.

«Друг для друга созданы», — говорили про Данило с Адалжизой, ибо жених с невестой и думали, и чувствовали одинаково, и во вкусах сходились. Полнейшая была бы гармония, если б не отношение к сексу. У каждого было свое понимание жизни и любви — и спор этот насчитывал уже которое тысячелетие.

Нет, Адалжиза не была ни лицемеркой, ни притворой, но воспитала ее донья Эсперанса в лучших традициях кастильского аскетизма. Да и Данило, с младых ногтей усвоивший, как должно вести себя настоящему мужчине, был вполне искренен. То, что для Адалжизы было исполнением тягостного долга, для него составляло высшее счастье супружества. Для Адалжизы — боль и срам, вина и грех. Для Данило — чистота и здоровье, наслаждение и честь. Для нее — ад, для него — рай.

Когда же молодые прибыли в Морро-до-Сан-Пауло, взаимное непонимание стало углубляться, идиллия сменилась распрей. Брачная ночь, которая на темной палубе катера рисовалась упоительной и полной наслаждений, началась не с обольщения, а с насилия. Робкая улыбка обернулась безутешными рыданиями. Данило расвирепел; Адалжиза впала в отчаяние.

ПОПУТЧИЦА — Показать дорогу к дому сеньора Фернандо Алмейды вызвалась некая блондинка с улыбкой до ушей и блудливыми глазками — та самая, что плыла вместе с Данило и Адалжизой на катере и тотчас признала в них молодоженов.

— Да-да, сеньор Фернандо всегда сдает дом для медового месяца. Говорят, и ребеночек рождается ровно через девять месяцев, день в день. — При слабом свете фонаря она смерила Данило взглядом с ног до головы, узнала его и поздравила Адалжизу. — Ну, как же! Это он обыграл трех защитников и вколотил решающий гол. Рада за вас.

Она пошла вперед, а остальные пассажиры с любопытством наблюдали. Слышалось ворчание моря; волны накатывали на бескрайний пляж. Блондинка показала на двухэтажный особнячок, потом замедлила шаги и сказала:

— Жалко, что ночь такая темная. Я все тут в округе знаю, подыскала бы вам квартирку получше. Наш Морро-до-Сан-Пауло — райское местечко для того, кто приехал сюда со своей женой. — И добавила, чуть помолчав: — А особенно — с чужой. Покойной ночи вам желать не стану; желаю, чтоб она запомнилась вам, красавица моя, навсегда. И тебе тоже, счастливец, — последнее относилось к Данило.

Блондинка засмеялась и ушла. Смех ее слился с рокотом прибоя.

УЖИН — Коренастая мулатка с сильной проседью в курчавых волосах встречала их у дверей — само радушие и внимание.

— Меня зовут Мариалва, я покажу вам квартиру. А пока будете умываться с дороги, и ужин поспеет.

— Ужин? — забеспокоился Данило. — Мы вообще-то...

— Легкая закуска. На пустой желудок в постель нехорошо ложиться.

Интересно, какой потаенный смысл заключали в себе ее последние слова? Данило с подозрением воззрился на нее, но лицо мулатки излучало только доброжелательство и сердечность — никакого лукавства. Мариалва провела их на второй этаж, положила на скамеечку чемодан, показала, куда повесить одежду, открыла ящики комода, чтоб разложить вещи, проверила, идет ли вода, одну керосиновую лампу поставила на столик рядом с букетом цветов в кувшине, другую отнесла в ванную. В последний раз окинула комнату взглядом, вышла, притворив за собой дверь, и шаги ее простучали по ступенькам. Данило схватил Адалжизу в объятия и стал целовать. Потом, на мгновенье прервав это увлекательное занятие, заметил:

— Не буду я ужинать. Даже думать о еде не могу.

Но Адалжиза возразила: неловко, мол, Мариалва старалась, готовила, накрывала на стол, надо хотя бы спуститься вниз и для приличия оценить ее старания.

— К тому же у меня от морского воздуха разыгрался аппетит, я просто умираю от голода.

Голод Данило был другого рода, но спорить он не стал, признал правоту Адалжизы: действительно, зачем же казаться людьми невоспитанными, подавать повод к пересудам?

— Ну, пойдём. Только не долго, слышишь?

Он потыкал кулаком в матрас, проверяя, насколько он упруг и мягок.

Матрас оказался высшего класса: послужит верой и правдой. Взявшись за руки, они спустились вниз, где уже поджидала гостей, глядя на них с материнской заботой, Мариалва.

На столе, покрытом полотняной с кружевами скатертью — вещь непривычная в домике у моря, даже если принадлежит этот домик богатому промышленнику, — стояли разнообразные мокеки, приправленные пальмовым маслом и кокосовым молоком, маниоковая каша, горький перец, тушенный с луком, лимоном и кориандром, а в никелированном ведре охлаждалось молодое португальское вино. Это не знающее границ гостеприимство свидетельствовало в вытаращенных от изумления глазах Данило, что друзья ценят Франсиско Ромеро Перес-и-Переса по-прежнему высоко, даже если судьба обходится с ним так немилостиво.

Адалжиза, хоть и заявила, что голодна, ела мало — во-первых, боялась растолстеть, а во-вторых, с пальмовым маслом, да еще на ночь надо быть осторожной. А Данило, который вообще ужинать не собирался, увидев такое великолепие, дрогнул и набросился на щедро наперченную мокеку из крабов, прикончил ее всю, осушил бутылку вина — Адалжиза только пригубила, — а когда улыбающаяся Мариалва внесла на фарфоровом блюде кокосовый мусс в шоколадном сиропе, даже захлопал в ладоши, увидев свой любимый десерт, незаметно ослабил ремень на брюках. Вот это вещь!

ПОЯС — Данило кружил по комнате, пытаясь схватить и раздеть Адалжизу: он был первым актером в этой комической пантомиме, но вот партнерша уклонялась, выскользывала у него из рук, передвигаясь с чемоданом от шкафа к комоду, от комода в ванную, развешивая, раскладывая и расставляя их багаж. Оба смеялись и со стороны выглядели, наверно, потешно.

Данило, заглушая шутками досаду, перемежая уговоры бранью, чередуя угрозы мольбами, растопыривая руки, старался поймать жену, чтобы затащить ее в постель и начать пиршество. Адалжизе, возбужденной, слегка напуганной и весьма позабавленной этим преследованием, пока удавалось ускользать — не без потерь: блузка уже была снята, а верхней сказать, сдернута, причем одна пуговка оторвалась и закатилась под комод.

Вырвавшись в очередной критический момент из рук Данило, ухватившего ее за юбку, она показала ему язык, дразня его и наслаждаясь победой. Эта игра в жмурки пришлась ей по вкусу — хотя в глубине души она умирала от страха при мысли о том, что произойдет, когда муж наконец поймает ее, разделет и положит на пахнущие лавандой простыни. Пока они

ужинали, Мариалва сняла с кровати покрывало, взбила подушки — приготовила ложе. Отступить некуда.

Был и третий участник этих игрищ, который, правда, не обнаруживал своего присутствия, но Адалжиза знала: он тут. Это был ее ангел-хранитель, отвечавший за непорочность тела и за спасение души, внимательно следивший за тем, каким беспрестанным атакам подвергается в эту брачную, в эту роковую ночь целомудрие его питомицы. Ангел самоотверженно делал свое дело, оберегая честь и чистоту Адалжизы: это по его воле Данило то и дело спотыкался, шатался, как пьяный, не мог рассчитать свои действия и постоянно упускал жену. Когда поражение казалось неминуемым, Адалжиза, чувствуя, что силы ее на исходе, выхода нет, взывала к ангелу-хранителю. Ангел выручал, Адалжиза оставалась целой и невредимой. Вот именно.

Одолевая бесконечные препятствия, борясь с проворством жены и с собственной невесть откуда взявшейся неповоротливостью — ноги у него точно свинцом налились, — Данило все-таки снял с нее юбку — истинное произведение искусства, плод кропотливого труда. Сломленная угрозами — «сейчас разорву ее к чертовой матери!» — Адалжиза сдалась, подняла руки вверх, позволяя стянуть через голову узкую юбку. Теперь Данило предстояло справиться с рубашкой — трусики, лифчик, чулки труда не составят. Однако вместо ликующего клика из груди его вырвалась звучная отрыжка, омрачившая миг торжества. Адалжиза сделала вид, что ничего не слышала, но сам Данило на миг оторопел.

Но очень скоро он пришел в себя, твердо взявшись за рубашку, и, поскольку угрозы не принудили Адалжизу к сотрудничеству, в негодовании решил привести их в исполнение. Новехонькая комбинация, изящная часть приданого, разодранная сверху донизу, упала к ногам своей владелицы, оголив ее, обнажив просвечивающие сквозь кружева груди, гладкий, смуглый, округлый живот и темную тайну пупка. Но зад, увы, не открылся! Нет, не открылся!

Оказалось, что под рубашкой, от талии до самых колен, стягивая и смиряя оба полушария, став неодолимой преградой алчущему взору Данило, — как мечтал он наконец-то порадовать глаз! — находится нечто чудовищное — резиновый пояс. Настоящий «пояс целомудрия»! В последние дни своего жениховства Данило уже приходилось ощущать его под руками, и всякий раз эти прикосновения вселяли в него ужас и отвращение. Это было сильнодействующее и неборимое средство против вожделения — всякая охота тут же пропадала.

Адалжиза же носила это страшное изобретение потому, что считала —

пояс ее стройнит и в нем бедра кажутся не такими крутыми. Один журнал из Сан-Пауло отдал под его рекламу целую страницу: дамы из высшего света, самые элегантные женщины страны, отзывались о нем единодушно и очень лестно. Рекомендация заезжей француженки мадам Надро оказалась последней каплей: Дада устремилась в лавку Мигела Нажара и приобрела резиновый пояс — целых две пары — и уж с тех пор снимала его только на ночь.

Столь же скорбное, сколь и мерзкое зрелище, открывшееся глазам Данило, сразило его, боевой порыв его улетучился, дух упал, а сам он весь как-то поник, понуро свесил голову, уронил руки, сел на кровать. Адалжиза, воспользовавшись этим, скрылась в ванной, прихватив с собой ночную рубашку. Не какую попало, а ту особую, предназначенную для особых же случаев — для первой брачной ночи. Истинное чудо из крепдешина — белую и пышную, как пена морская, невесомую, воздушную, прозрачную, обшитую по вороту и подолу кружевами, доходящую только до колен, глубоко открытую спереди и сзади, выписанную из фешенебельной «boutique^[50]» Лауры Алвес, что в квартале Ипанема, в Рио-де-Жанейро. Хозяйка, посылая ее, просила извинения за то, что не сможет присутствовать при бракосочетании — едет в Таиланд вместе с мужем.

Данило скинул лакированные туфли, вздохнул с облегчением, растер занемевшие пальцы. Потом разделся, аккуратно сложил всю одежду и улегся в постель, поджидая, когда из ванной появится жена. Голова его склонилась на подушку, гранитная твердость слегка поколебалась. Данило прикрыл глаза, чтобы лучше представить себе заповедный предмет своих вожделений. И уснул.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ — Ах, как жестоко обманывается и какого маху даст тот, кто поспешит посмеяться над Данило и отпустит по его адресу шуточку дурного тона, решив, что молодожен проспал до утра сном младенца, потеряв время и возможность. Отчасти тут и я виноват надо было сказать: «Данило погрузился в легкую дремоту», тогда бы мы с вами избежали неосновательных суждений и скороспелых выводов.

Данило спал не крепко и не глубоко, и мысль его была по-прежнему устремлена к известному нам предмету. Время от времени он поднимал веки, убеждался, что дверь в ванную закрыта, и вновь задремывал. Так повторялось несколько раз, ибо Адалжиза, наводя красоту, провела в ванной добрых полчаса и когда наконец появилась в комнате — «выбежала на зеленое поле стадиона», как говорили футбольные комментаторы,

приветствуя появление на спортивной арене принца Данило, — была просто ослепительна. Принцесса из сказки или из княжества Монако — выберите сравнение по вкусу.

Да, она привела себя в порядок. Смыла макияж, сделанный перед венчанием, приняла душ, освежила лицо лавандовой водой, а тело — кельнским одеколоном, простите за тавтологию, но флакончик тот, подаренный доной Евой Адлер, женой консула и клиенткой доньи Эсперансы, и вправду был из города Кёльна, что стоит на Рейне, уложила волосы вокруг шеи крупными кольцами — как на картинах средневековых мастеров, освободилась от знаменитого пояса, от лифчика, дав наконец волю груди и бедрам, с надлежащей тщательностью свершила омовение, воспользовавшись, по совету Долорес, специальным дезодорантом: «Нет его лучше, сестрица, послушай меня, чисто, душисто, гладко и сладко». Долорес-распутница понимала толк в таких делах.

О, святая простота! — изготвиться — это как раз противоположное тому, что было перечислено выше. Изготвиться — это значит умело и искусно накраситься: покрыть веки лиловыми тенями, ресницы — тушью, щеки — румянами, губы — помадой, подрисовать брови. Изготвиться — это значит остричься и причесаться у великого Севериано или «*coiffeur des dames*^[51]» такого же ранга; надуться с вдохновением и пониманием, умастив французскими благовониями, заморскими ароматами самые сокровенные части тела. О, святая простота! Посыпаю главу пеплом, смиренно принимаю упрек от людей сведущих, расписываюсь в полной безграмотности и смиренно прошу прощения. Но при этом заявляю, что Адалжиза, должным ли образом была она изготвлена или всего лишь почистила перышки, не прибегая ни к каким ухищрениям, стала по выходе из ванной комнаты еще краше и желанней. Никакая принцесса — ни из сказки, ни из княжества Монако — в подметки ей не годилась.

Некоторое время она сомневалась, надевать ли ночную сорочку — короткую, легкую и прозрачную, с разрезами до середины бедра. Однако выбирать не приходилось: другая рубашка, сшитая доньей Эсперансой, — атласная, капитальная, с прошивками из английских кружев, с высоким, до подбородка, воротом, с широким кушаком, длиной до пят — в комплекте с халатом и панталонами лежала в ящике комода. Творение доньи Глории было единственное, чем располагала сейчас молодая.

Когда в свое время Адалжиза приняла из рук крестной пакет, содержащий в себе три вышеперечисленных предмета, с согласия доньи Эсперансы развернула его, надела это сооружение прямо поверх комбинации и взглянула на себя в зеркало, она осталась очень довольна.

Панталоны примерять не стала — и так видно, что в самый раз: донья Эсперанса за швейной машинкой не знала себе равных. Но крестная пресекла поток благодарностей и хвалебных слов, произнеся некую формулу, точный смысл которой до Адалжизы не дошел, ибо когда крестная начинала сквозь зубы говорить на определенные темы, испанский ее акцент усиливался. Скорей всего в виду имелось вот что: ночная сорочка — это последний бастион крепости целомудрия, штурм которой в первую ночь должен осуществляться путем применения множества хитроумных маневров, уловок и хитростей, имеющих целью не поражение осажденного гарнизона, но его победу. Донья Эсперанса была чересчур стыдлива, выражалась слишком туманно, и ее крестница так и не взяла в толк, какие это маневры и что имеется в виду под поражением и победой. Об этом задумалась она только теперь, надевая невесомый подарок столичной богачки.

Данило проснулся от щелканья дверной задвижки, и в неярком свете керосиновой лампы очам его предстало райское видение. Он подумал было, что еще спит, протер глаза и с каким-то рычанием слетел с кровати, вмиг обретя боевую форму и первоначальный пыл, принявшие столь вызывающие размеры, что ангел-хранитель Адалжизы взмахнул крылами и скрылся навсегда, ибо не питал ни малейших иллюзий насчет дальнейшего хода событий. Да, ангел вылетел в окно, откуда проникал в комнату, игриво приподнимая подол Адалжизиной сорочки, ветерок с моря.

ВЕТЕРОК — Он расшалился не в меру: взметнул подол ночной сорочки, обнажив узкую полоску бедра, а потом, неожиданным своим порывом открыл взору Данило разделяющую ягодицы ложбинку. Керосиновая лампа, как уже было сказано, светила тускло, но Данило все равно испытал потрясение и, нимало не заботясь о последствиях, издал боевой клич, звучный, как сигнал полковой трубы.

Молодая попыталась справиться с ветерком, прихлопнуть трепещущую под его напором рубашку, потупилась, боязливо улыбнулась, не зная, что сказать, как поступить. Она никогда еще не видела Данило во всей наготе: на пляже он, естественно, носил купальные трусы или — в соответствии с последней и бесстыжей модой — плавки; иногда она поглаживала его мускулистую грудь и руки — газеты восхищались атлетической фигурой центра «Ипиранги», и она была горда, что у нее такой жених. Но сейчас ни о каких плавках и речи не было, Данило стоял перед нею в чем мать родила. «Смилуйся, Пречистая Дева!» — воззвала Адалжиза, но тут же поняла, что не годится перед лицом такого срама

впутывать в свои дела Приснодеву Непорочно Зачавшую, и растерялась еще больше. Что там говорила донья Эсперанса, вручая ей свой подарок — настоящую ночную рубашку, а не эту фитюльку, которая не столько прикрывает, сколько выставляет напоказ? Тут ветерок скользнул по ногам, пощекотал между ляжек, и Адалжиза, вздрогнув всем телом, не смогла признать, что щекотка эта ей неприятна.

А бесстрашному воителю Данило, приготовившемуся перейти от слов к делу и ринуться на штурм, опять пришлось подавить отрыжку. Что за черт! Не в прок ему пошла можека на пальмовом масле.

Да, ему было явно не по себе, но неужели легкое недомогание ослабит его желание, угасит жар, одолеет порыв? Он выпрямился, исполнившись решимости: так, бывало, рвался он к воротам противника, и удержать его было невозможно. Теперь или никогда! Данило не ждал, что на пути будут трудности, что испытает сопротивление или противодействие. А препятствие?.. Препятствие — это его вожденная цель, это его драгоценный трофей. Препятствие одно — непорочность Адалжизы.

РЕНОМЕ — Имелся у Данило кое-какой опыт в таких делах: на его счету были две девицы. Медальный профиль героя-любownika часто мелькал в газетах, центрального нападающего захлеб хвалили по радио, в гомерических тонах превознося его спортивные подвиги, имя его было у всех на слуху, и подобных побед могло быть гораздо больше, если бы Данило не опасался связываться с девчонками — того и гляди, влипнешь в историю, попадешь в газеты, и совсем в ином качестве: «Звезда „Ипиранги“, кумир болельщиков, под дулом пистолета женится в „полиции нравов“». Какой-нибудь остроумец вроде Армандо Оливейры, которого читают и почитают тысячи, только и ждет подобного сюжета — забавней темы не сыщешь. Сама роль, играемая Данило в команде, — центральный нападающий, «острие копья», по выражению всех комментаторов, — подталкивала к двусмысленным шуточкам, к рискованным каламбурам, а Армандо Оливейра был на них большой мастер. Нет уж, спасибо! В подобные дела лучше не соваться! Данило старался не рисковать: если становилось ясно, что опрометчивого шага не избежать, он под любым предлогом порывал с возлюбленной и исчезал в неизвестном направлении, давал, так сказать, тягу.

Однако обе его эскапады с девицами сошли на редкость гладко. От Албертины он, впрочем, такого не ждал: двадцать второй год, государственная служащая с приличным жалованьем, сама себе хозяйка, липнет к мужчинам. Чего она дожидалась? Бог ее знает. Роман их

развивался стремительно, и очень скоро Данило с Албертиной оказались в доме свиданий, содержала который некая Ауринья Гречанка. Изумление Данило было безмерно. Испытав непривычные ощущения, он было застопорился:

— Не может быть...

— Может. Ты у меня первый. Клянусь, — отвечала Албертина смущенно и гордо.

Можно было и не клясться — доказательства были налицо. Знаменательный день, день, которому суждено войти в анналы: щедрый летний дождь смыл с баиянских улиц пыль, а в «доме свиданий» Албертина Карвальяэнс, до сей поры никому не ведомая сотрудница одного из бесчисленных ведомств, сделала первый шаг на том пути, где ей суждено будет обрести громкую славу и всеобщее признание. Да, этот путь начался в объятиях Принца Данило, которого она в тот вечер считала прекрасней самого Кларка Гейбла и нежно благодарила. Албертина Карвальяэнс! Она была некрасива, но обладала скульптурной монументальностью форм.

Случай с Бензиньей был не таким идиллическим, а чистота ее была уже довольно сильно выпачкана. Особенно тщеславиться победой Данило не приходилось: Бензинья сама себя предлагала, сама готова была броситься ему на шею, что однажды и произошло в местечке Педра-де-Сал, где находилась дача американской культур-атташе мисс Свит, у которой Бензинья служила в горничных. Данило всерьез опасался последствий, ибо его возлюбленная была обручена с Исайасом Муравьем, знаменитым вратарем, собиравшимся в ту пору уходить из большого футбола: Исайас был ревнив, как сатана, силен, как бык, и крайне несдержан в словах и поступках. Он проявлял неусыпную бдительность по отношению к невесте, ибо имел веские основания сомневаться в добропорядочности Бензиньи — репутация ее была всем известна.

И вот однажды, когда полуплатонические свидания уже приелись, когда томление плоти сделалось невыносимым, а Исайас уехал на сборы, поскольку предстояла ответственная игра, влюбленные отыскивали укромное место на пляже, совсем неподалеку от летней резиденции кардинала-примаса, место, идеально подходящее для прелюбодеяния. Бензинья, как писали в романах, предалась Данило безусловно: повалилась на спину, задрала юбку, под которой больше ничего не было, и сообщила, что не хочет, чтобы ее девичья честь послужила усладой грубого Исайаса, а потому пусть с ней покончит он, Принц Данило. Так все и вышло, но к удовольствию Данило примешалось легкое разочарование: с девичьей

честью у Бензиньи дело обстояло из рук вон скверно — дорожка была протоптана очень многими, а если никто не решился пойти до конца, то лишь благодаря ужасу, который наводил на всех свирепый гигант Исайас. Неподалеку от уголка, облюбованного парочкой, резвились на пляже монашки; под их безмятежный смех и плеск морской волны Данило расправился с выпавшими на его долю остатками целомудрия.

Несколько недель после этого он прожил в страхе: боялся, что Исайас, гроза судей и соперников, обнаружит после свадьбы изъян и потребует виновника к ответу. Да было б за что отвечать! Решительно не за что. Бензинья! Рита Бента де Лима! Дерзкий смех, смуглое лицо, бедра ходят, как корабль на волне.

ПОСПЕШНОСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ ИГРЫ» — Итак, Данило схватил Адалжизу в объятия, одновременно вздернув подол легкомысленного ночного одеяния до самых плеч, приник к ней всем телом, прижался как нельзя тесней, плотно обхватил ладонями груди. Потом резким движением бросил ее на кровать, навалился сверху. Оторвав ладони от ее груди, схватился за бедра Адалжизы, просто-таки мертвой хваткой вцепился в них, стараясь разомкнуть их и получить доступ к вожделенной цели.

Адалжиза застонала, но Данило заглушил этот бессловесный протест, впился в ее губы нескончаемым поцелуем, точно собираясь съесть заживо. Адалжиза почувствовала, что сейчас задохнется, попыталась высвободиться, и Данило пришлось схватить ее за руки, для чего, ясное дело, пришлось оставить в покое бедра. Чуть только это произошло, Адалжиза мгновенно сомкнула колени, наглухо перекрыла пути. Защита оказалась на высоте, и прославленный форвард остался ни с чем. Сколько раз Франса Тейшейра сокрушался в микрофон, сетуя, к неописанной радости тех, кто болел за команду соперников, на излишнюю поспешность звезды «Ипиранги»: ах, зачем же Принц Данило рванулся вперед, не дождавшись паса, влетел в штрафную площадку без мяча! Судья засвистел, зафиксировав офсайд.

СОМНЕНИЯ — Как началась, так и продолжалась эта ночь — в жестокой, беспощадной борьбе: насилие натолкнулось на отпор. Эта борьба, эта война сделала бы честь лютым врагам, но никак не пристала любящим супругам и совсем не походила на любовную игру. Данило пытался удержать Адалжизу, заставить ее лежать неподвижно и покорно, а та сопротивлялась и отбивалась. Да, шла война на уничтожение,

смертельная схватка: с каждой минутой усиливался грубый напор, но возрастал и страх, истощалось терпение, изменяло хладнокровие, взамен нежных слов стали звучать приказы, мольба сменялась командой, досада вытесняла ласку, сила прогоняла обольщение.

Измученная, готовая вот-вот расплакаться, Адалжиза спрашивала себя: «Да в самом ли деле он меня любит? Может, ему одно только от меня и нужно? Зачем же насильно? Разве он не может набраться терпения и чуточку подождать?» Губы у нее были искусаны, от беспрерывных атак все тело было точно избито и изломано: отчаянное сопротивление только разжигало ярость нападающей стороны. Она устала, она была напугана, она вся одеревенела. Силы ее были на исходе.

Возможно ли, чтобы гражданин Бразилии, обвенчанный священником, зарегистрированный судьей на скромной, но пристойной церемонии бракосочетания, которой предшествовали полтора года знакомства и ухаживания, полтора ничем не омраченных года полного благорастворения и взаимной приязни, возможно ли, спрашиваю я, чтобы этот гражданин мог понять, почему его законная жена в первую брачную ночь отказывает ему в его супружеском праве, отбивается, сопротивляется и наконец принимается плакать?! От помолвки до оглашения Данило смирялся со всеми запретами и ограничениями — в таком уж суровом духе воспитала его невесту чересчур набожная донья Эсперанса, — и не только смирялся, но даже гордился неуступчивостью своей невесты — лучшим доказательством высокой порядочности и строгих правил. Но все же есть граница! теперь они — муж и жена, ни о каком бесчестии или там распутстве и речи быть не может, эти понятия к ним отныне неприменимы! «Неужели я в ней обманывался? Неужели она меня не любит и приняла мое предложение из чистого тщеславия — чтобы пройти по улице под ручку со знаменитостью, с идолом болельщиков, с кумиром стадионов?»

И словно бы для того, чтобы доконать Данило, чтобы отравить ему эту ночь окончательно и унижить до предела, желудок его расстроился: что-то там бурчало, клокотало, жгло, во рту появился горький привкус, мучили отрыжка и икота, от которых порыв его слабел, а сопротивление Адалжизы становилось все успешней. Данило, мокрый от пота, взбешенный, опечаленный, готов был потерять над собой власть и прибить жену.

МИГРЕНЬ — Только поздно ночью, после тягостного выяснения отношений, подписано было краткое перемирие: Адалжиза сделалась чуть-чуть уступчивей, позволила снять с себя рубашку: «Только, ради всего святого, осторожно!» Всем святым поклялся ей Данило.

Однако сильнее ее самопожертвенной готовности исполнить супружеский долг оказался страх перед тем непомерно громадным, что ей предстояло принять в свое узкое, маленькое, недоступное лоно. Это совершенно невозможно! Это только искалечит ее на вечные времена! Но для Данило, который, тычась вслепую, пытался проторить путь во вселенную наслаждений, к океану восторгов, сами эти малость, узость, недоступность и были желанны и притягательны. Собрав последние силы, предпринял он новую отчаянную попытку. «Ай!» — вскрикнула Адалжиза.

Она была измучена, испугана, силы ее были на исходе. Потрясение оказалось столь велико, боль так остра, что она сумела как-то вывернуться, выскользнуть из-под Данило, соскочить с кровати. Боль обожгла ее вовсе не там, где вы думаете, ибо Данило промахнулся и остался с носом. Заболела у Адалжизы голова — начался один из тех приступов мигрени, которым была она подвержена с отрочества и которые преследовали ее, делая жизнь невыносимой: казалось, голову стягивает огненный обруч, от боли она на стену готова была лезть. Началось это в четырнадцать лет, когда она из девочки стала девушкой, и с тех пор повторялось регулярно, и ни один врач облегчить ее страдания не мог, и ни одна знахарка исцелить ее не сумела. «Выйдете замуж — само пройдет», — предрек ей их домашний доктор Элзимар Коутиньо. Ну, вот и вышла, а все стало только хуже.

Дада влетела в ванную, заперлась и зарыдала в голос, на всю квартиру. Данило перестал барабанить в дверь и вопить: «Открой, открой немедленно! Не выводи меня из себя!» Руки у него опустились, и стоял он перед ванной голый, дурак дураком. То, что приводило Адалжизу в такой трепет, стало совершеннейшим пустяком, вялым и безвредным.

ДВЕРЬ В ВАННУЮ — Через запертую дверь состоялось примирение, был заключен мир, супруги поклялись друг другу в вечной любви, но это все потом, а сначала — срывающиеся голоса, слезы, обида, тоска и ужасное взаимное недовольство. Постепенно взяли верх сострадание и жалость. Они-то — сострадание и жалость — и предрасположили Данило и Адалжизу к прощению и к надежде. Смолкли громовые удары в дверь, стихли рыдания, прекратился обмен колкостями, угрозы превратились в жалобы, требования стали мольбами.

— Я больше не выдержу, голова прямо раскалывается. Если ты меня любишь, не трогай меня до завтра.

— Ты еще спрашиваешь, люблю ли я тебя?! Как ты можешь в этом сомневаться, глупенькая?

— Тогда не смей меня принуждать. Зверь! Будь терпелив со мной. — И

снова повторила: — Зверь!

Голос жены звучал так жалобно, и к тому же Данило знал, какие муки причиняет ей мигрень. Но «зверя» так просто проглотить он не собирался:

— Это ты меня не любишь. Я в тебе обманулся...

— Что за ерунда? Не любила бы, так и замуж бы не вышла. Ну, пожалуйста...

— А завтра? Завтра можно? Или все будет как сегодня?

— Завтра — можно. Клянусь! Завтра все будет как ты захочешь. — Но сильней, чем клятвы, подействовал на Данило ее умоляющий голос. — Прощу тебя, пожалей меня, милый.

Милый подвел итог переговорам:

— Ладно, Дада, оставим на завтра. Выходи.

— А ты не будешь меня хватать?

— Ну, я же сказал — оставим на завтра. Но тогда уж смотри!

Адалжиза потребовала последних гарантий:

— Поклянись спасением души твоей матери.

— Клянусь спасением души моей матери.

Но и после этого Адалжиза вышла не сразу — опять пришлось барабанить в дверь и умолять:

— Ну, выходи же! Скорей! Скорей!

Адалжиза медлила, явно опасаясь, как бы муж не стал клятвopреступником.

— А почему ты так торопишься?

— Потому, что ты заняла туалет. Ну, скорей же!

Он еле успел склониться над унитазом в неодолимом приступе рвоты. Прощайте, мокека из крабов и кокосовый мусс в шоколадном сиропе, тушеные перцы и португальское вино! Когда он вышел из ванной, Адалжиза, съезжившись под простыней, затаив дыхание, уже лежала в кровати как мертвая. Данило отворил окно, жадно вдохнул воздух — неприкаянный молодожен в одиночестве брачной ночи.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НОЧЬ — А ведь она могла бы стать лучшей в его жизни — волшебной, божественной, счастливой. Было бы что вспомнить и чем гордиться — и даже больше, чем тогда, на чемпионате страны, когда он, Данило, по общему мнению, принес «Ипиранге» лавры победительницы. Ночь могла бы стать незабываемой. А теперь одна забота — поскорей бы забыть ее, эту черную, эту проклятую, горькую, унижительную, растоптавшую его мужское достоинство ночь. Нет, она и вправду незабываемая!

Опершись о подоконник, Данило долго смотрел, как над туманным горизонтом пробивается рассвет, а потом наконец улегся, сомкнул воспаленные веки, словно облитый стыдом и разочарованием, весь облитый с ног до головы. С ног до головы закутанная простыней, отодвинувшись на самый краешек кровати, лежала Ддалжиза, не выставив наружу ни кончика пальца, ни завитка волос — живой кокон страха. Спала она или притворялась, думая, что он пожалеет ее будить и оставит в покое? Ей-то хорошо: у нее хоть страх есть. А он совершенно опустошен и вконец выпотрошен. Как тряпичная кукла, валялся он на кровати, как жалкий паяц в шутовском колпаке. Да какой там колпак — и колпака-то не было: голый и прикрыться нечем — всякий волен смеяться и издеваться над ним. И не спасет то, что свидетелей его ночного позора не было: у него все будет на лбу написано.

ГОЛУБКИ — Данило открыл глаза, и ему показалось, что проспал он всего минут десять — пятнадцать: во рту по-прежнему был омерзительный вкус, а на душе все так же скребли кошки. Комнату заливал солнечный свет, рядом никого не было: где же Дада? Взглянул на часы: двадцать пять десятого. Подхватился, побежал в ванную. Умылся, побрился и, надевая штаны, увидел в окно, что на пляж уже потянулись вереницы людей. Ох, хорошо бы выкупаться, это восстановило бы его душевные и физические силы, но как после вчерашнего сунешься к Адалжизе с этим предложением и как ей покажешься на глаза? И куда она, кстати, запропастилась?

На лестнице Мариалва влажной тряпкой протирала перила. Она поздоровалась, а на тревожный вопрос ответила, что сеньорита, «простите, сеньора» — поправилась она с улыбкой — ждет его внизу. Она встала рано, выпила кофе с молоком, поела кукурузного кускуза и сейчас сидит на веранде. Погода нынче как по заказу: сегодня только и купаться. Данило, перепрыгивая через ступеньки, помчался вниз.

Да, она была на веранде, сидела в шезлонге. Какая красивая, господи боже, какая красивая! Босые ступни, нога закинута на ногу, бедра распирают цветастую ткань, пышная грудь угадывается под купальником, голова повязана косынкой, на носу — темные очки. Увидев мужа, она сняла их, улыбнулась: веки покраснели, губы припухшие. Данило с бьющимся сердцем приблизился, осторожно поцеловал ее, заметив на нижней губе след зубов. Нежно прикоснулся к щеке Адалжизы. Спросил, оставляя решение вопроса ей:

— Купаться пойдем?

Она согласно кивнула. Притянула склонившегося над ней Данило к

себе, подставила ему губы для нового поцелуя, сама его поцеловала крепко и неторопливо. Так, словно хотела что-то выразить этим и не обращая внимания на распухшие, кровоточащие губы. «Доказательство любви», — понял Данило и не стал злоупотреблять этим, хотя желание и пронзило его, когда язычок Дада коснулся его зубов. Он протянул руку, помог ей подняться:

— Пойдем.

— Выпей кофе.

Данило, не садясь, залпом выпил полчашки кофе, съел ломтик кренделя, а к кускузу — до сей поры любимому своему кушанью — даже не прикоснулся.

По обе стороны тянулся необозримый пляж с белым чистым песком. Они вышли, взявшись за руки. Адалжиза казалась веселой, беззаботной и оживленной.

— Как твоя голова?

— Прошла, слава богу.

Данило не удивился. Такая уж это ужасная штука — мигрень: налетит, измучит, а потом ни с того ни с сего отпустит. Все на них глазели, улыбались, перешептывались, пока они шли по пляжу. Тут их догнала Мариалва с полотенцами и соломенной циновкой. Многие еще помнили Данило, хоть он и бросил футбол полтора года назад, и теперь узнавали звезду «Ипиранги»; привлекали к себе внимание и пышные формы Адалжизы, обрисовывавшиеся в давно немодном купальном костюме. «Зачем же прятать такие сокровища?» — искренне сокрушались зеваки.

Идти пришлось довольно долго, но вот отыскалось место, где народу было поменьше. Расстелили циновку подальше от любопытных взглядов, от нескромного внимания, от пляжного шума и говора. Полежали на солнце, а потом пошли в море. Данило, отличный пловец, поплыл к покачивающимся на якорях катерам и баркасам. Адалжиза барахталась на мелководье.

Прекрасное было утро — тихое, спокойное, с милыми разговорами и умеренными ласками. Целовались. «Губы у меня стали как у негритянки», — сказала Адалжиза, но улыбаясь, а не жалуясь. Потом, оглянувшись по сторонам, оттянула ворот глухого купальника и показала мужу лиловый засос на груди. «Видишь, чудовище, что ты со мной сделал?» — спросила она томно и даже кокетливо.

Размякнув от солнца и нежности, Адалжиза огорченно заговорила о том, что произошло прошлой ночью, и — главное — о том, чего не произошло, просила прощения, просила терпения. Данило не уступал ей в

благородстве: он признался, что был слишком поспешен и груб, тоже просил прощения. «Прощать тебя не за что, это я во всем виновата, я — трусиха и дурочка, я не смогла сделать то, к чему готовила меня моя крестная». Но если Данило поверит ей и поймет ее, она станет ему настоящей женой, а дом, который они с божьей помощью создадут, будет счастливым домом. «Так и будет», — заверил Данило.

— Поклянись, что ты меня любишь, — разнеженно проворковала Адалжиза.

Но Данило поклясться не успел: рядом с ними оказалась симпатичная чета, заговорившая с молодоженами. Лаура и Дарио Кейрозы жили в Валенсе, но большую часть года проводили в Морро-до-Сан-Пауло, где у них был дом. Дарио, ярый поклонник футбола, хоть и болел за «Виторию», прекрасно знал Принца. Он и начал разговор: почему же Данило так рано повесил бутсы на гвоздик, ему бы еще играть да играть? Он пустился было в воспоминания о незабываемых проходах и решающих голах, но дона Лаура увела его:

— Пойдем. Голубкам хочется побыть наедине.

ОЖИДАНИЕ — Ужин Данило просил подать самый легкий: свежа еще была память о роскошном обеде — лангуст, уха, жаркое из креветок, восхитительные крабы. Все это орошалось пивом и соком гуарана. Придя с пляжа, проголодавшиеся молодожены отдали дань всему угощению.

Данило сделал попытку увлечь жену в комнату, но Адалжиза улеглась на диван и проспала до вечера.

— Не беспокойтесь, я приготовлю что-нибудь легкое, — заверила Мариалва: улыбка не сходила с ее приветливого лица.

Выяснилось, что у нее весьма своеобразное представление о том, что такое «легкий ужин». «Подам кофе с молоком», — сказала она. И подала. Но сопровождали этот кофе с молоком пирожки из сладкого маниока, пирожки со сладким бататом, пирожки из кукурузной муки, кускуз из тапиоки в кокосовом молоке. А предшествовал этому жареный цыпленок с рисом. Куда уж легче! Адалжиза, томимая предчувствиями, чуть поклевала. Данило, помня о вчерашнем конфузе, благоразумно сдерживал аппетит.

С той минуты, как она проснулась на закате, беспокойство Адалжизы шло по нарастающей. Протерла глаза — и увидела перед собой Данило, караулившего миг ее пробуждения. Дальше потянулись нескончаемые паузы, атмосфера ожидания сгустилась. Адалжиза, еще вялая после пляжа и сиесты, поднялась наконец с дивана. Данило встrepенулcя.

— Я скоро вернусь, — сказала она и стала подниматься по лестнице.

Вернулась она не очень скоро — свежая, в простом домашнем платьице. Душ прогнал ее истому, но нимало не умерил тревогу. На Морро-до-Сан-Пауло опускалась ночь, от пристани отвалил переполненный катер. Мариалва спросила, не пора ли накрывать на стол.

— Пора, — ответил Данило, не сумев скрыть досаду: вот дура-то, тварь безмозглая.

Его бы воля — они бы поднялись в спальню, чуть только окончился ужин. Но Адалжиза предложила пройтись вокруг дома — полезно для пищеварения. Чего там варить, они ведь почти не притронулись к еде — хотел было взорваться Данило, но при Мариалве спорить не стал, сдержал нетерпение, подал жене руку, и они обошли дом.

— Я вам постелю... — прозвучал ласковый голос горничной. — Когда вернетесь, только щеколдочку отодвиньте, здесь воров нет.

Народу на улице было мало: редкие прохожие да несколько супружеских пар, совершавших моцион, — все провожали голубков любопытными и благожелательными взглядами. Ветер взвизгивал песок, из открытых окон слышалась музыка. «Танцуют и в карты играют», — пояснила всезнающая и вездесущая Мариалва. Под звездами носились по водной глади мощные катера, принадлежавшие людям богатым; в воздухе чувствовался запах виски, аромат гаванских сигар.

Тишину нарушало только чье-то вежливое «добрый вечер» да рев пролетающих катеров. «Вот это жизнь!» — позавидовал их хозяевам Данило, пытаясь завести разговор. Окаменевшая Адалжиза молчала, стиснув зубы. Прошли к пристани, вернулись назад — Данило все пытался прибавить шаг, а Адалжиза двигалась еле-еле. Когда увидели наконец освещенное окно виллы — Мариалва оставила в гостинной керосиновую лампу, — Данило сказал, не просительно, а властно:

— Идем.

Адалжиза потупилась, вспомнив наставления крестной: «Когда настанет час испытания, будь мужественна и покорна», — и прошептала:

— Идем.

Из темноты вынырнул Дарио Кейроз, весьма расположенный обсудить голы, забитые сегодня Пеле. Воспользовавшись замешательством мужа, попытавшегося отделаться от разговорчивого болельщика, Адалжиза проскользнула в спальню. Когда явился запыхавшийся Данило, она уже лежала в постели, под простыней. На ней была рубашка, сшитая доньей Эсперансой для предстоящего жертвоприношения.

НАКОНЕЦ-ТО! — Данило прикрутил фитиль лампы, в комнате, где

было тихо, стало еще и темно. Адалжиза закрыла глаза. Покуда она спала после обеда, ангел-хранитель прикрывал ее своими крылами, оберегал ее. В этой роли, если вдуматься, выступал сам Данило — кому же как не мужу защищать семейный очаг, охранять жену? Чего только не примерещится со сна!

В спальне же началось такое, о чем она и думать боялась: огненный ангел, распаленный демон сорвал с нее простыню, зашвырнул подальше, стал тянуть кверху ночную сорочку. Он потребовал, чтобы Адалжиза приподнялась — иначе было никак не снять рубашку. Данило говорил тоном, не терпящим возражений, решительно и властно.

Дада приподнялась и подняла руки: малейшее промедление грозило превратить эту властность в ярость. Решив во всем следовать советам крестной, она повиновалась, и рубашка отправилась следом за простыней. Как и вчера, Адалжиза встречала час испытаний голой. Она стиснула зубы.

Данило, разомкнув ее колени, навалился на нее всей тяжестью, целуя пылко, но оберегая по мере сил пострадавшую во вчерашней баталии губу. Адалжиза предоставила ему полную свободу действий, и он постучал в заветные ворота острием копья — а уж какво было оно — огненное, горделиво воздетое, блистательное, ярое, великолепное, — я предоставляю судить благосклонным моим читательницам, ибо выбирать определения подобает тем, кто умеет различать, оценивать и отдавать должное. Вслед за тем со всей решимостью и силой Данило приступил.

Адалжиза с замиранием сердца ожидала этого приступа, готовая все вынести, все стерпеть, проявить самоотречение и стоическую выдержку, не издав ни единого стона и ни на что не жалуясь. Но когда боль сделалась нестерпимой, мудрое это решение позабылось: Адалжиза вскрикнула, дернулась, вцепилась ногтями в спину Данило и даже попыталась укусить его.

Но, не в пример вчерашнему, сегодня ей вырваться не удалось: Данило держал ее крепко и прижимал к кровати. Последовала новая, еще более яростная атака: Данило вовсе потерял власть над собой. Адалжиза, захлебываясь рыданиями, заходясь в крике, умоляла: «Довольно, ради бога, отпусти меня! Я не выдержу больше, я умру, я умираю!» Данило усилил свирепый натиск и наконец овладел ею.

Только безумец, услышав ее крики, подумал бы, что она испытывает наслаждение: разорванная, истерзанная Адалжиза кричала от боли, ничего, кроме боли, она не чувствовала. Она беспрестанно стонала, покуда Данило торопливо и напористо осваивался в новых владениях, входил в свои законные права. И у него вырвался стон, но уж это был стон наслаждения, к

которому не примешивалось ничего больше. Стон сменился победным воем. Теперь и он вскричал, что сейчас умрет, но не умер, а обмяк, опустошенный, и поцеловал Адалжизу. Потом гордо вскинул голову и объявил: «Ты — моя!» Объявил ей и миру.

Воитель покинул наконец-то павшую твердыню. Адалжиза стонала в голос. Данило вытерся простыней: если эта притвора Мариалва, убирая вчера в спальне, удивлялась незапятнанности белья, то уж завтра утром у нее не будет никаких резонов сомневаться и недоумевать: испытание кровью состоялось. Таинство свершилось. Наконец-то! Слава тебе, господи! Уф! Нелегко оно ему далось.

ПОСТСКРИПТУМ — Для того чтобы лучше понять смысл события, о последствиях которого будет вам рассказано в надлежащее время и в нужном месте, прошу учесть два обстоятельства, хоть они на первый взгляд кажутся совершенно незначительными и значения не имеющими.

Сообщу вам, во-первых, воздержавшись от всяких комментариев, что Данило, не удовлетворившись первым, единственным и трудным — а для Адалжизы просто мучительным — обладанием, предпринял, невзирая на мольбы и стоны своей жертвы, вторую попытку, на этот раз продлив себе удовольствие, а потом и третью...

Тут он остановился, но вовсе не потому, что исчерпал все ресурсы или насытился — никто не смеет бросить ему такой упрек! — а чтобы Адалжиза передохнула. Торопиться некуда: впереди целая неделя здесь, в Морро-до-Сан-Пауло, — пляж и постель.

А во-вторых, хочу, чтобы вы знали; распростертая на кровати, обессиленная и неспособная более к сопротивлению Адалжиза продолжала стонать, но стоны ее теперь обрели какое-то иное звучание. Данило прислушался: Адалжиза, закрыв глаза, сложив на груди руки, шевелила губами. Да она молится! Данило улыбнулся: она возносит хвалу господу за свое превращение в женщину, истинную и подлинную, в супругу и возлюбленную. О чем еще она может молиться?

Эх, Данило! Адалжиза еще могла молить Всевышнего принять ее сегодняшнюю жертву во искупление грехов, свершенных за год от помолвки до свадьбы. Больше она не поддастся искушению. Этим разночтением кончается мой «постскриптум».

АЛТАРЬ И ЛОЖЕ — Минуло девятнадцать лет, как пишут в романах, с того незабываемого медового месяца на Морро-до-Сан-Пауло, и как обстоят дела сейчас, читателю известно: Данило шляется по борделям,

чтобы возместить ущерб, причиняемый холодностью жены. Да, минуло девятнадцать лет с той памятной ночи, незабываемой для обоих супругов, а бывший кумир стадионов продолжал сидеть на строгой диете, а верней сказать — на голодном пайке. Разнообразие исключалось. Раз в неделю допускала его Адалжиза до себя, и разве могло удовлетворить Данило это убогое, скудное и строгое расписание, эта классическая позиция, подвергавшаяся в свое время ядовитой критике со стороны просвещенной Марилу, ныне ставшей почтенной и добродетельной сеньорой Либерато Ковас Албуфейра, всецело посвятившей себя благотворительности и другим богоугодным делам. Ну, что ж, пришла пора подвести кое-какие итоги и извлечь из поведанной нами истории мораль. Мораль — первое дело, без морали нечего было и огород городить.

Девятнадцать лет назад, ступив с палубы катера на причал Морро, молодожен Данило пренебрег всеми разжигающими аппетит закусками во имя главного блюда, каковое и сожрал с дикарской грубостью и голодной яростью. И до сих пор не понял, что совершил ошибку, не признался себе в этом, не установил зависимости между курицей и яйцом.

Те острые, пряные, экзотические, непривычные и доставляющие такую усладу кушанья, от которых он отказался в первую свою ночь, не вошли и не могли войти в обиход его супружеской жизни. И, несмотря на все его усилия, все старания, на сладкие слова и яростные требования, на все попытки улестить, увлечь, приказать, ни разу не удалось ему сделать так, чтобы Адалжиза приняла участие в этом пиршестве, чтобы она попотчевала его, фигурально выражаясь, какими-нибудь изысками вроде: «Caviar ou camembert bien fait, merci, cher professeur^[52] Батиста». Она была неумолима: и его не потчевала, и сама не ела, и ничего, кроме скудной обыденщины, уже не приправленной острым соусом новизны — неким *sauce au roivre*^[53] — еще раз мерси, дорогой профессор, — Данило не получал. Смириться с этим ему было нелегко, особенно в первые месяцы брака.

Их нежно-любовные отношения постепенно портились: начались выяснения отношений, взаимные упреки и жалобы, а за ними — ссоры, и, как следствие, возобновились приступы мигрени. Пресловутая гармония супружеской жизни пошла псу под хвост, а с нею вместе туда же чуть было не отправилось и само супружество. Еще там, в Морро-до-Сан-Пауло, после очередного, особенно ожесточенного столкновения Адалжиза, рыдая, заявила:

— Ты меня больше не любишь. Лучше я уеду, вернусь к папе.

Данило опомнился, принялся извиняться, клясться в любви. Сколько раз, на пляже или в постели, ссорились они и мирились, и дело кончалось горячими поцелуями? Сколько раз Данило, путая мягкость с податливостью, принимался просить и сколько раз выслушивал один и тот же ответ:

— Даже думать об этом забудь. Это не любовь.

Распри начались еще в Морро, продолжались и по возвращении, и только самой чуточки не хватало для непоправимого шага. Клятвы и заклинания, мигрень и ревность, которая, как известно, хуже всякой мигрени. Кончилось победой Адалжизы, хоть Данило и отказался окончательно смириться с поражением. Однако жене удавалось держать его в рамках, завещанных доньей Эсперансой и предписанных ее духовником. Надежды на то, что когда-нибудь рамки эти расширятся, не оставалось. Крестная давно уже предупредила Адалжизу, что довольно одного шага, чтобы покатиться в пропасть: «Primer paso, mi hija, es fatal^[54]». Падре Хосе Антонио в тиши исповедальни постоянно призывал ее быть начеку и пресекать любые действия, не имеющие непосредственной целью продолжение рода. Когда священник затрагивал эту деликатную тему, его звучный голос делался низким, хрипловатым, слабел и пресекался — по всей видимости, от стыдливости.

КУКОЛКА — Адалжиза была законопослушна и не отказывалась от исполнения своего супружеского долга. В продолжение медового месяца, неукоснительно, каждую ночь — а иногда и днем, чтобы избежать очередной ссоры: Данило так легко впадал в ярость — принимала она его. Постепенно процедура эта перестала быть такой мучительной, меньше напоминала изнасилование, но и боль исчезла только месяц спустя.

Данило, не удовлетворившись одним оргазмом, приступал ко второй, а иногда и к третьей попытке. Слово «оргазм» Адалжиза узнала, разумеется, от Марилу — от кого же еще? Но одноклассница, дока в сексуальных вопросах, забыла сообщить ей, что испытывать наслаждение способны и женщины.

Исполняя свой долг, Адалжиза отдавалась мужу если не с удовольствием, то, по крайней мере, без сопротивления и с проблесками надежды — нет, не потому, что мало-помалу входила во вкус: сама мысль об этом казалась ей дикой, — а потому, что мечтала забеременеть. Если можно, то сразу. Та блондинка, их попутчица, рассказала ведь, что ребеночек после медового месяца в доме доктора Алмейды рождается ровнешенько через девять месяцев, день в день.

Ни о чем так не мечтала, как о ребенке — лучше девочку. Затем и замуж вышла. Покуда беспутная Марилу крутила романы и перепархивала из одной гарсоньерки в другую, Адалжиза играла в куклы. Этих огромных, говорящих и двигающихся испанских кукол привозил ей из-за границы Пако Перес во времена своего преуспевания — он был любящий и заботливый отец. И покуда Данило млеял и исходил, Адалжиза, покоряясь неизбежности, мечтала о белокурой, розовой, хорошенькой куколке-дочери, и мечта эта умеряла ее страдания во время того, что церковь называла соитием, а бесстыжая Марилу, которая если и лезла в карман за словом, то извлекала оттуда нечто непотребное, — словцом непечатным.

Однако, к вящему разочарованию Адалжизы, в последний день их житья в Морро-до-Сан-Пауло она убедилась, что надежды ее не сбылись. Плохой пророчицей оказалась блондинка с катера, все наврала.

ФАНАТИЧКА — Адалжиза твердо знала одно: для того чтобы забеременеть, вполне достаточно искусства, которому она ежедневно подвергалась, все прочее — от лукавого. После помолвки и даже на катере, мчавшем ее из Валенсы в Морро, она была готова вот-вот уступить соблазну, свершить грех, свернуть на стезю порока. Но жертва, принесенная в эту ужасную ночь, — не в эту, а в ту: ведь пытка длилась две ночи подряд! — искупила грех. Господь, давший ей сил и мужества исполнить обязанность супруги, не оставит Адалжизу, будет поддерживать ее и впредь, дабы не было ущерба для ревностной и богобоязненной католички.

В медовый месяц Данило приходилось довольствоваться тем, что мы назвали «дежурным блюдом», а больше — ни-ни. Так пошло и по возвращении в город, и даже хуже стало. Покуда у Адалжизы еще теплилась надежда забеременеть, ее еще не надо было ни о чем умолять, но когда доктор Элзмир Коутиньо получил результаты анализов, сделанных доктором Бренья Шавесом, и объявил разрывающейся Адалжизе о полном и неизлечимом бесплодии Данило — сам он объяснял его последствиями травмы, Коутиньо квалифицировал как врожденное, — она свела постельные, с позволения сказать, забавы к полному минимуму: отныне они стали не только однообразно-примитивными, но и крайне редкими.

В подобных неблагоприятных обстоятельствах, а встречаются они куда чаще, чем принято думать, на первое место выходит религиозный фанатизм. Впрочем, не обязательно религиозный — может быть и политический: важно, чтобы появились жесткие рамки, неумолимые каноны, не признающие исключений. Они обуздывают, искажают,

извращают, унижают, оскопляют. Это и есть мораль моей истории? — спросит читатель. Да, но не вся. Прошу вас, потерпите еще немного, мы приближаемся к концу этих занудных рассуждений.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА — Я вовсе не хочу приуменьшить значение религиозных догматов в жизни моих героев, но в пылом желании поскорее услышать мораль не стоит даже и спрашивать, не виноват ли в своем несчастье и Данило — образцовый бразильский мужчина?

Адалжиза помнила, каков он был, когда ухаживал за ней, и даже представить себе не могла, каким разочарованием и охлаждением обернется для нее медовый месяц, какие вслед за этим грянут в Баии ссоры, свары, распри, сколько будет пролито слез, выкрикнуто угроз и упреков, не думала она и не гадала, что под угрозой окажется и сам их брак. После одной особенно тягостной сцены, окончательно убедившись, что муж ее не любит, гордо вскинув голову и строго воздев палец, Адалжиза заговорила очень серьезно, намереваясь раз и навсегда положить конец нетерпимому отношению к себе:

— О чем ты думаешь? Как ты осмеливаешься склонять меня к подобным мерзостям? Ты, может быть, считаешь меня уличной женщиной? Проституткой? Уважающая себя женщина никогда не пойдет на такое! Между нами все кончено! Больше я терпеть не намерена! Собирай свои вещи и уходи! — Тогда они еще жили на улице Граса вместе с Пако Пересом.

Сама того не зная, Адалжиза спасла их союз. Данило задумался, глаза у него стали растерянные:

— Я никогда об этом не думал...

Они не разошлись. Данило пообещал держать себя в рамках, поклялся страшной клятвой, что, как известно, труда не составляет. В тот вечер они пошли в кино, на один из тех слезливых фильмов, которые так любила Адалжиза.

Ну, ладно, ограничения были наложены церковью, а холодность, точно броней сковавшая плоть Адалжизы, проистекала, по всем приметам, от того, с какой зверской, палаческой жестокостью обошелся с нею в первую ночь Данило. «Палаческое» — очень сильное выражение, я заимствовал его из известной монографии Грасиэлы де ла Конча Карриль, аргентинской специалистки по психоанализу: как хорошо призвать на подмогу научный авторитет, не правда ли? Вот что пишет это светило сексологии: «Невежество, неуместная и неоправданная властность, деспотизм самца и повелителя, которому не терпится вступить в обладание девственностью,

купленной браком, — вот кто виновен в том, что очень и очень многие женщины проживают жизнь, так и не узнав, какой радостью и наслаждением может одарить их секс» (доктор Грасиэла де ла Конча Карриль. «Фригидность женщины — преступление мужчины», перевод на португальский Фанни Речульской, Сан-Пауло).

Нельзя не признать правоту сеньоры Карриль — несть числа бразильянкам, для которых любовные забавы — это всего лишь постылая обязанность. Они никогда не испытывают удовольствия, им не дано достичь пика наслаждения. Они становятся вялыми, грустными, раздражительными, злобными. Бедные женщины, источник наслаждения, жертвы косных догматов и насилия мужа.

Помните, на катере Адалжиза чувствовала, что искушение овладевает ею, что готова поддаться соблазну? Как знать, будь Данило мягок, ласков и терпелив, ему удалось бы одолеть ханжеское воспитание жены. Бывали такие случаи.

Итак, я высветил обе стороны трагической реальности, и урок, извлеченный из этой истории, может пригодиться кому-нибудь и в наши дни, когда, благодаря противозачаточным таблеткам и движению хиппи, очень немногие невесты сохраняют целомудрие до свадьбы. Молодым мужьям нет нужды взламывать замки, но довольствоваться им приходится разогретым обедом. Но это неважно. Прислушайтесь к моим словам: овладевать девицей надобно мягко, ласково, с величайшим тактом и великодушием. На том я и намереваюсь закончить эту главу о супружестве, которое представлялось столь радостным и счастливым, полным ласк и любовных стонов, а оказалось... Сами видите, чем оно оказалось.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОЧЕВИДНОГО — Ну, надо ли еще что-нибудь объяснять? Что именно? Ах, вас интересует, как Адалжиза спасла их супружеский союз? Но ведь это ясней ясного, это совершенно очевидно и лежит на поверхности. Все еще не поняли?

Она в пылу своих логических построений сказала: «Заниматься этими мерзостями могут только уличные девки». Сказала? Сказала. И вот, сама того не желая, указала мужу надежную пристань, куда он мог бы направить свой едва не затонувший корабль.

И на следующий же день, после четырехмесячного отсутствия, Принц Данило постучался в столь памятные ему двери заведения Фадиньи, помещавшегося на Ладейре-де-Сан-Франсиско: в перерывах между безумствами и забавами парочки сквозь полурастворенные окна верхнего этажа любили глядеть, как вступают под своды раззолоченной церкви

Святого Франциска ревностные прихожане и любопытные туристы.

— Явился, пропащая душа! — встретила гостя Аструд и упала к нему в объятия.

В четверг днем

ОБИТЕЛЬ КАЮЩИХСЯ — Записка была перехвачена. Не успела минутная стрелка башенных часов на Ларго-де-Сан-Педро в шестой раз обойти циферблат, как Манела оказалась в монастыре Лапа, в обители кающихся.

Стены этого аббатства овеваны были недоброй славой: в стародавние времена да еще и сравнительно недавно девицу, свершившую опрометчивый шаг, запятнавшую свою репутацию и честь семьи, заключали туда пожизненно. Считалось, что девица для света умерла и похоронена, к ней не пускали даже рыдающую мать; вытравливалась самая память о преступнице — имя ее не поминалось вслух, портреты уничтожались, облик забывался, словно несчастная никогда и не появлялась на этом свете.

Как ни странно это звучит, но вечное заключение в монастыре было явной уступкой всеобщему смягчению нравов, ибо раньше (в городе — часто, а в сертанах — всегда) такая вина каралась смертью, Смыть позорное пятно с фамильной чести, вернуть ей достоинство и прежний блеск могло только известие о смертной казни, свершенной над навеки проклятой дочерью и негодяем, обольстившим ее неопытность. Самые непреклонные из отцов в жажде правосудия заходили так далеко, что обольститель, перед тем как расстаться с жизнью, терял и мужское свое естество.

Случается такое и в наши дни, хотя не в пример большее распространение получает другой обычай: отец учтиво принимает у себя мимолетного дочкиного ухажера, кормит его, и поит, и провожает к ложу, не беспокоя лишней раз ни судью, ни священника. Времена меняются, прежняя суровость теперь не в ходу, но бывают и исключения: в угоду последним твердокаменным ревнителям нравственности и не закрыт покуда монастырь Лапа. Что же касается Манелы, то с ней ничего непоправимого не произошло, и поместили ее в обитель временно, а не навсегда. «Как только выбросит из головы свои бредни, как позабудет этого шелудивого пса, эту макаку Миро, так и вернется домой», — сказала ее тетушка игуменье.

Когда же двери монастыря затворились, на реснице Адалжизы повисла слеза, но она поспешно утерла ее, пока падре Хосе Антонио не заметил

проявления такой непростительной слабости.

РАЗОРВАННАЯ ЗАПИСКА, — Никакой случайности тут не было: сам господь вел и направлял Адалжизу, когда в туалете, за унитазом, она увидела клочок бумаги, обрывок любовного письма — можно было разобрать слова. Наверняка Манела выронила его в ту минуту, когда, разорвав и скомкав записку, бросала ее в унитаз и спускала воду, чтобы навеки уничтожить свидетельство преступного замысла.

— Боже милостивый!

Адалжиза узнала почерк негодяя Миро. Комната племянницы регулярно подвергалась тщательному обыску, была обследована пядь за пядью, и в результате отыскались письма и записки проклятой макаки — только так называла Адалжиза Мироэла да Нативидаде, который для всех на свете был просто Миро, а письма к Манеле подписывал: «Твой будущий и любящий муж Мириньо». Уверившись в том, что влюбленные замыслили побег при поддержке Дамианы и других соседей, с ведома и благословения тетушки Жилдеты — список соучастников был бесконечен, — Адалжиза всецело посвятила себя поиску следов, улик и доказательств, решившись любой ценой, во что бы то ни стало и чего бы ни стоило, добром или силой помешать исполнению дьявольского плана.

Добром не выходило. Ни к чему не привели беседы, советы, предупреждения, нотации и даже просьбы — вот до чего ее довели. Манела замыкалась во враждебном молчании, не удостоивала тетку даже словом в ответ. Только когда Адалжиза, всплыв, назвала Миро шелудивым псом и макакой, не повысив голос, ответила: «Я люблю эту макаку, я выйду замуж за этого шелудивого пса, нравится вам это или нет». Ну, конечно, Адалжиза, измученная очередным приступом мигрени, не сдержалась, вскипела. Племяннице стало ее жаль, она обняла страдальницу: «Что угодно, тетя, только не это, я люблю его».

Меры устрашения и принуждения тоже не помогли, тем более что нельзя было пустить в ход испытанное средство — плетку. После праздника Спасителя Бонфинского, после того четверга, открывшего Адалжизе глаза, она попыталась было применить плеть, чтобы все расставить по своим местам, и не смогла. Словно бы разучилась она искусству порки и взбучки, словно силы ее вконец покинули, но рука как свинцом налилась, пальцы разжимались сами собой. Ну, а без плетки мало что удавалось сделать: она запирала Манелу в комнате, запрещала ей видаться с одноклассницами и подружками, сама провожала или отправляла Данило провожать до самых дверей Летнего института, и у тех

же дверей встречала, и ни на минуту не забывала, что отвечает за непорочность племянницы перед господом богом и судьей по делам несовершеннолетних. Покуда Манела под ее защитой, она не даст ей погибнуть и пропасть, а другими словами — спознаться с этой макакой, с чернокожим самого дурного пошиба и последнего разбора, с таксистом. Выйти замуж без позволения своих опекунов Манела не могла.

Миро был владельцем автомобиля, подержанного «ДКВ», — ну и что из этого? Все равно он проходимец и плебей. Адалжиза хотела бы выдать Манелу за человека положительного и основательного и хорошо бы — образованного, добившегося в жизни успеха или хоть делающего карьеру — такого, словом, чтобы вознес семью на новую высоту. Для того она ее и воспитывала в строгости и послушании — и так далее, вы это все знаете. И в ожидании подходящего претендента на руку и сердце Манелы, она, Адалжиза, самоотверженно оберегала ее от всякой пагубы, не давала стать такой, как все эти выродки, которые распустились до самой последней степени и по части распутства могут поспорить с проститутками, причем еще и победят в этом споре, ибо отдаются бесплатно. Тетушка переворачивала все ящики и шкафы, отыскивая противозачаточные пилюли.

Сжимая в трепещущей руке обрывок записки, Адалжиза спросила себя, не поздно ли спохватилась, не произошло ли уже непоправимое? Может быть, еще успеет предотвратить катастрофу, если будет действовать быстро и споро. Слава богу, успела: клочок бумаги, господним промыслом найденный в сортире, содержал сведения о предстоящем побеге — день и час. Макака будет ждать с машиной сегодня в семь часов вечера. Шелудивый пес не любил, как видно, околичностей и иносказаний: «Сегодня, любовь моя, ты познаешь высшее счастье, и у нас будет чудесная ночь. Больше нельзя покоряться этой...» Кому «этой»? Нетрудно было угадать: Миро называл жизнь Манелы рабством, а ее, тетущку и опекуншу, — кровопийцей и палачихой.

Никто как бог не мог помочь Адалжизе при таком стечении обстоятельств. Разве не он дал ей увидеть обрывок бумаги? Личным, доверенным и полномочным представителем господа бога в городе Баия Адалжиза считала своего духовного отца и исповедника падре Хосе Антонио Эрнандеса, а потому торопливо оделась и побежала к нему. Так спешила, что даже не выпила отвар шиповника, помогавшего от мигрени, которая между тем разыгрывалась не на шутку.

Адалжиза вынашивала две мечты. Одна была давняя — иметь собственный дом. Во исполнение ее она ежемесячно делала в «Банко

Экономико» взнос на некую сумму, которую доставляло ей ее искусство модистики. Вторая мечта родилась в январе: увидеть макаку и шелудивого пса Миро за решеткой. Во исполнение этой мечты она каждый вечер читала по две молитвы — раз «Богородице», раз «Отче наш». Адалжиза свято верила в проценты годовых и в неизреченную милость господню.

СУДЬЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ — В тот же четверг, ближе к вечеру, Адалжизу, сопровождаемую падре Хосе Антонио, принял и рассудил по справедливости доктор Либерато Мендес Прадо д'Авилла, судья по делам несовершеннолетних.

Перед этим в пышно убранной ризнице недавно отреставрированной церкви Святой Анны — «какое чудо!» — восхищались святоши; «что за мерзость!» — поражались художники — Адалжиза поделилась со священником своими опасениями, попросила дать совет, как пресечь зло в зародыше и оказать помощь. На карту поставлены честь питомицы и доброе имя опекуниши.

Падре Хосе Антонио выслушал ее молча, опустив голову, закрыв глаза: грехи любостраегая задевали его за живое до такой степени, что он переставал владеть своим лицом и голосом. Потом задал несколько вопросов: из чего заключает тетушка, что племянница ее еще не пала; как далеко успела пройти она по стезе порока? «Не пала, — отвечала Адалжиза, — и даже не особенно нагрешила, потому что я держу ее на коротком поводке». Что делать? Предупредить побег, назначенный на сегодняшний вечер, нетрудно: достаточно запереть Манелу у нее в комнате, не выпустить из дому, как вся интрига рухнет. Но дальше-то что?

Адалжиза готова даже забрать ее из коллежа, но ведь и эта крайняя мера ни к чему не приведет, да и нельзя же круглые сутки держать ее под домашним арестом. Что скажут соседи? Пойдут толки, прознает тетушка Жилдета, поднимет крик, устроит скандал. Где спрятать Манелу на срок, достаточный для того, чтобы она избавилась от соблазна, сделалась нечувствительной к уловкам, сама решила покончить с этой глупой влюбленностью, прогнать своего таксиста, забыть черномазого? Манела избавится от нависшей над нею опасности, а Адалжиза — от непосильного бремени ответственности, ибо в последнее время у нее не жизнь, а попытка: еще немного — и ее свезут в психушку.

Получив ответы, долженствовавшие облегчить ему решение, миссионер с едва заметным разочарованием поднял голову, открыл глаза, и голос его, приводящий святош в восторженный трепет, зазвучал проникновенно, торжественно и утешительно. Господь наш вседержитель

со своего небесного престола взирает на тяготы усерднейшей овечки в стаде своем, готовой на любые жертвы во имя неуклонного соблюдения предписаний святой нашей матери церкви. Но пусть она не отчаивается, ибо он, падре Хосе Антонио, исполняя господню волю, — здесь, рядом с нею, и вместе они порушат замыслы врага, одолеют его, спасут если не все целомудрие Манелы, то хоть большую его часть — «боюсь, что уже нечего спасать», — подумал он, но говорить этого не стал, незачем. Итак, руководить трагикомической операцией по срочному прекращению любви Манелы к Миро вызвался во имя господа нашего падре Хосе Антонио. Этот охранитель добродетели теориями не ограничивался.

— *Quedate tranquila, mi hija, el honor de Manela esta en las manos de Dios*^[55], — он говорил с Адалжизой по-испански: если бы не сарацинская пышность форм, она сошла бы за чистокровную валенсианку.

Господь сию минуту подсказал ему верное решение. В монастыре Лапа Манела будет в полной безопасности от каких бы то ни было посягательств и соблазнов. Там, в тиши обители, в непосредственной близости к Всевышнему, рядом со святыми сестрами, она, новая невеста Христова, сможет все обдумать спокойно и понять, до какой степени порочит ее это увлечение. Очень скоро Манела с негодованием отвергнет проходимца и возблагодарит тетушку, вернется домой просветленная и очищенная. Больше с нею хлопот не будет.

— В «обитель кающихся»?

— *Si, mi hija, es local propio para la penitencia y el convencimiento*^[56].

Он сам переговаривает, не откладывая, с матерью игуменьей. Поскольку речь идет о несовершеннолетней, надо будет получить разрешение судьи, но доктор д'Авила несомненно поймет опекуницу и поддержит ее — он истинный спартанец, столп морали.

Спартанец, столп морали, спаситель сбившегося с пути юношества, неустанно бичующий порок, доктор д'Авила не тратил времени на то, чтобы гладить детишек по головке, ибо не покладая рук подписывал приказы о направлении малолетних злоумышленников в колонии и исправительные дома, поставляя этим образцовым школам преступности и вандализма новых и новых учеников. Его коллега и во многом полная противоположность, доктор Агналдо Баия Монтейро отзывался о нем крайне неодобрительно: «ретроград, реакционер, фашист». Его жена, донна Диана Телес Мендес Прадо д'Авила, уже появлявшаяся в нашем повествовании под именем Силвии Эсмералды, неприлежной вольнослушательницы курса истории театра и актрисы-любительницы,

сообщала задушевым подругам, что кроме старинной аристократической фамилии муж ее обладал двумя главными добродетелями — ослиной тупостью и страстью к порядку. Все прочие его особенности, как то: злобный нрав, лицемерие, заискивание перед высшими и грубость по отношению к низшим, пустопорожнее красноречие, хвастовство и ветвистые рога — были лишь следствием.

Падре Хосе Антонио представил ему Адалжизу как женщину благочестивую, набожную и добродетельную, лучшую овечку в господнем стаде, несущую тяжкий крест — воспитывающую взбалмошную племянницу-сироту. Судья попросил опекуншу изложить дело, выслушал ее с видом строгим и значительным и отнесся с полным пониманием и сочувствием. Распоряжение было отдано. Манела пробудет в монастыре столько времени, сколько сочтет нужным ее тетушка и воспитательница, и никто из прочих ее родственников, а тем паче знакомых или соседей не вправе оспаривать это решение и опротестовывать его.

Что же касается распутника-таксиста, судья с большим удовольствием засадил бы его в тюрьму, если бы удалось доказать факт растления. Но фактов, к сожалению, нет. Тем не менее его вызовут и предупредят, какой опасности он себя подвергает. Дадут ему острастку, вправят мозги.

ФАЛАНГИСТ — Сам бог послал Адалжизе падре Хосе Антонио незадолго до кончины доньи Эсперансы, и миссионер почел своим долгом довершить труды, начатые ею, — воспитать дочку Франсиско Пе-рес-и-Переса непримиримой и ревностной католичкой, сделать из нее истинную испанку, всегда готовую противостать неверию и идолопоклонству.

Падре было чуть за тридцать, когда Ватикан послал его вместе с другими священнослужителями в Латинскую Америку, где устои веры расшатались, а доктрина подверглась порче и ущербу, где языческие ритуалы стали одолевая тайнства христианства. Хосе Антонио был ярым фалангистом, несшим непогрешимые истины, изрекаемые римским папой своим новым землякам, а баиянцам испанского происхождения — вдобавок непререкаемые распоряжения генералиссимуса Франко. После окончания войны, после мученической и героической гибели Гитлера и Муссолини доверие к испанцам, родившимся в Бразилии или переехавшим туда, поколебалось: их верность святому делу стала ослабевать, поток пожертвований — мелеть; снова подняла голову республиканская сволочь. Падре привез с собою лозунги, некогда звучавшие на улицах Валенсии: «¡Viva el Cristo Rei! ¡Arriba Espana!»^[57]

Были в его баиянской жизни и впечатляющие победы, и поражения,

которые, однако, не смущали его закаленную гражданской войной душу. Среди затеянных им кампаний и битв с могущественными противниками две заслуживают упоминания на этих страницах, упоминания и комментария. Так мы убьем двух зайцев: сообщим вам кое-что о герое, а заодно предоставим новые сведения о городе Баия, ибо все, что происходит в нем, представляет интерес для всего человечества.

Строительство новой церкви Святой Анны в квартале Рио-Вермельо! Настоящая эпопея! Блистательная победа! Рядом с убогой часовенкой, до той поры служившей для мерзопакостных радений кандомбле и уличных празднеств, воздвигся величественный храм в честь матери Приснодевы. Блистательная победа, увенчавшая шесть лет непрерывных хлопот и усилий! Блистательная, но неполная, ибо падре мечтал выстроить храм на обломках часовни, стоявшей посреди Ларго-де-Сант'Ана.

Не удалось. Кардинал не оказал необходимого содействия, не позволил снести часовню. Орава безответственных интеллигентов, действующих по указке Москвы, подняла в газетах протестующий вой: Педро Моасир Майа сочинил подкрепленную документами статью об истории Ларго и часовни, поэт Валли Саломон напечатал бранную оду. Им удалось отстоять церковку, милую сердцу горожан, запечатленную на полотнах Жозе де Доме, Виллиса, Кардозо-и-Силвы, Лисидио Лопеса. Что из того, что она не представляет исторической ценности — это достояние народа Баии, такого же бедного, такого же безыскусного, как и она. Курия заколебалась, кардинал умыл руки, и часовенка по сию пору стоит на Ларго во всей своей простодушной прелести, служа и добрым католикам на празднике Святой Анны, и тем, кто пришел почтить царицу вод Йеманжу.

Делать было нечего. Новая церковь, грандиозная и помпезная, вознеслась чуть поодаль, на углу Ларго-де-Сант'Ана и Ларго-де-Марикита. Место тоже было самое подходящее, монументальное здание храма — так полагал падре Хосе Антонио — должно было сокрушить находящееся у него под боком святилище Йеманжи. Народ нес к ее алтарю дары, оттуда отплывали челны Царицы Вод, когда наступило 2 февраля, день Жанаины, Инаэ, Сирены Мукунан, Дадалунды, Марабо, Принцессы Айоки — много имен и титулов у Йеманжи, невесты и жены рыбаков и мореходов.

Падре Хосе освятил свою церковь: торжественный молебен отслужил сам кардинал, присутствовали командующий округом, адмирал — командир военно-морской базы, бригадный генерал — начальник авиабазы, губернатор штата и префект, «вся Баия» и, разумеется, вся испанская колония. Церемония была достойна Испании генералиссимуса. Адалжиза в черной мантилье, опираясь на руку Данило, ликовала. Ей достались

перламутровые четки — приз тому, кто собрал больше всего пожертвований на постройку храма. Конкурс придумал, разумеется, сам падре, а его прихожанки устраивали благотворительные базары, лотереи-аллегри, ярмарки.

А через неделю окрестное простонародье и весь чернокожий сброд во главе с Флавиано явился, чтобы под звуки барабанов и песнопения на языке йоруба торжественно отпраздновать открытие статуи Царицы Вод, изваянной Мануэлем де Бонфин, чья мастерская — неслыханное поношение, вопиющее святотатство! — вплотную примыкала к церкви, В воскресной проповеди падре Хосе Антонио с гневом обрушился на осквернителя святынь.

Адалжиза воззвала к его помощи в то самое время, когда ревнитель благочестия вел затяжные и кровопролитные бои на других рубежах. Падре задался целью уничтожить языческое капище, террейро Энженьо-Вельо, самое старое и почитаемое — иные ученые ведут его летосчисление с 1830 года, но кое-кто полагает, что существует оно уже лет триста, а то и больше. Точно никто не знает. Падре решил задеть струны алчности и спеси в душе тех, кто владел в Баии землей и недвижимостью: на вершине холма — «Белый Дом», а внизу, к авеииде Васко да Гама, причаливает челн Ошуна с волшебным грузом. Сколько места пропадает зря — ведь там свободно можно выстроить полдесятка небоскребов.

И тотчас, как по волшебству, выросла там бензоколонка, скрыв от глаз прохожих челн Ошуна, и пошли толки, что вся земля тут будет поделена на участки и распродана, а террейро уничтожено вместе с домами «посвященных» — жрецов Ошала и Эшу. Но опять всполошились проклятые интеллигенты — слуги сатаны, агенты Кремля, — опять забили тревогу в газетах, и мало того что сумели отвести нависшую над капищем опасность, но еще и предложили Историческому фонду взять его под свою защиту — это, мол, священная земля, историческая реликвия, символ борьбы негров против рабства. «Видана ли такая наглость? — поражался падре Хосе Антонио. — Ставят на одну доску африканские радения и церковь Святого Франциска, монастырь Кармо и кафедральный собор Спасителя Бонфинского?!» Протестуя против такого поношения, падре писал письма в газеты, взывал к помощи гражданских и военных властей, больше уповая, конечно, на военных, произносил громовые проповеди, пытаясь поднять в Баии, в краю миражей и чудес, порядком полинялые стяги Фаланги.

В этой двусмысленной стране, невзирая на все его старания, все меньше становилось твердокаменных и непримиримых фанатиков.

Ужасные пришли времена — времена нигилизма и вседозволенности: священнослужители вместо сутаны напялили джинсы, заменили латынь португальским, взяли себе в союзники не богатых, а бедных, восстали против обета безбрачия, якшаются с коммунистами. Но падре Хосе Антонио Эрнандес оставался верен фашизму и догме. Он свято хранил свою чистоту, что давалось ему, видит бог, нелегко. Во сне приходили к нему Далила, Саломея, Мария Магдалина, жена Лота, царица Савская, и последствия подобных сновидений пятнали его холостяцкие простыни. Снилось падре Эрнандесу и Адалжиза.

ОБЕТ — Перед самым замужеством постигли Адалжизу две невосполнимые утраты: одна за другой переселились в лучший мир родная мать и крестная — донья Эсперанса. На оглашении монсеньор Садок помянул покойниц, земля им пухом. Двойная сирота затянутой в белую перчатку рукой утерла слезу, горько сожалела о потере. Впрочем, смерть крестной она пережила острее, чем кончину Андресы.

Из этого вовсе не следует, что она была дурной дочерью, что не оплакивала мать. У гроба Андресы билась она в истерических рыданиях, словно чувствовала себя виноватой неведомо в чем, пена выступила у нее на губах. Странная она была, на себя не похожая.

Совсем не так вела она себя после скоропостижной кончины крестной, по-другому скорбела и горевала. Опустившись на колени в изголовье гроба, Адалжиза молилась, перебирая четки, время от времени отдергивая покров, вглядывалась в лицо усопшей, не вытирая слез, струившихся по щекам. С того дня как донья Эсперанса отнесла ее к купели, она не оставляла крестницу своими заботами: научила ее складывать пальцы для крестного знамения, читать «Отче. наш». Научила и тому, как мастерить шляпы, украшать их аппликациями, и кружевами, и искусственными цветами. Но самая главная ее заслуга состояла в том, что она указала Адалжизе верный путь в жизни, воспитала ее, сделала из нее порядочную женщину. Даже в бедности, даже на авениде Аве Мария Адалжиза оставалась сеньорой. Она гляделась в зеркало доньи Эсперансы, она сверяла по ней каждый свой шаг, ибо крестная завещала ей не опускаться до черни, сторониться ее, даже если придется добывать пропитание в поте лица своего. «Я всем ей обязана!» — часто повторяла крестница, вспоминая крестную. Она была благодарна родной матери за то, что та подарила ей жизнь. Не знала она, однако, что произошло это дважды, что она родилась и воскресла.

Андреса и Адалжиза никогда не были особенно близки, а с годами отчуждение это усилилось. Зато младшая дочь, Долорес, постоянно

держалась за материну юбку, помогала ей по хозяйству, всегда ходила с ней в гости к бесчисленным родственникам и друзьям, выполняя сложный ритуал семейных праздников, дней рождения и именин. Не расставалась она с Андресой и когда та выполняла свои обязанности в день Шанго, на пиршестве в честь святых Косьмы и Дамиана, на кандомбле — всюду была она ее неизменной спутницей, верной подружкой, любимой дочерью. Вместе с тем Андреса относилась к Адалжизе как-то по-особенному, с неким почтением и уважением, словно по таинственной причине старшая дочь заслуживала ревностного попечения и неусыпной заботы.

Большую часть времени проводила Адалжиза в маленькой квартирке крестной — там же помещалась и ее мастерская, — расположенной в одном из домов, выстроенных на склоне холма: четыре этажа над улицей, четыре — под. К донье Эсперансе солнце заглядывало только рано утром, но зато вокруг бурлил самый аристократический квартал Баии — Граса.

Андреса и Пако Перес сыграли свадьбу скромно — не было ни объявления в газетах, ни приглашенных по списку. К этому времени они прожили вместе уже лет десять, подрастали две дочери, и вдруг коммерсант, чудом избежавший гибели в автокатастрофе, решил освятить таинством брака свою незаконную связь, чтобы в случае его смерти возлюбленная и дочка не остались без средств и без прав на наследство. По этому случаю и созвали человек пять ближайших друзей. Но чудесное спасение было только предлогом: Пако без памяти любил свою Андресу еще с той поры, когда она была ослепительной пастушкой в карнавальном представлении «цветок одиночества». Пако пленился ею сразу — и навсегда. Он распутничал направо и налево, не зная ни меры, ни отказа, ни удержу, налетал на свою жертву как коршун и разжимал когти не прежде, чем пресыщался. Однако в случае с Андресой все вышло наоборот: ему пришлось приложить немало усилий, чтобы обольстить эту негрятяночку, явившуюся ему в карнавальном одеянии из шелковой бумаги, с фонариком в руке на празднике волхвов. А Андреса, увидав случайно, что Пако загляделся на Эсмералдину, разбушевавшуюся в круговой самбе, чуть было не послала его к черту — с этим прожженным волокитой такого еще не случалось.

Связь с человеком белым и богатым не заставила Андресу позабыть о людях черных и бедных: она продолжала ходить на кандомбле, выполнять свои обязанности по отношению к богам и людям. В тот самый день, когда Пако познал ее, Андреса окончательно сговорилась с матушкой Аиньей, что выбреет себе голову, примет богиню Иансан, станет ее жрицей. Так она и сделала, оставив Пако в дураках и считая дни, оставшиеся до ее

посвящения. Одного только не учла Андреса: под сердцем у нее уже зародилась новая жизнь — плод любви к испанцу, который соблазнил ее и снял ей квартиру. Да, Андреса уже носила Адалжизу, а когда поняла, что к чему, было уже поздно: голова выбрита, тело расписано, ритуальные омовения свершены. Отныне Андреса принадлежала грозной Иансан. И ее еще не рожденное дитя — тоже. В праздник Иансан, на радении в ее честь, два раза подпрыгнула Андреса, два имени выкрикнула — свое и дочкино. Так свершилось посвящение Адалжизы.

Когда она была еще маленькой девочкой и ей исполнилось семь лет, Андреса в подробностях рассказала ей обо всех обстоятельствах, предшествовавших ее рождению, и объяснила, что такое «посвященная». Через несколько лет она вернулась к этому разговору, особо подчerkнув, что «посвященная» душой и телом принадлежит божеству, которому дали обет, а потому, если хочет выжить, должна платить некий выкуп — выполнять определенные обязанности. Адалжиза и слушать не захотела, пропустила мимо ушей и грозящую ей опасность, и все тонкости «посвящения». Первое, а за ним и второе семилетия миновали благополучно, но одна только Андреса знала, каких жертв ей это благополучие стоило! Когда Адалжизе стукнуло четырнадцать, мать снова попыталась объяснить ей, какому риску она подвергается, и снова Адалжиза отмахнулась: другим богам она поклонялась, другие обязанности выполняла, другая была у нее вера. Мать не решилась открыть ей главную тайну: третье семилетие может кончиться смертью. Адалжиза чувствовала себя испанкой с головы до ног, реликвиями были для нее лишь распятие да терновый венец, а фетиши и суеверия она глубоко презирала.

Так никогда она и не узнала о том, что в канун рокового дня — Адалжизе исполнялся двадцать один год — Андреса, желая отвести удар от дочери, предложила беспощадной богине Иансан свою голову взамен Адалжизиной. В день своего совершеннолетия Адалжиза обнаружила мать мертвой. Подоплека ее гибели ей не открылась, и слово «посвященная» ничего ей не говорило.

И все-таки бывали в ее жизни минуты, когда она ощущала чье-то бесплотное присутствие, словно чья-то тоскующая тень кружила над ней. В тот четверг, когда она повела Манелу в монастырь Лапа, где их уже ждал падре Хосе Антонио, — Манела ничего не подозревала, ибо тетушка имела обыкновение, отправляясь к заказчицам, брать ее с собой, чтобы показать, как живут и что носят богатые люди, — ей все казалось: кто-то идет рядом, берет ее за руку, не дает шагать легко и свободно. Почему это вдруг пришла ей на ум покойница Андреса? А кому ж как не ей, Адалжиза? Уж не мачехе

ли твоей, не донье ли Эсперансе, предстать перед тобой со словами: «Дурную траву с поля вон, ты правильно поступаешь, доченька».

Надобно заметить, что хоть Андреса выкупила своей головой голову дочери и Адалжиза осталась жить, но, как и всякая «посвященная», полной воли не ведала, и свобода ее действий была весьма ограничена. Если «посвященный» ревностно и исправно свершает, что предписано во славу божества, то он человек как человек со всеми человеческими радостями и удовольствиями. Ну, а если отказывается признать свое положение, если не соблюдает заповедей и правил, если вкушает запретную пищу, ему вовек не знать мира и душевного покоя, не ведать радости, мучиться до гроба от разнообразнейших хворей и недомоганий, и прислушиваться только ко всякой пакости, и возиться только со всякой гадостью. Мужчину еще в самом цвете лет постигнет злое бессилие, и проку от мужских его достоинств не будет никакого, и сами эти достоинства сделаются самого жалкого и неприглядного вида. Женщине никогда не почувствовать влаги вожделения, вечно пребудет лоно ее сухо. «Посвященный», отрекшийся от своего божества, бродит по белу свету как все равно слепой и глухой, словно и не человек вовсе — чудовище, зомби, робот, а вместо сердца лежит у него в груди камень.

ФЛИРТ — Падре Абелардо не успел переступить порог Театрального училища: Патрисия как раз выходила из дверей. Она бросилась ему на шею, расцеловала в обе щеки да еще и погладила ладонью. А потом, обращаясь к своей спутнице, сказала:

— Что я тебе говорила, Силвия? Вот он и пришел!

Она не выпускала его из объятий: груди ее под батистовой блузой прижались к груди священника, уже успевшего снять положенные его сану целлулоидный воротничок и нагрудник. Был падре Абелардо в джинсах и расстегнутой рубашке. Из автомобиля нетерпеливо махала им Нилда Спенсер: скорей, опаздываем, обед в час, все уж, наверно, давно собрались. Патрисия потянула Абелардо за собой:

— Поедем с нами. Влезай.

Миро, сидевший за рулем «ДКВ», не глушил мотор. Рядом с водителем сидели Нелсон Араужо, державший в руках стопку отпечатанных на машинке листков, и еще какая-то пышноволосая и растрепанная дамочка самого хиппового вида в узком и коротком индийском сари, задранном много выше колен. На заднем сиденье находилась вышеупомянутая Нилда, а подле нее развалилась Силвия.

— Влезай, — повторила Патрисия. — В тесноте да не в обиде, да и

ехать недалеко. Подвинься, Силвия, пусти нас...

Кое-как разместились все четверо — Патрисия бочком, — Миро, нажав на клаксон, сыгравший «Кукарачу», подал сигнал к отправлению. Развернулся, помахал кому-то на прощанье и рванул с места. При въезде на Кампо-Гранде резко вильнул в сторону, объезжая выбоину, и Патрисия от толчка повалилась прямо на падре Абелардо.

Начались представления:

— Познакомьтесь: падре Абелардо Галван — наш сертанский Робин Гуд. А это Нилда Спенсер, в рекомендациях не нуждается...

— Благословите, отче, — пошутила Нилда, протягивая священнику руку.

— Рядом с тобой — Силвия Эсмералда, моя подруга по театральной школе. Впереди — наш директор Нелсон Араужо, мой второй отец, и Арлета Соарес, она живет в Париже. Водитель — небезызвестный Миро.

— Ну, падре, как ваши партизанские бои? Много еще имений захватили? — Нелсон счел обязанностью воспитанного человека завести разговор, продолжая в то же время листать свою машинопись. Тут ему в голову пришла новая мысль, и он сменил тему и собеседника: — Нилда, а что, если нам чередовать интервью наших знаменитостей с музыкальными номерами, а?..

— Пусть Жак решает. Ему видней.

Арлета Соарес, запустив пальцы в свою всклокоченную гриву так, словно хотела растрепать ее еще больше, уставилась на Абелардо разинув рот:

— Скажите, вы не родственник ли такого падре Герберта из Мюнхена? Герберт Хейель. Вы так на него похожи, так похожи... Ну, вылитый... Я с ним в Париже познакомилась, — пояснила она остальным, — вот такой парень! Он стажировался в Сорбонне. Знаете, о чем он пишет? «Театр Брехта»! Умора, ей-богу! Когда приезжает в Париж, останавливается всегда в Сите...

— Не в твоей ли квартирке он останавливается? — По ярко намазанному лицу Силвии скользнула простодушная улыбка, — Он ведь твой *petit ami*^[58], разве нет?

— Ну, а если и так, что с того?

— Нет, во мне нет ни германской крови, ни испанской, — сказал Абелардо, — я родился на самой уругвайской границе. Я кое-что слышал о «рабочих-падре», кое-что знаю о них. Толковые ребята.

— Расскажи-ка нам, Арлета, о своем возлюбленном, — никак не успокаивалась Силвия.

Миро, не снижая скорости, круто свернул, и Патрисия, которой не за что было держаться, снова соскользнула с сиденья, а потом совершенно естественно и непринужденно уселась к Абелардо на колени. Никто не обратил на это никакого внимания, кроме него самого, — господь подвергает его новому жестокому искусу. Полноте, падре Абелардо: уж так ли жесток этот искус?!

Машина мчалась; Патрисия уселась поудобнее, прижалась к Абелардо, стиснула его руку, ее длинные распущенные волосы щекотали ему щеку. Силвия и Арлета оживленно щебетали. Нелсон Араужо погрузился в чтение. Миро рулил по Ладейра-до-Конторно. Падре замер и онемел. Для того чтобы описать его жар и холод, смятение и разброд, ощущение разверзшейся под ногами бездны, выражения «жестокий искус» мало. Ей-богу мало.

УТРЕННИЙ РАЗГОВОР — Олимпия позвонила в неурочное время, прямо в школу, и хорошо, что в преподавательской никого не оказалось: беседа Силвии Эсмералды и Олимпии де Кастро, двух локомотивов «high society», закадычных подруг, наперсниц и сообщниц, никак не предназначалась для посторонних ушей. Силвия родилась на свет божий, чтобы выслушивать и хранить чужие любовные тайны, быть поверенной всех подробностей — встречи первой, встречи прощальной, упоения, страдания и охлаждения.

Каждое утро, перед тем как приняться за дневные дела, подружки подолгу разговаривали по телефону: перетряхивали грязное белье, перемывали кости знакомым, злословили насчет скандальных историй, уже ставших достоянием гласности или пока еще державшихся в секрете — недостающие факты с лихвой возмещало воображение, — судачили, выдвигая гипотезы и приводя неоспоримые доказательства своей правоты. Жизнь высшего общества представала как на ладони. Со смехом, со вздохом, с невнятным восклицаньем делились чувствительные и распутные соратницы известиями о собственных приключениях — об интрижках Олимпии, о романах Силвии. За откровенность платили откровенностью; затрагивались сюжеты рискованные, темы волнующие; сообщали друг другу об особенностях, дарованиях, сноровке и оснастке своих кавалеров, об их моральных качествах и физических данных — и обо всем самом сокровенном говорилось, как принято ныне у наших дам, без недомолвок, ясно и точно. Помирали обе со смеху. Давали добрые советы: «Не пропусти, милочка, случая. Телесфоро недаром называют колибри, у него божественный язык, такие сосуны рождаются раз в сто лет». Или: «Знаешь

ли, дорогая, когда Гилбертино разоблачился, я даже испугалась: думала, не поместится. Не мужчина, а натуральный конь. — Поместилось? — Еще как!» В таких вот увлекательных и поучительных беседах, пересыпанных терминами, которые мы здесь приводить остережемся, протекало обыкновенно их утро.

На одном конце провода — пикирующий бомбардировщик Олимпия, на другом — Силвия, «чертово колесо», как метафорически выразился один из первых ее любовников, поэт Жока Тейшейра Гомес: он тогда еще учился в гимназии, а она только-только вышла замуж. Сравнение смелое и не лишено потаенного смысла: поэтический образ — штука темная и загадочная, как каббалистика. Другой поэт, Пауло Жил, назвал ее «группой ударных». Вот вам еще два имени из не собранной пока «Антологии баианской поэзии», и, судя по стонам и вздохам Силвии Эсмералды, круто взмывавшей в их объятиях к пику блаженства, оба — поэты большого дарования.

МАЛЬЧИКИ — Кому же как не Силвии, жене судьи по делам несовершеннолетних, ознакомить было Олимпию с таким изысканным лакомством, как подростки?! Подруга очень скоро превзошла свою наставницу, сделалась самой крупной специалисткой в этом вопросе, посвящала жизнь тому, чтобы знания употреблять и углублять. Именно! В самом звучании этих слов сокрыта истина.

Мальчики были полны единственного в своем роде очарования, но зато во многом скованы, а многим ограничены: ограничены временем и скованы отсутствием денег, ибо целиком зависели от расписания уроков и от того, что им давали на мороженое. Что ж, вывернуться наизнанку, чтобы устроить в самом неподходящем месте самую неожиданную встречу, — беда небольшая. А незаметно сунуть в кармашек пятисотенную даже приятно. Хуже было с их еще не устоявшимися характерами. Вот это мука мученическая! Никакого сладу с ними: все — ужасные собственники, ни с чем не желают считаться, грубят, дерзят, своевольничают, и настроение меняется ежеминутно. Что с них возьмешь — дети! Если кто-либо из мальчишек, начиная считать себя незаменимым, делался совершенно невыносимым. Силвия передавала его Олимпии, и наоборот: обмен любезностями и любовниками был у них в ходу.

Вот, например, изголодавшийся семинарист Элой, чей отроческий аппетит разжигали зрелые прелести Олимпии, проводившей с ним свободное время, вовсе от рук отбился, с каждым днем становился все требовательней и безрассудней. Ясно ведь было ему сказано, что

назначенное на четверг свидание состояться никак не может — прилетает из столицы сенатор, готовый подписать заказ: долг супруги прежде всего! — так нет, мальчишка все-таки позвонил из архиепископского дворца и тихой скороговоркой, боясь, очевидно, как бы не застучали, сообщил, что будет ждать на условленном месте и что он ее любит. «На каком еще условленном месте, о чем ты?» — «Я буду там и в тот час, как ты написала», — сказал он и тотчас бросил трубку, оставив Олимпию в растерянности и смущении. Она не писала записки, не назначала место и время, все это его мальчишеские хитрости для того, чтобы заставить ее прийти. Сказал где и когда и бросил трубку, не дав Олимпии возразить. Что ты будешь делать!

Всерьез рассерженная Олимпия решила: пусть негодный семинарист изжарится на солнце, дожидаясь ее, — это послужит ему уроком, будет знать, как лгать! Но потом остыла, и ей сделалось жаль его. Бедный мальчик! В семинарии жизнь не сахар, день-деньской взаперти, в четырех стенах, как же упустить представившуюся возможность? Олимпия подумала, что карать Элоя не за что, и моментально нашла выход: позвонила Силвии, попросила явиться вместо себя на свидание и утолить голод семинариста. Долг платежом красен: пару месяцев назад Олимпия по просьбе Силвии, умученной нестерпимой требовательностью юного любовника, приняла участие в рыженьком Жонге, служившем юнгой на яхте симпатичного миллионера Тоуриньо Дантаса.

Однако Силвия дала согласие не сразу, поломалась для порядка, изображая птицу международного полета: «Не могу, я должна сопровождать французов из „Антенн-2“». Но искушение попробовать семинарской свежатинки не поборола. «Чего для тебя не сделаешь?» В конце разговора в голосе Олимпии появились нотки горечи: «Скажи, что я не сумела вырваться, прислала свою лучшую подругу. Прекрасный вечер тебя ждет. Счастливица! А я в это время буду расшевеливать эту дохлятину сенатора. Тьфу!»

— Ну, а малыш-то хоть стоящий?

— Ты еще спрашиваешь! Таких поискать... — простонала Олимпия. Пикирующий бомбардировщик сорвался в штопор.

РОЗЫГРЫШ — Внимание присутствующих было всецело поглощено круговой самбой: Силвия потихоньку встала из-за стола и удалилась по-английски. Еще четверть часа — и она опоздала бы на свидание. За обедом ее посадили между двумя знаменитостями — эссеистом Ордепом Серрой и новеллистом Элио Полворой, и Силвия

кивками и междометиями участвовала в ученом споре о литературоведении и художественном творчестве. Беседа воспаряла в немыслимые выси, но была довольно скучна и никак не заслуживала того, чтобы из-за нее упустить семинариста. Она ведь отметилась, появилась на званом обеде, была снята общим, средним и крупным планом — чего ж вам еще? Может быть, запись покажут и в Париже, ну, а кадры будут перепечатаны в баиянских газетах в разделе светской хроники. Вечером она присоединится к съемочной группе в театре «Кастро Алвес»: там будут записывать Каэтано, Жила, Бетанию и Гал. Она уже внесла свой вклад в культуру — остаток дня можно посвятить добрым делам: выручить любимую подругу, отдав себя семинаристу на съедение, омыть душу и освятить тело в его постели. Это истинное благодеяние, подлинное милосердие. Если уж речь зашла об этом, надо признать, что этот падре с уругвайской границы очень хорош. Настоящий гаучо.

Для первого выпуска «Большой шахматной доски», передачи, которая должна была прославить Баию в бессмертной Франции, Нилда Спенсер, посоветовавшись с Шанселем, решила собрать на рынке Модело, в ресторанчике Марии де Сан-Педро — мир праху твоему, гранд-дама баиянской кулинарии, имя твое освящает и облагораживает мою незатейливую хронику! — весь цвет интеллигенции, народных композиторов, мастеров беримбау и атабаке, и школу круговой самбы, руководимую Зилой Азеведо, всех ее смуглых танцовщиц.

Атмосфера народного празднества, неслыханные ритмы, соло на беримбау, гул атабаке очаровали француза, а круговая самба привела в восторг: «Avec sa ils vont craquer, les gars!^[59]» Интеллигенты послужат рамкой этой дивной картине: вероятно, что-нибудь из их высказываний пригодится в передаче, а впрочем, можно будет ограничиться и речью Пьера Верже, говорившего о неповторимости Баии, о том, как в ее культуре сплавляются воедино многие и многие элементы.

Патрисия вела диалоги со знаменитостями, записывая профессора Жермано Табакоф, поэта Элио Симоэнса, обозревателя Раймундо Рейса, писательницу Сони Коутиньо — оператор сделал «крупешник» ее красивого лица, — академика Итазила Бенисио дос Сантоса, профессора Жоана Батисты, изъяснявшегося по-французски с безукоризненной правильностью и певучим выговором уроженца штата Сержипе. Португалец Ассиз Пашеко, кося остекленевшим глазом на мулаток, танцевавших самбу, зашелся в лирическом экстазе.

Взяв интервью, Патрисия с микрофоном в руке придвинула стул и уселась рядом с падре Абелардо, боясь, что его очарует кто-нибудь из

присутствующих здесь дам, которые вполне его оценили, а бесстыжая Силвия даже не дала себе труда скрыть своих чувств. Патрисия выпустила когти: если кто-нибудь сунется к нему, горько поплатится. Падре нервно смеялся, умирал от смущения и чувствовал себя совершенно не в своей тарелке.

После этого Патрисия рассказала ему следующее: незадолго до обеда кто-то пытался разыграть ее по телефону. Позвонил, выдал себя за него, падре Абелардо, и назначил свидание — на сегодняшний же вечер. Но Патрисия мигом смекнула, что это чья-то дурная шутка. Ей ли не узнать неподражаемый голос падре-гаучо? И кроме того, он никогда не называл ее «милой», не говорил «любовь моя» и уж подавно — «гурия». А где была назначена встреча? Она уже не помнит, вроде бы на Итапуане.

Под ритмические рукоплескания зрителей баиянки Зилы Азеведо — белые блузы, разноцветные широченные юбки с оборками — выделявали замысловатые па самбы. Одного за другим вытаскивали они из-за стола почтенных профессоров и академиков, втягивали их в круг, заставляли плясать. Доктор Талес де Азеведо удостоился громких аплодисментов — ни годы, ни ученые степени не охладили его пыл. У судьи Карлоса Кокейжо Косты, мастерски игравшего на гитаре, ритмы самбы были, как видно, в крови. Рядом с чисто лузитанским усердием, но без видимого успеха вращал бедрами Фернандо Ассиз Пашеко. Несомненное дарование заметно было у Жака Шанселя. Но всех затмил, разумеется, таксист Миро, не знавший себе равных в искусстве самбы.

Жужжали видеокамеры: через месяц все это появится на французских телеэкранах. Праздник Баии удался: Нилда Спенсер была так счастлива, что в груди стало горячо, в горле стоял ком, на глаза навернулись слезы.

ОТСУТСТВУЮЩИЙ — Нилда жалела, что на обеде не было дона Максимилиана фон Грудена. Не говоря уж о том, что это всемирно известный ученый, он еще на редкость телегеничен и импозантен: белоснежная сутана, сдержанная элегантность манер, актерская повадка. Нилда обшарила весь город, но нигде монаха не обнаружила.

Нигде не обнаружили его ни полицейские, ни журналисты, рыскавшие по Баии в поисках дона Максимилиана. Когда же наконец удалось установить маршрут, которым двигался автомобиль Льва Смарчевского, директор Музея давно уже удрал из резиденции архиепископа, исчез бесследно, как Святая Варвара.

Викарный епископ дон Рудольф ознакомил его с версией начальника полиции: полковник Раул Антонио убежден в причастности к этому делу

пастыря Пиасавы; ясна ему и цель кражи — финансовое обеспечение подрывной деятельности. Драгоценные произведения искусства, проданные за границу, оплаченные твердой валютой, заткнут дыры в бюджете общины, а заодно помогут городской «герилье». Дон Максимилиан не удивился, выслушав все это, не удивился, потому что утром у него состоялся пренеприятный, в повышенных тонах разговор с полковником:

— Не хватает только обвинить меня в преступном попустительстве. Шеф службы безопасности тоже уверен, что похитил статую падре Галван. По предварительному сговору с падре Теофило... Можете себе представить?

Дон Рудольф, рассеянно перелистывавший роскошное издание книги о Святой Варваре Громоносице, поднял глаза, взглянул на собеседника:

— Могу вас заверить, что обвинение совершенно беспочвенно. В этом преступлении падре Галван не повинен, за ним вины другие. К пропаже статуи он непричастен: по случайности он приплыл в Баию на одном баркасе с нею.

— Как я рад, что вы подтверждаете мое глубокое убеждение! А откуда вам это стало известно?

— Он мне исповедался.

— А-а!

— Ну, а вам, господин директор, вам-то что удалось узнать? Ведь ответственность ложится на вас! Какие новости вы мне принесли? Слушаю.

Вместо ответа дон Максимилиан только бессильно раскинул руки, показывая этим, сколь безмерно его отчаяние. Смятение директора, его готовность признать себя побежденным и даже просить о снисхождении бальзамом пролились в то утро на душу викарного епископа. Внутренне ликуя, он сменил тон и тему и сказал:

— Мне еще предстоит прочесть ваш труд со всей внимательностью, но уже сейчас я вот тут заметил... Вы считаете автором Святой Варвары этого Алейжадиньо. Боюсь, это рискованное утверждение. Есть ли у вас аргументы в защиту такой шаткой гипотезы?

— Да, вывод смелый, спорить не стану. Но, ваше преосвященство, я отдал этому труду пять лет жизни, пять лет кропотливейших исследований. Я просмотрел горы документов, я провел настоящее следствие, и следы привели меня в Оуро-Прето, к Антонио Франсиско Лисбоа, к гениальному Алейжадиньо. Все сошлось. — Заговорив о том, что было ему близко и дорого, дон Максимилиан воодушевился, воспрял, позабыл про все

неприятности, обвинения и угрозы. — Окончательно же я уверился в том, что Святая Громоносица принадлежит его резцу, по другой причине...

— По какой?

— Алейжадиньо был мулат. Изваять такую статую мог только человек со смешанной кровью — метис, мулат, потомок белых и черных.

Строгая морщина пересекла арийское чело епископа.

— Я позвонил доктору Одорико и выразил удивление по поводу той свистопляски, которую устроили репортеры «Диарио де Нотисиас». Добиться мне удалось немногого — редактор готов предоставить нам слово на страницах своей газеты. Он спросил, не хотите ли вы дать интервью.

Он взглянул в окно, выходящее на площадь, и тотчас вспомнил утреннее происшествие с негритянкой. Проклятая страна! Окаянный край!

— Ну, вот что: или это священное изображение объявится, или я не знаю, что только стряется в нашей благословенной епархии, — в его тевтонских устах некоторые слова — «священное», «благословенная» — звучали площадной бранью. — Кончится тем, что нас всех посадят в тюрьму как воров и коммунистов. У вас еще что-нибудь ко мне?

— Да, ваше преосвященство.

Дон Максимилиан имел сообщить епископу следующее. Если до открытия выставки статую не найдут, он, директор Музея, покорнейше просит об отставке и тотчас покидает Баию. Уговаривать его бесполезно. Он надеется, что генерал их ордена переведет его в какую-либо обитель в Рио-де-Жанейро, где он в тиши, всеми забытый, сможет продолжить свои изнурительные ученые бдения, — источник краткой радости и бесконечных горестей.

Епископ Клюк горячо и поспешно поддержал его: это единственное возможное решение, отвечающее интересам и университета, и церкви, и самого дона Максимилиана. И горячность и поспешность вонзились в истерзанную душу полуотставного директора Музея Священного Искусства.

КРОКОДИЛ НА ОТМЕЛИ — Падре Соарес почивал после обеда, когда журналисты с микрофонами и камерами наперевес взяли архиепископский дворец штурмом. Семинариста Элоя, чье дежурство близилось к концу, засыпали вопросами, а ошеломленного падре-секретаря запечатлели на пленке с разинутым ртом.

И Элой и Соарес поклялись спасением души, что викарный епископ уже покинул резиденцию и теперь появится только к вечеру, а дон Максимилиан ушел еще раньше. Беззастенчивая брехня входит в

секретарские обязанности. И жаль, что нельзя рассказать журналистам, как дон Максимилиан, потеряв весь свой лоск и всю спесь, понурый, унылый, совсем не похожий на того веселого горделиво-победительного и самоуверенно-снисходительного щеголя, который изредка достаивал дворец своим посещением и заставлял падре Соареса бормотать сквозь зубы: «Погоди, погоди, крокодил, не ровен час, пересохнет твоя отмель, посмотрим, как ты повертишься тогда!» — покорно прошел вслед за епископом Клюком по внутренней лестнице в гараж, там они сели в машину его преосвященства и отбыли, причем директор явно старался быть как можно незаметней.

Пересохла отмель. Завертелся, крокодил!

РОНДО ТАЙНЫХ АГЕНТОВ — По улицам Баии в поисках следов и улик, посредников и перекупщиков, тайников и воровских притонов, а также конспиративных квартир подрывных организаций бродили филеры службы безопасности, агенты федеральной полиции.

Они торчали на перекрестках, брали под наблюдение священников, допрашивали антикваров и коллекционеров. Мирабо Сампайо, скульптор, известный вспыльчивостью нрава, увидев, как детектив снимает с полки жемчужину его коллекции, деревянную скульптуру работы великого Агостиньо да Пьедаде, выставил полицейского за дверь: «Убирайся, олух царя небесного, пока я тебя не застрелил!» Зловредная выдумка дона Максимилиана насчет похищения Святой Варвары переходит всякие границы! Мирабо, которого трижды отрывали от работы, не успел к сроку окончить изображение Мадонны, заказанное банкиром Жорже Линсом Фрейре ко дню рождения жены Люси, и поносил дона Максимилиана последними словами.

Комиссар Паррейринья, упустив пастыря Пиасавы, занимался тем, что сличал выставленные в витринах изображения святых с фотографией барочной скульптуры Святой Варвары из португальского города Гимараэнса, неведомо как оказавшейся в полицейской картотеке. Другой комиссар, Рипулето, славившийся безошибочным чутьем — чуть только где намечается застолье, он тут как тут, и вилка в руке, — был отправлен в Санто-Амаро с приказом допросить vicaria, чету Велозо, дону Кано и сеу Жозе, а также всякого, кто сможет пролить свет на исчезновение святой. «Не забудь потрясти как следует экономку», — напутствовало его начальство. Доктор Калишто Пассос укрепился в своих подозрениях: падре Теофило разработал план, падре Абелардо его осуществил. Торговлю древностями осуществляли люди в сутанах — служители господа,

священники и викарии.

Прилетела из столицы команда из СНИ — эта зловещая аббревиатура означает тайную политическую полицию, — которую никто не видел и не ведал. Операция «Челюсти краба» проводилась в обстановке сугубой секретности, с гримом и переодеваниями. Мадам Лиа, владелица мотеля, нисколько не возражала против того, что в ее заведении оборудовали фотолабораторию, — наоборот, была очень польщена. Тайные агенты были все как на подбор специалисты высшего класса, поднаторевшие в своем деле, прошедшие выучку в ЦРУ и в португальской охранке ПИДЕ, совершавшие подвиги, которым позавидовал бы и сам Джеймс Бонд. Возглавлял группу светило политического сыска, проходивший под кодовой кличкой «Агент Семь-Семь-Ноль», а от коллег удостоившийся прозвища «Ослиное копыто», что говорит само за себя.

ДНЕВНОЙ СЕАНС — Такси еще не успело остановиться, а Силвия Эсмералда уже увидела добычу: паренек в сутане стоял на солнцепеке и пускал дым колечками. Силвия сочла его вполне миловидным и симпатичным. Предвкушая неслыханные наслаждения, она довольно сильно шлепнула шофера по руке. Шофер был истинный рыцарь: «Развлекайтесь, милая сеньора, жизнь наша так коротка». Выждав, пока он отъедет, Силвия направилась к семинаристу:

— Элой? Здравствуйте, Элой. Знаете, Олимпия не смогла прийти и вот, не зная, как вас предупредить, попросила меня... — Тут она улыбнулась, блудливо заиграла глазами, провела кончиком языка по губам. Но договорить не успела.

Из огромного черного автомобиля выскочили двое в масках, с револьверами. Тарзан схватил Силвию, потащил ее к машине: «Живо, красотка, живо и не трепыхайся». Кинг-Конг выкрутил руку Элою, улыбаясь почти сердечно. От боли тот вскрикнул, и Кинг-Конг, подкрепив приказ затрециной, прошипел: «Молчать!»

Силвию и Элоя втолкнули в машину, где с переднего сиденья к ним повернулся человек с автоматом — наверно, старший. Машина рванулась. Ехать было недалеко. Мотель за высокими стенами, раскрыв ворота, поджидал гостей.

...Кико Обет, тощий и костлявый, как подвижник, принимая у Элоя дежурство, спросил, не скрывая зависти:

— В кино небось пойдешь? В «Популаре» сегодня вот такая лента: «007 против доктора Но»...

Элой улыбнулся загадочно, мечтательно и снисходительно:

— Да нет, я не в кино пойду...
А лучше бы в кино!

В четверг вечером

ССОРА — Данило удивился тому, что Манела не пришла ужинать. Наказана? Нет, дверь в ее комнату открыта. Куда же Адалжиза отпустила ее? В последнее время тетушка была свирепа и племянницу держала на строгом ошейнике, на коротком поводке. Никаких подруг, особенно под вечер, — сделать уроки, помолиться и спать. На ночь ее запирали, а ключ Адалжиза носила при себе, уверена была, что Манела замышляет побег. Данило знал, что жене его хоть кол на голове теши — она от своего не отступится: запирать Манелу — необходимая мера предосторожности, наименьшее из зол. Данило огорчился, но от комментариев воздерживался, ибо слишком дорого они бы ему обошлись.

— А Манела где? — спросил он сейчас, накладывая себе на тарелку дымящийся ямс и тоном своим показывая, что спрашивает так просто, из любопытства, без всякой задней мысли.

Адалжиза на мгновение замерла, обратила на мужа пристальный взор, а потом рассказала обо всех сегодняшних перипетиях — и про найденный обрывок записки, и про бегство назначенное на эту ночь, и про вмешательство падре Хосе Антонио, и про судью по делам несовершеннолетних, и про то, как Манелу определили в монастырь Лапа. Много нервов ей это стоило, но кончилось все с божьей помощью очень хорошо.

— Что? Ты посадила Манелу к «кающимся»? — Данило не верил своим ушам, у него даже голос охрип. Он помотал головой, силясь понять ошеломившую его новость.

— Да. С божьей помощью мне это удалось.

— Ты что, с ума сошла? Ты соображаешь, что делаешь?

— Я исполняю свой долг. Неужели надо было позволить ей удрать из дому к этому мерзавцу? Господь меня вразумил, дал мне силы вовремя вмешаться. Ему одному ведомо, чего мне это стоило. Теперь все уже решилось, и Манела под его святым покровом.

— Да что же ты натворила? Ты, видно, и впрямь спятила!! Или у тебя сердца нет?! Откуда такая жестокость? — Он оттолкнул тарелку. — Пошли! Вставай! Надо сейчас же забрать ее оттуда. Не хватало, чтоб она там оставалась на ночь!

— Это мне решать, когда ее оттуда забирать. Выйдет, как только

позабудет эту макаку. И не ори, соседи услышат. Лучше вообще помалкивать об этом. Если спросят, отвечай, что уехала погостить в Оливенсу — двоюродная сестра Данило, бывшая замужем за богатым владельцем какао-плантаций, часто приглашала их к себе.

Данило слушал эти речи вне себя от изумления. Адалжиза была, как всегда, строга и непреклонна, но голос ее звучал спокойно: Манела в безопасности. Миро остался с носом, целомудрие племянницы под надежной защитой. Ничего дурного с девочкой в монастыре произойти не может, а польза несомненная. Окруженная благочестивыми сестрами, с пробудившейся в душе любовью к господу, в постоянном восторге религиозности — утренние мессы, вечерние службы, ни шагу без молитвы, ежедневные исповеди, духовное обновление, — Манела как бы смывает с запятнанной и уже обреченной на гибель души всю грязь, освободится от дурных мыслей, одолеет соблазны, скинет тяжкое бремя грехов и потом, просветленная и благодарная, покорная и кроткая, вернется в лоно семьи — то самое лоно, которое она попыталась осквернить. На лице Адалжизы сияло удовольствие — «я исполнила свой долг, господь свидетель». Она подняла молочник, стала наливать в чашки.

Данило встал:

— Пойдем, Дада, пойдем за Манелой.

— Я ведь тебе уже сказала, чтоб ты и думать забыл про это! Она в монастыре по приказу судьи, никто, кроме меня, не может ее оттуда забрать. Сядь. Пей кофе. Супа я сегодня не успела сварить. И молчи, я не желаю, чтоб соседи шушукались у меня за спиной.

— Я такой же опекун, как и ты. Не хочешь идти, я один пойду.

— Никуда ты не пойдешь. Выбрось это из головы, сказано ведь! Не суйся не в свое дело: воспитываю Манелу я! Понятно? Ну, вот и успокойся, перестань меня терзать.

Она поставила молочник, взяла кофейник. За ужином они иногда ели овощной суп или куриный бульон с рисом, а чаще ограничивались кофе с молоком, бутербродами, плодами ямса или хлебного дерева, кускузом из маниоки, кукурузными пирожками. Данило без памяти любил сладкие бататы, но Адалжиза редко баловала его: от них пучит, а Данило с годами стал страдать от несварения. Любое происшествие тотчас приводило к скоплению газов и к соответствующим результатам. Так случилось и в этот вечер: ссора до того огорчила его, что он не сумел сдержаться и издал протяжный, громовой, энергичный звук.

— Что с тобой, Данило? Постыдился бы! Ты ведь за столом!

ГЛАВА СЕМЬИ — Кто же командовал в доме? Задайте этот вопрос соседям и получите ответ: Адалжиза, разумеется! Она, стервозная баба, всем распоряжается, а у мужа терпенье как у Иова, лишь бы его оставили в покое.

Адалжиза взяла бразды правления с самого начала супружеской жизни, быстро подчинила себе мужа, благо тот занимал в своей конторе крохотную должность с нищенским жалованьем — ниже были только мальчишки-рассыльные. Он делал карьеру медленно, подолгу задерживаясь на каждой ступеньке служебной лестницы, и только недавно достиг поста старшего делопроизводителя с перспективой занять должность нотариуса, сменив Эустакио Лейте, который по чистой зловредности все никак не уходил на пенсию, хоть из него давно уже песок сыпался.

После медового месяца чета поселилась у Пако — средств снимать квартиру у нее не было — в комнате Адалжизы, сменив девичью кровать на двуспальную. Адалжиза сохранила и расширила круг клиенток доньи Эсперансы — та была чересчур разборчива и на кого попало не работала, — так что ее вклад в семейный бюджет был решающим. Другое дело, что тратили супруги мало: Пако Перес не соглашался, чтобы дочка и зять давали хотя бы сентаво на еду — чем бедней он становился, тем чаще выигрывали в нем гонор и спесь. Итак, стол и квартира обходились молодым бесплатно.

Адалжиза дорого брала за работу — дороже, чем донья Эсперанса, и все-таки от заказчиц не было отбою. Объяснялось это тем, что она достигла высочайшего мастерства, и соперницы ей в подметки не годились. Заказы поступали даже из Рио, а хроникеры, описывая великосветские приемы и торжественные церемонии, как доказательство утонченности и безупречного вкуса присутствовавших дам, подчеркивали, что шляпки их и шляпы «сделаны руками искусницы-модистки Адалжизы Коррейя». В газете «Семь дней» Тереза де Майо объясняла невеждам, что «модистка» — это та, кто делает шляпы, а та, кто шьет платья, называется «couturiere».

Жалкое жалованье Данило, житье на хлебах у тестя, бесплодие, признанное неизлечимым, барские замашки Адалжизы, не понимавшей, что от всего состояния Пако Переса остались какие-то крохи в виде лавчонки старьевщика, — все это вместе взятое позволило трудолюбивой и надменной супруге захватить власть в доме. Последнее слово всегда оставалось за ней. Данило, человек уживчивый, покладистый, мягкий, подчинился, не выказывая — по крайней мере внешне — протеста, позволил дражайшей своей половине командовать и распоряжаться.

Кое-какие скудные и незначительные знаки мужского достоинства ему

удалось отстоять, последние рубежи обороны он еще держал: разрешалось ему раза два-три в неделю посидеть с приятелями в кафе, сходить на матч с участием любимой «Ипиранги», сыграть в триктрак или в шашки с профессором Батистой, выпить пива в субботний вечер, а в воскресенье утром пойти на пляж. Посещение борделей было, разумеется, тайным и в этот список завоеванных прав и свобод не входило: Данило забегал туда в конце рабочего дня с тем, чтобы ровно в семь, к обеду, быть дома.

Завела свои порядки Адалжиза и в том, что касалось дел постельных: нет-нет, не пугайтесь, я не стану еще раз живописать все ее скудоумные ограничения, все ее платонические умопомрачения — вы их помните и, без сомнения, единодушно осуждаете. Скажу лишь, что неисправимый оптимист Данило на исходе двадцатого года страданий и борьбы все еще сохранял порочные наклонности и бесстыдные устремления, все еще мечтал о чуде, и когда Адалжиза укладывалась в постель, норовил погладить ее по заду и пробормотать: «Погоди, ворюга, придет и твой час» — эту фразу он вычитал в сборничке сомнительных анекдотов, и она пришлась ему по вкусу. Тем все и кончалось: Адалжиза, не устаивая мужа даже гневом, заворачивалась в простыню и засыпала. Истинно сказано: «Как волка ни корми...» Неистовый пламень страсти, приводивший к ссорам, скандалам, оскорблениям и даже матерной брани, стал слабеньким коптящим фитильком. Поползновения Данило не вызывали ни протеста, ни поощрения. Волка выдрессировали.

Денежные их дела, и прежде не блестящие, стали совсем плохи после смерти Пако Переса. Он скончался скоропостижно, чуть только успели отпраздновать первую годовщину свадьбы: это был скромный семейный праздник — пригласили Долорес с Эуфразио, выпили за ужином вина, а потом отправились в кино, на забавнейшую мексиканскую комедию. Пако Перес умер от инфаркта, когда осознал наконец, каков негодяй Хавьер Гарсия. Друзья давно уже намекали ему на нечистоплотность его компаньона и советовали внезапно обревизовать бухгалтерские книги и всю отчетность, но Пако отмахивался: он всецело доверял своему земляку, ибо тот всем на свете был обязан ему. Лавка была открыта на деньги Переса, пайщика-командитиста, а у Хавьера гроша ломаного не было за душой — ничего, кроме трудолюбия и алчности.

В один прекрасный день, придя в лавчонку за деньгами для игры, Пако услышал от Хавьера, что не имеет больше ни малейших прав на ежемесячную долю в прибылях и на процент с оборота. Хавьер ничего ему не должен. Напротив, он из должника сделался кредитором, а Пако, как явствует из ведомостей, накладных и финансовых поручений, задолжал

фирме крупную сумму. Франсиско Ромеро потерял дар речи, побледнел, осекся на полуслове, глаза его остекленели, ноги подкосились, и он замертво рухнул наземь, прямо там, в лавке, где появлялся нечасто: ему, благородному коммерсанту, торговавшему пряностями, заморскими винами из Хереса и Малаги, сырами из Ла-Манчи, сардинами из Виго, омарами и лангустами, претило это грязное и пыльное заведение.

Хавьер Гарсия принял весьма скромное участие в подписке, устроенной друзьями покойного для сбора средств на похороны. Они, впрочем, прошли по первому разряду: вынос из кладбищенской часовни, отпевание, проповедь, роскошный гроб, бдение над телом, сопровождаемое прочувствованными воспоминаниями и пикантными историями о похождениях Пако. Забившись в уголок, молилась за упокой его души юная негритянка с заплаканными глазами — последняя победа Перес-и-Переса. Народу собралась тьма, испанский консул произнес надгробное слово. Словом, похоронили его как положено, и пышность эта отчасти утешила Адалжизу в ее потере.

Но денег, вырученных от продажи кое-каких ценных безделушек, принадлежавших покойному, едва хватило, чтобы расплатиться за квартиру. Семейный адвокат, доктор Карлос Фрага, человек дошлый и настырный, сумел договориться с Хавьером о ликвидации дела. Хавьер бился как лев, но в конце концов раскошелился. Доктор Карлос защищал интересы наследников бесплатно: он свое получил еще во времена семи коров тучных, когда процветающий Пако платил ему баснословные гонорары. Адалжиза не стала транжирить деньги, вырванные из пасти экс-компаньона, а положила их в банк: она уже тогда мечтала о собственном доме.

Несколько месяцев они с Данило прожили в дешевой гостинице, а потом подыскали себе скромное обиталище — спальня, гостиная, душ, раковина, газовая плита. Там, на авениде Аве Мария, они жили уже больше двенадцати лет, и все бы ничего, если бы не соседи: бог знает, что за люди! Приятное исключение составлял только профессор Жоан Батиста. Ценой жестокой экономии сбережения Адалжизы росли, и она уже принялась изучать объявления в газетах.

Ни за что на свете не хотела она расстаться со званием члена-учредителя Испанского клуба, каковое звание после смерти Пако носил Данило, а потому продолжала делать солидный ежемесячный взнос. Адалжиза была и оставалась сеньорой, Адалжиза следовала примеру доньи Эсперансы, а та не уступала давлению обстоятельств, считая, что чем по одежде протягивать ножки, лучше уж вовсе ноги протянуть.

И вот, словно мало ей было мучительной мигрени, бесчисленных забот и хлопот, взвалила на себя Адалжиза тяжкую ношу, стала опекуншей племянницы, в которой ничего испанского и не было, которая готова, была поступиться принципами добропорядочности да еще и влюбилась в таксиста. Какая ответственность, какая обуза! но Адалжиза с божьей помощью выполнит свое предназначение: выбьет из Манелы дурь, спасет ее душу.

МЯТЕЖНИК — Спасая заблудшую душу, исполняя долг, возложенный на опекунов господом богом и судьей по делам несовершеннолетних, Адалжизе предстояло действовать в одиночку, на свой страх и риск: от бывшей футбольной звезды помощи ждать не приходилось — не мычит не телится, отмалчивается, пока тетушка с племянницей ведут словесные распри, а когда они перерастают в настоящий скандал и Адалжиза от нестерпимой обиды прибегает к карательным мерам, ни словечка не говоря, схватит шляпу — и шась в дверь. Если в этот день был матч, он шел к Кинкасу Сгинь Вода: в его кабачке собирались ярые болельщики и стоял телевизор.

Нельзя сказать, чтобы ссоры эти оставляли его вовсе уж безучастным — напротив, они его глубоко огорчали. Методов своей жены он не одобрял, и она это знала. Когда все еще только начиналось, когда наказания входили в обиход, он произносил протестующие речи, осуждал Адалжизу за несдержанность и вспыльчивость, за непомерную строгость кары. Немало горьких слов сказано было и по поводу плетки. В пылу спора о воспитании он обозвал Адалжизу мачехой, и притом самой мерзкой мачехой в мире.

Но случилось это только однажды, в первый и последний раз. Данило и представить себе не мог, что это определение так оскорбит жену, так уязвит ее, вызовет такую бурю праведного гнева и скорби. Данило потрясся, опомнился, забормотал извинения. Адалжиза заткнула уши. Оскорбленная до глубины души, она рыдала в голос, ночью с ней случился сердечный приступ. А прошел приступ, начались упреки и жалобы: «Вместо того, чтобы поддержать и помочь... ты несешь ответственность за племянницу наравне со мной... должен нести, ибо я надрываюсь одна, и вот, когда я пытаюсь пресечь ее сумасбродства, которые до добра не доведут, что получаю в награду?.. Мачеха? Это я-то мачеха?..» Адалжиза впивалась зубами в наволочку и призывала смерть.

Данило, опасаясь, что мирное и вольготное житье кончится, что гармония и уют — а они все же были! — исчезнут, предпочел умыть руки, предоставить все божьей воле. В точности как Понтийский Пилат, заметил

по этому поводу падре Антонио Эрнандес, ибо муж и духовник друг друга недолюбливали. Встречаясь с этим инквизитором, Данило испытывал безотчетное желание дать ему в морду.

Боялся ли Данило свою жену или поступал так из благоразумия, продиктованного любовью, но Адалжиза до того привыкла к его послушанию и покорности, что уделила главное внимание неприличному звуку за столом, а не дикой в его устах угрозе: «Не хочешь идти, я один пойду!» Остолбенев от изумления, Адалжиза безмолвно следила за тем, как Данило завязывает галстук, надевает пиджак, нахлобучивает шляпу и бормочет:

— Это уж слишком, Дада... Я без Манелы не вернусь.

Он замер в дверях, гримаса боли — физической и нравственной — исказила его лицо, он отставил ногу, и громовая очередь прогремела в комнате, заглушая властный крик Адалжизы:

— Данило, вернись! Вернись сию же минуту!

СЕМЬЯ, КОТОРАЯ СОБИРАЕТСЯ ЗА УЖИНОМ, НЕРУШИМА

— В своем ли имении находился Жоаозиньо Коста или в городе, он требовал неукоснительного соблюдения введенных им самим правил и обычаев. Семейный ужин по четвергам был одним из таких обычаев; семья усаживалась за огромный стол черного дерева. Мужчинам — виски, Олимпии — джин с тоником; португальские вина, яства, приготовленные чернокожей кухаркой Претиньей, вывезенной из глухой глубинки. Иногда проездом в столицу появлялся какой-нибудь родственник, но, как правило, собирались только свои: хозяйева дома, зять, две дочери, наследницы одного из самых крупных состояний в Баии. Одиннадцать лет разделяли Олимпию и Марлен, а в промежутке дона Элиодора родила сына, который прожил недолго: умер от дизентерии, когда ему еще и года не исполнилось. Для Жоаозиньо это было огромной потерей. Он продолжал мечтать о наследнике рода, и дона Элиодора забеременела вновь, но произвела на свет семимесячную девочку.

«Мой девиз таков, — говаривал владелец бескрайних земель и хранитель нерушимых традиций, — семья — это фундамент общества». Он требовал, чтобы Олимпия и Астерио в этот священный час непременно сидели за столом, даже если ради этого им придется отказаться от важных и многообещающих встреч и визитов. Он всерьез сердился, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешало им. «Сначала семья, — восклицал он, — губернатор потом!» — «Это был не губернатор, папочка, а генерал».

Вот и в этот четверг, наполненный столь разнообразными событиями, семья сидела на веранде, выходящей в сад с бассейном, и поджидала Астерио — он безбожно опаздывал. Марлен, младшая, непокорная дочь в маечке и мини-юбочке, то и дело с возмущением поглядывала на часы — «что за хамство такое, в конце-то концов!» В половине девятого она должна быть у подъезда театра «Кастро Алвес», где французские телевизионщики будут записывать Каэтано Велозо, Жилберто Жила, Марию Бетанию и новую звезду — Гал Коста. Пригласил Марлен на съемку Жорж Мустаки, с которым она познакомилась накануне и больше не расставалась. Время встречи неуклонно приближалось. Марлен и не думала скрывать свою досаду на Астерио: «Он что, думает, нам больше делать нечего? Кем он нас считает?» Допустить, чтобы Мустаки томился у театрального подъезда, отдать его по доброй воле осатаневшему бабью? — нет, спасибо! — этого не будет.

Глава семейства тоже не находил себе места: садился, вскакивал, ходил взад-вперед, поглядывал на двери, прислушивался, не раздастся ли рокот мотора. Астерио отбыл на «фольксвагене», а «мерседес» с шофером отдан был в распоряжение Олимпии. Впрочем, она приехала на такси, поскольку путь ее лежал из уютной квартирки, предоставленной сенатору одним из министров штата, его протеже, — сенатор пользовался славой бабника и гуляки.

Дона Элиодора — вся в брильянтах: одно только кольцо стоит многоголового стада быков, грудь примадонны, бедра в стиле бельэпок укрощены пресловутым резиновым поясом — потягивала фруктовый коктейль, слушая столичные новости и дивясь, как это Олимпия упомнит столько всякой всячины и ничего не перепутает. Вот, например, неприятности у лейтенанта Элмо — того красавчика, который был здесь со своим генералом, помнишь? «Помню. Так что с ним стряслось?» — «Он развлекался с генеральшей, и вот, в самый неподходящий момент, появляется откуда ни возьмись муж, и наш лейтенантик загремел на колумбийскую границу, а там одни индианки, у них губы, как блюдца...» На кухне в ожидании распоряжений сидел Зе Ландыш, повествовал Претинье о том, как стосковался он по жене: лучше ее никто не лечит заговором от кашля и прочих хвороб.

Но вот наконец в дверях появился Астерио с коричневым конвертом в руке.

— Простите, задержали меня в конторе... — извинялся он, поочередно целуя тещу, свояченицу, жену. — Наш сенатор пожелал непременно сам доставить мне известие о том, что министр одобрил наше предложение,

контракт на прокладку шоссе уже готов. Надо будет это дело спрыснуть.

При этих его словах Олимпия застенчиво улыбнулась, скромно потупилась: она внесла в это дело свой вклад, жертва ее была не напрасна, не зря мучилась она сегодня на сенаторском ложе, принимая диетические ласки. Покидая ее, сенатор объявил, что прямо отсюда направляется к «нашему милому Астерио». «Зачем?» — удивилась Олимпия. «Хочу взглянуть, идут ли ему рога». В объятиях его превосходительства Олимпия устремлялась мыслями к Силвии и семинаристу: счастливы, для них эти часы освещены пламенем страсти, согреты жаром наслаждения, разнообразного и прихотливого, а она тут выбивается из сил, пытаясь вдохнуть жизнь в сенаторского покойника. Но теперь, услышав, что старания ее не пропали даром, что благосклонность сенатора принесет Астерио крупный куш, она благословила эту пытку и улыбнулась мужу. Тот окинул ее взглядом выпученных жабьих глаз, убедившись лишний раз в красоте и преданности своей супруги — безупречной и несравненной. Олимпия унаследовала от отца понимание того, что семья — священна.

ФОТОГРАФИЯ, СНЯТАЯ В МОТЕЛЕ, ИЛИ ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА В ИЗОБРАЖЕНИИ СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ — Астерио помахал конвертом перед носом изнемогающего тестя:

— Я даже не успел его вскрыть.

Жоаозиньо, захлопав в ладоши, властно сказал жене и дочкам;

— Идите, идите к столу, мы сейчас...

Женщины направились в столовую, а тесть и зять подошли к лампе, чтобы получше разглядеть падре Абелардо Галвана и Патрисию во всей красе. Астерио вскрыл конверт, на котором не было ни адреса получателя, ни фамилии отправителя, вытащил оттуда негатив и цветную фотографию 18x24. Помещик уже предвкушал, как вытянется лицо у кардинала-примаса, какую рожу скорчит высокопреосвященный лицемер. Его послушать, так милее Жоаозиньо на свете нет: «Как поживаете, друг мой? Как ваша фазенда? Благодарю за тот бочонок пальмового масла — жидкое золото!» — а за спиной покрывает падре-крамольников.

Да, на фотографии были запечатлены мужчина и женщина в чем мать родила, но это был не тот мужчина и не та женщина.

— Что за черт! Это же не Галван!

Астерио схватил снимок, взгляделся и вскипел:

— Идиоты! Олухи! Сукины дети!

Да, это были не падре Абелардо, не распутная актриска. На четко отпечатанной фотографии Астерио узнал не только жену судьи по делам

несовершеннолетних, но и семинариста, с которым Олимпия, кажется, крутила романчик. Так, значит, он ей дал отставку? Астерио был вне себя от негодования, но вовсе не потому, что этот щенок изменил его жене, — он в эти дела не совался. Разумеется, он знал, что его любвеобильная Олимпия развлекается на стороне, но никогда не вмешивался, разве что в тех случаях, если очередное увлечение было не ко времени или могло помешать его делам и планам.

Негодовал и возмущался Астерио оттого, что накануне ему позвонили из столицы и сообщили, что агенты высочайшей квалификации и абсолютной надежности уже отобраны и посланы в Баию. Возглавляет операцию агент Семь-Семь-Ноль, а значит, успех гарантирован. Ошибка исключена, провал невозможен. Семь-Семь-Ноль — ас из асов.

— И эти-то недоумки хотят справиться с коммунистами?! Только и умеют, что кости ломать! Идиоты! Засранцы!

Услышав гневный голос мужа, вернулась на веранду Олимпия. Астерио попытался было спрятать фото, но она быстрым движением перехватила конверт: интересно же, из-за чего так распетушился тот, кто похвалялся своим самообладанием?

Она глядела и глазам своим не верила. С уст ее чуть было не сорвалось: «Боже мой, что же это такое?» — но она вовремя прикусила язык, а для верности зажала себе рот. Зажмурилась, снова открыла глаза, взмахнув накрашенными ресницами. На еще влажном снимке — Силвия Эсмералда и юный Элой в костюмах Адама и Евы, а сутана, платье, рубашка, трусики валяются у круглой кровати — в мотелях всегда такие. Они стоят бок о бок: Силвия, перепуганная до последней степени, таращится в объектив, лицо Элоя застыло в плаксивой гримасе, хвастаться ему решительно нечем. Даже тайные прелести Силвии, вдохновившие когда-то дебютанта Жоку на сонет в ее честь, не спасают положения — зрелище, прямо скажем, весьма неприглядное.

Олимпия была растерянна, сбита с толку, не знала, что и думать. Она снова зажмурилась — и вдруг поняла! Еле удержалась от вскрика. Только теперь осознала она, какой опасности подвергалась и от какой беды спасло ее свидание с сенатором. Все стало ясно как божий день: это она, а не Силвия должна была стоять нагишом под объективами секретной службы. А в том, что это дело рук секретной службы, сомневаться не приходилось: точно такая же история случилась перед выборами с женой одного парламентария. Теперь, значит, пришел ее черед. От ее имени послали записку Элою, назначив время и место свидания, он попался на эту удочку, попалась бы и она, Олимпия, если бы не условленная встреча с сенатором.

Бедная Силвия, вот уж в чужом пиру похмелье, она, должно быть, в отчаянии. Все ясно: они хотят скомпрометировать Астерио! Но почему же политическая полиция вдруг обозлилась на него? Наверно, случилось нечто такое, о чем она даже не подозревает. Астерио обычно все ей рассказывает, держит в полном курсе всех своих дел, отчего же на сей раз он промолчал?

— Астерио, объясни, что это значит?

Но ответил ей отец, причем голос его звучал совершенно ненатурально:

— Да ничего особенного, Лимпинья... Это шутка, мы решили подшутить... — Он хотел засмеяться, но у него ничего не вышло.

Олимпия не сводила глаз с мужа, а он, видя, что она в панике, потихоньку от тестя сделал ей знак — успокойся, мол. Жоаозиньо Коста, оправившись от первоначальной оторопи, заметил с насмешливым раздражением:

— Кто бы мог подумать, что Прадо д'Авила позволит украшать себя рогами! Никому нельзя доверять! Идите к столу, я догоню вас.

Он двинулся на кухню, и супруги остались с глазу на глаз. Олимпия спрятала конверт с негативом и фотографией в большую белую сумку «Кристиан Диор». Странно, зачем же они отдали негатив? Наверно, уже разослали фотографии всем, кто так или иначе имеет дело с политикой и бизнесом. Сокровенные красоты Силвии выставлены на всеобщее обозрение и посмеяние. Олимпия подошла к мужу вплотную:

— Тебе что-нибудь известно об этом?

— Все мне известно. Дома расскажу. Ничего особенного.

— Не лги, Астерио. Ведь это против тебя направлено, да? Но за что они на тебя взъелись? — Она говорила шепотом, хотя комната была пуста.

— Нет-нет, поверь мне, это всего лишь недоразумение. Дома все узнаешь. — Он протянул ей руку, и они пошли в столовую: пикирующий бомбардировщик рядом с гигантской жабой.

Марлен, ерзавшая на стуле от нетерпения, поковыряла дивного лангуста, отказалась от креветок, от филе, от прочих яств — «мне не хочется есть, мамочка». Она ждала только прихода отца, чтобы попросить разрешения встать из-за стола и нестись со всех ног в объятия обворожительного метека^[60].

Ах, Жорж Мустаки — эти седые волосы, нимбом стоящие вокруг головы, эта всемирная известность, эта слава... И стоит ждет у дверей театра. Папочка, куда же ты запропастился?

А папочка размеренными шагами шел на кухню. Хорошо, что он не отправил Зе Ландыша домой, в Пернамбуко, как советовал зять. Он покачал

головой: «Ох, уж этот Астерио, вечно у него какие-то безумные идеи... Самомнение из него так и прыщит, похваляется, будто может все на свете, фанфарон. За погляд можно деньги брать, а на самом деле дурень, слюнтяй... Рогоносец! И судья по делам несовершеннолетних, доктор Прадо д'Авила — тоже! Вот бы никогда не подумал!»

АРГУС НА СТРАЖЕ — Завернувшись в непромокаемый плащ, ставший уже притчей во языцех, надев темные очки, примяв книзу поля шляпы и, следовательно, обеспечив свое инкогнито, комиссар Риполето приступил к выполнению деликатного и опасного задания, порученного ему начальником службы безопасности. Комиссар на себе испытал, что такое несдержанность, обман и насилие, однако это не помешало ему сделать точный, объективный вывод: жители Санто-Амаро взяли за оружие и не собираются его складывать.

Поведение комиссара Риполето тем более заслуживает всяческого поощрения, что он столкнулся с немыслимыми трудностями, с открытой недоброжелательностью, с разнообразными препятствиями, но не отступил, а одолел их. Он расспрашивал Жозе Велозо, дону Кано и других граждан вставшего на дыбы городка, но выслушивал самые смехотворные ответы. За спиной у него смеялись и издевательски спрашивали: «Это кто — Шерлок Холмс или телохранитель Тенорио Кавальканти?» — он покорно сносил дерзости, которыми осыпала его первая дама Санто-Амаро, могучая, краснолицая, пышногрудая Марина, кума и экономка викария. Она, пользовавшаяся безмерным уважением своих земляков, была до того уязвлена нескромностью тайного агента, что едва не нанесла ему оскорбления действием: «Ничего я вам рассказывать не стану, оставьте меня в покое, мамашу свою спрашивайте, от кого она вас заполучила». Цедили ему сквозь зубы и угрозы: «Убирайся шпионить к себе в Баию».

Мятеж выплеснулся на улицы, население было настроено очень воинственно. На углах и перекрестках люди собирались толпами, шли к Церковной площади, кричали «ура!» викарию, Жозе и доне Кано. По земле и по воде — в машинах, на грузовиках, на телегах, запряженных быками, на мотоциклах и велосипедах, верхом на лошадях, мулах и ослах, на яликах, лодках и катерах — мчались гонцы в другие города Реконкаво, неся весть о том, что объявляется освободительный и карательный крестовый поход, собирая под знамена Святой Варвары Громоносицы корабли и адмиралов, солдат и матросов. По всей реке Парагуасу гремели трубы Страшного суда, по берегам в пыли и воодушевлении неслись люди, крича: «Святая принадлежит нам!»

Утром, всегда в один и тот же час, почтовый катер доставлял подписчикам «Диарио де Нотисиас» и «Тарде». В тот четверг, о котором идет у нас речь, газеты, став всеобщим достоянием, переходили из рук в руки и читались вслух. Все, кто знал грамоту, ознакомились с репортажами Гидо Герры и Жозе Берберта де Кастро: первый сообщал об исчезновении святой, второй — о том, что своими глазами видел Громоносицу на причале.

Какие противоречивые сведения! Чему верить? Что за вопрос! — «Тарде» не допускала «уток», не распускала слухов, честным крестом можно было поклясться, что все сообщаемое ею — правда. Ну, а сенсационные новости щелкопера Гидо Герры — брехня от начала до конца, причем брехня, выдуманная по просьбе какой-нибудь шишки, заинтересованной в том, чтобы вызвать смятение по поводу святой, — разве не спелись директор Музея Священного Искусства и доктор Одорико Таварес, директор баиянского газетного концерна? Ясней ясного, чего они добиваются: сообщат, что статую украли, а когда схлынет шумиха, Святая Варвара скромненько появится в Музее. Это случай не первый и не последний. Как зовут вора? Называя имена, легко ошибиться, но в данном случае сомнений нет: упоминая о злоумышленнике, падре всякий раз именовал его дон Мимозо^[61].

Была и еще одна версия — выдвинутая, конечно, злопыхателями из оппозиции: они утверждали, что кража совершена по приказу губернатора, собиравшегося преподнести уникальное изображение святой одному генералу, который должен был вот-вот сделаться президентом Бразилии. Такие случаи уже бывали — и неоднократно. Очень кстати всплыло тут имя некоего полковника, питавшего слабость к древностям и раритетам. Когда он командовал своей частью, расквартированной в Масейо, то с помощью местных политиканов опустошил все ризницы штата Алагоас. Спустя какое-то время он получил генеральский чин и был отправлен в отставку. Сменил мундир на пижаму, утерял толику тщеславия, подался в либералы. Алагоанская добыча пошла на приобретение квартиры в фешенебельном квартале Рио — Сан-Конраде. Вспоминая времена былого могущества, налеты на монастыри и храмы в Пенедо и Сан-Мигел-дос-Кампос, генерал объяснял, что эта роскошная квартира досталась ему с божьей помощью и при содействии святых.

Комиссар Риполето чуял, что в воздухе пахнет порохом, угадывал признаки смуты, подозрительное оживление и шевеление, но, вплоть до самого ужина бродя по домам и расспрашивая жителей, не сумел определить характер и движущие силы заговора, без сомнения имеющего

место. Ужинал в грязной забегаловке, ужин был скудный и невкусный. Официант был мало того что слабоумный, но еще и неуклюж как слон: ни на один из многочисленных вопросов агента ответить толком не сумел, а потом вывернул на посетителя полный соусник, выпачкав жиром и еще какой-то дрянью пиджак и почти свежую сорочку. Нет ли тут злого умысла?

НАРОД ВЗЯЛСЯ ЗА ОРУЖИЕ — Граждане Санто-Амаро-де-Пурификасан без различия пола и возраста, а также окрестные крестьяне в изрядном числе и с мачете в руках заполнили освещенную факелами Церковную площадь. «Отдайте нашу Святую!» — кричали они.

Комиссар Риполето, затесавшийся в толпу и в целях сохранения инкогнито кричавший громче всех, в конце концов возглавил целый хор самых рьяных прихожан, перекрывая своим трубным гласом истерический скулеж: «Святая — наша!» Комиссар, наделенный острым умом и бульдожьей хваткой — качества, которых не прощали ему завистливые сослуживцы, — понял, что принимает деятельное участие в митинге, который предшествует манифестации, а может быть, кое в чем и похуже, то есть совершает деяние противоправное и уголовно наказуемое.

Сообразив все это, комиссар Риполето затрепетал, но успокоил себя тем, что орет на митинге по долгу службы. Он применил военную хитрость, замаскировался под уличного смутьяна — и выдумка эта делает честь его сообразительности. Ликование охватило его при мысли о том, какой блистательный доклад представит он доктору Калишто Пассосу, а тот похвалит Риполето за образцово выполненное задание и повысит в должности и звании. Да, он хитер, изворотлив, осторожен, настойчив, решителен, умеет применяться к местности и использовать благоприятные обстоятельства, он дерзок и смел, он достойно представляет свою контору.

Тут из церкви в окружении сморщенных святош и возбужденных журналистов вышел на паперть викарий Санто-Амаро Теофило Лопес де Сантана, падре Тео, как обращались к нему прихожане, Тетео, как умильно называла его Марина, когда он, окончив дневные труды и позабыв обо всех неприятностях, снимал с себя сутану и надевал ночную рубаху, вышитую по вороту розовыми цветочками.

Оттуда, с паперти, ставшей и сценой и трибуной, викарий обратился к народу. В сильных, порой даже излишне крепких выражениях, подробно и негодуяюще изложил он эту гнусную историю. Рассказал, как по-хорошему просили его отдать статую, да нарвались на отказ, как принялись настаивать и упорствовать, как все усиливался нажим, как пришел наконец

недвусмысленный приказ, как произошла погрузка, как по прибытии в Баию статуя исчезла. Исчез и тот, кто несет ответственность за все, кто измыслил этот достойный Макиавелли план, кто подослал воров. Целый божий день, а верней со вчерашнего вечера, пытался дозвониться викарий директору Музея, но так и не довелось ему услышать его медоточивый голос: дон Мимозо скрылся.

Куда же девался всеми почитаемый дон Максимилиан, цвет учтивости, деликатный, говорят, как барышня? Исчез бесследно, утащив с собой нашу небесную заступницу, Святую Варвару Громоносицу. По окончании речи, выдержанной в лучших традициях Антонио Виейры^[62], громившего с амвона вороватых португальских дворян, паства восторженно приветствовала своего духовного вождя. «Да здравствует падре Тео, наш защитник! Да здравствует Святая Варвара! Долой ворующих во храме! Долой дона Мимозо!» Комиссар Риполето спрашивал себя, что это еще за дон Мимозо, но пока ответа не находилось, присоединял свой голос к возмущенному хору. В воздух взлетели ракеты, сильнее запахло порохом. Еще больший восторг вызвала речь доны Кано — маленькой, хрупкой, сухонькой, точно нефритовая статуэтка. Дочь Иансан превратилась в ярого агитатора, в предводителя мятежников, воительницу. «Отобьем нашу святую, она принадлежит народу Санто-Амаро, она — его законное достояние!» — сказала она мелодично и непреклонно, и народ унес ее с площади на руках. Разумеется, снова взвились ракеты.

«Вот она, подрывная деятельность», — смекнул Риполето, ибо чутье у него обострилось как никогда. Он обвел взглядом толпу, чтобы точно подсчитать число коммунистов, собравшихся на площади: дело было нелегкое, ибо с устным счетом у комиссара было неладно. В эту минуту паперть опустела, ушли закоперщики — викарий Жозе Велозо, ювелир Араужо, Освалдо Са из Марагожипе, ризничий Милтиньо, а за ними следом и журналисты: репортеры и фотографы из всех баиянских газет и Жервазио Батиста из столичной «Маншете», совсем недавно побывавший во Вьетнаме.

Они ушли, чтобы продолжить тайное совещание или начать обильный ужин: журналисты — мастера пожрать, без угощения не обойдется. Комиссар Риполето решил отыскать эту подпольную квартиру, пока не подошли к концу переговоры и манисоба^[63], которой так славится Реконкаво и которую так любил светило сыска.

А как найдешь? Надо спрашивать, другого выхода нет. Комиссар стал задавать вопрос о местонахождении конспиративной квартиры людям,

расходившимся с площади. Вопросы, заданные строго и властно, но отнюдь не грубо, почти без брани, повлекли за собой тем не менее очень неприятные последствия. Кучка дерзких парней окружила комиссара, отняла у него револьвер, обругала последними словами и силой поволокла на пристань. Прежде всего его выкупали в водах реки Парагуасу, что можно счесть и благодеянием, ибо жара стояла невыносимая. После этого посадили его в челнок без руля и весел, а челнок, оттолкнув, пустили по течению — эдакие забавники.

Новоявленный мореход плывал недолго. Довольно скоро на крутом повороте, где русло расширяется, челнок наскочил на обширные заросли кувшинок — вот где раздолье моллюскам! — и застрял в непосредственной близости от берега. Ну, вы, наверно, считаете, что комиссар бросился в воду, в несколько энергичных гребков достиг суши? Или нет? Скажу вам по секрету, открою величайшую тайну, только смотрите, строго между нами: гордость баиянской службы безопасности плавать не умел. Пусть этот печальный факт его биографии пребудет во мраке неизвестности, пусть никогда не пронюхают о нем бездельники из управления и не испортят Риполето карьеру.

Мокрая одежда облепила тело, свирепо звенели целые полчища москитов — никогда прежде не видел он столько, — шляпа, которая могла бы помочь комиссару, уплывала вниз по реке, дул ветер, мелькали странные тени, слышались подозрительные шорохи, а наш герой, отправленный с особым заданием в Санто-Амаро-де-Пурификасан благодаря редкому чутью и прочим выдающимся дарованиям, в полнейшей беспомощности и в страхе сидел во тьме, чихая и дрожа всем телом, несмотря на зной. Он честно заслужил похвалу, он достоин продвижения по службе. В том случае, конечно, если избежит воспаления легких или иных напастей — перемежающейся лихорадки, малярии или ревматизма.

ОШАРАШЕННЫЕ — Покинув — вы помните, в сопровождении каких звуков, — авениду Аве Мария и оказавшись на вечерней оживленной улице, Данило вдруг понял: он не знает, что делать дальше. Легко было с видом настоящего мужчины бросить в дверях: «Я без Манелы не вернусь», но как поступить теперь?

Он собрался было идти к судье по делам несовершеннолетних, но, взглянув на часы, отказался от этой идеи. Да и что ему делать у судьи, одному, без жены? Ну, скажет он, что не согласен отдать племянницу в исправительное заведение, так ведь она Адалжизина племянница, к кому из опекунов прислушается судья? Конечно, не к нему, а к кровной

родственнице, особе строгих правил и незыблемых моральных устоев, спятившей на светских приличиях. Так или иначе только завтра сможет он вырвать у судьи новое распоряжение, отменяющее прежнее, а ведь Данило решил вызволить Манелу сегодня же ночью, о чем и объявил в категорической форме жене.

Да, дело-то оказывалось труднее, чем показалось ему, когда он услышал от Адалжизы о ее чудовищном решении. Вспылил, возмутился, брякнул не подумавши, высказался напрямик — вот и стой теперь под фонарем как последний дурак. И тут Данило вспомнил про Жилдету, воспитывавшую сиротку Мариэту, — она-то ведь тоже тетка и ничем не уступит Адалжизе — и решил немедля разыскать ее, чтобы сообразить, что дальше делать: Жилдета — женщина умная и решительная. Адалжиза, конечно, устроит ему скандал, разорется, что он посмел увидаться с «этой заразой» — она называла Жилдету только так, — однако Данило решил наплевать на грядущие неприятности и сел в автобус.

Там, в Тороро, у Жилдеты дома, Данило встретил того, кто и заварил всю кашу — Миро. Данило уже в досталь наслушался от соседки Дамианы похвал этому парню, причем главной его добродетелью считалась постоянная, заразительная веселость — улыбка была нечто вроде его «торговой марки».

— Золотой парень, уж вы мне поверьте, сеу Данило! Будь у меня дочка, я бы с закрытыми глазами ее за него отдала.

Но сейчас Миро вовсе не излучал веселье — был хмур и озабочен. Когда сегодня около семи он приехал к условленному месту, в кармане у него уже лежала повестка от судьи по делам несовершеннолетних с предложением явиться на следующий день к пятнадцати часам — причина вызова не указывалась. Миро в недоумении сунул ее в карман.

Договорились они с Манелой так: он ждет ее полчаса, если она не выходит, значит, тетушка Адалжиза раскрыла заговор или по крайней мере заподозрила недоброе и посадила племянницу под домашний арест, что случалось довольно часто. Но в этот четверг Миро, прождав условленные полчаса, не уехал, не смирился с неудачей: он рассчитывал увезти Манелу сегодня же, нельзя было упускать такой благоприятный случай, следующий может представиться не скоро. Он крутился на углу авениды Аве Мария, надеясь, что Манеле все же удастся ускользнуть.

Профессор Жоан Батиста сказал ему, что видел Манелу около полудня — она возвращалась из коллежа, летела как на крыльях, рассказала ему — по секрету, разумеется, — что задумала побег и что все должно получиться. Дамиана сообщила Миро, что Манела не сидит под замком в своей комнате,

она в этом убедилась лично: перед ужином принесла соседям любимые Манелой пирожки из маниоки. Двери были настежь, комната пуста. «Племянница пошла к подруге заниматься», — сообщила Адалжиза. Дамиана усомнилась в ее словах по двум причинам: во-первых, она своими глазами видела, как тетушка с племянницей вышли из дому часа в четыре, Манела еще помахала ей на прощанье. А через час Адалжиза вернулась, но одна: Дамиана как раз была в дверях. С тех пор о Манеле нет ни слуху ни духу. А во-вторых, странной ей показалась рвущаяся наружу радость, с которой Адалжиза не могла совладать. Была она какая-то взбудораженная и чем-то страшно довольная, на себя непохожая.

Прочие соседи ничего не видели и не слышали. Миро, начинавший тревожиться, пошел к Ризии, к той самой подруге, с которой Манела, по словам Адалжизы, должна была заниматься, и обнаружил ее вместе с ее мальчиком перед телевизором. Манела? Ну да, с утра они были в коллеже, но вовсе не собирались вместе учить уроки: это выдумала Манела, чтобы Адалжиза выпустила ее из дому. Она сказала, что у них с Миро вечером свидание, и была очень взволнована. Миро, недоумевая и тревожась все больше, направился к Жилдете.

ЧТО ДЕЛАТЬ? — Дверь Данило открыл студент-медик Алваро, и он услышал громкий голос. Миро, горячась и размахивая руками, повествовал о том, что ему пришлось подвести французов — он даже извиниться перед ними не успел.

— Дамиана видела, как обе часа в четыре вышли из дому, а потом, когда она отправляла с товаром своих мальчишек-лоточников, Адалжиза вернулась одна. Никто понятия не имеет, где может быть Манела. Вот и все, что мне удалось узнать.

— Добрый вечер... — сказал Данило входя.

Девочки, Виолета и Мариэта, подошли под его благословение, Миро кивнул: он был только шапочно знаком с дядей своей возлюбленной. Жилдета поднялась ему навстречу:

— Что же это происходит, Данило? Миро совсем голову потерял: они с Манелой должны были сегодня встретиться, дома ее нет, вышла вместе с Адалжизой и пропала... Теперь ты — здесь и в такое время... Это что-то новое. Тебе-то что-нибудь известно?

— Мне-то все известно, — ответил Данило печально и виновато. — Дада поместила Манелу в монастырь Непорочного Зачатия.

— Что это еще за монастырь? Первый раз слышу... — начала было Жилдета и тотчас сама себя перебила: — Как? Ты хочешь сказать — в

обитель Лапа? Не может быть!

— Да-да, в монастырь Лапа, в обитель раскаявшихся грешниц.

— Ну, это уж слишком! Этого я терпеть не намерена!

— Что? — встрепенулся и Миро. — К «кающимся»?

— Сам виноват, — ответил Данило. — Я считаю, Дада плохо поступила, потому я сюда и пришел. Но виноват во всем ты. Дада перехватила твою записку, разъярилась, понеслась к судье, все ему выложила, а он отдал распоряжение...

— Какая записка? О чем вы? Брехня! Где доказательства?

— Я сам видел этот клочок бумаги — ты назначил время побега, не увиливай. Ясней быть не может: «Сегодня, любовь моя, ты познаешь высшее счастье...» Дураку понятно, что ты имел в виду.

— Ах, записка! — Миро чуть сбавил тон. — Ну да, я послал ей записку, назначил ей свидание на семь часов. Это так. Я хотел отвести ее в театр «Кастро Алвес», там сегодня французы снимают наших певцов. Послушать вживе Каэтано и Жила — разве это не высшее счастье? Меня подрядили возить французских телевизионщиков, — пояснил он, постепенно успокаиваясь, — хорошие ребята, простые такие, не то что некоторые... Я попросил дону Нилду, она и разрешила мне взять с собой Манелу. Про побег никто и не думал. — Глаза его, устремленные на Данило, вспыхнули. — Я женюсь на Манеле, будет ли на это ваше с доной Адалжизой позволение или нет, но о побеге и речи не было. Пока не было! — добавил он, снова распаляясь, и воздел палец. — Так как же это понимать: вы заперли ее к «кающимся», как все равно шлюху какую! Это бессовестно! Теперь скажите, что думаете предпринять, чтобы вызволить ее оттуда?

Данило, сохраняя спокойствие и не обижаясь на Миро, молчал: он понимал его гнев и обиду.

— Я за тем и пришел к тебе, — повернулся он к Жилдете. — Нам надо сообща обсудить, как вытащить Манелу из монастыря. Мы с Дада поругались: я хотел, чтоб девочка вернулась домой, только и всего. Но сейчас не знаю, что делать. К судье попаду только завтра и боюсь, он станет на сторону Адалжизы. Самое смешное, ей кажется, будто она действует для ее же блага.

— Как ты можешь!.. — не сдержалась Жилдета.

— Ей же хоть кол на голове теши... Оставим это. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Ссориться сейчас не время: Манела сидит за решеткой, страдает, бедняжка... Я и думать об этом не могу.

— Правильно. Ты всегда был добр к ней, — Жилдета качала головой,

чувствуя себя беспомощной и ни на что не годной. — Так, вдруг, ничего придумать не могу. Но выход должен быть. Надо всем вместе раскинуть мозгами, тогда и отыщем решение. Мы обязаны его отыскать!

Виолета и Мариэта, сидя в обнимку, тихо и безутешно всхлипывали. Алваро предложил посоветоваться с адвокатом:

— Давайте позовем доктора Орландо Гомеса, он на семейном праве собаку съел. Ведь он же один из авторов кодекса. Все газеты об этом писали. Дружил с Пако и маму очень уважает. Позвони ему!

Миро нахлобучил берет:

— Не обижайтесь, сеу Данило, погорячился. Спасибо вам. И вам тоже, тетушка. Но я не могу тут прохладиться, пока она там мается. Сегодня же вытащу ее от «кающихся». Сегодня же!

Он вышел. Алваро двинулся следом:

— Пойду с ним, а то как бы он дров не наломал.

ТВЕРДЫНЯ ГОСПОДА — Неисчислимое воинство полицейских и журналистов рыскало по улицам Баии, взбегало по спускам, шныряло по тупикам. Искали двух духовных лиц — монаха и священника.

В редакции газет продолжали настойчиво звонить неизвестные, аттестуя падре как главаря шайки, захватывавшей чужие земли, грабившей церкви, и отъявленного бабника. Компетентные органы располагают достаточным количеством материалов, уличающих падре Абелардо Галвана в том, что он сколотил из местных крестьян вооруженную банду и совершает налеты на имения. Доказательства его причастности к недавнему похищению статуи Святой Варвары собираются. Он изобличен также как мафиозо, специализировавшийся на ограблении церквей, — мафия эта охватила весь Северо-Восток. Звонившие, хоть ни разу не назвались, были превосходно осведомлены и относительно личной жизни падре Галвана, высвечивая новые грани этой незаурядной личности. Развратник, растлитель невинных девушек, хорошо известный владельцам мотелей, где можно снять комнату на несколько часов. В последнее время он, к возмущению своей паствы, делит стол, кров и ложе с некой бесстыдной комедианткой — о ней неизвестный информатор обещал вскоре представить более полные и ошеломительные сведения. Сотрудники «Тарде» Ренато Симоэнс и Жорже Калмон заинтересовались: кто же все-таки звонит? «Проще простого узнать, — отвечал им главный редактор, — достаточно присмотреться повнимательней к латифундистам Пиасавы, а там только один такой». Ренато Симоэнс согласился: «Если не он, то уж наверняка его зять».

В восьмичасовом выпуске новостей был показан сюжет, посвященный обеду на рынке, — круговая самба, рукоплещущий искусству баиянок Жак Шансель, панорама гостей. Наметанный глаз полковника Рауля Антонио выхватил из сидевших за столом разыскиваемого злоумышленника: сосед слева — Фернандо Сантана, лишенный депутатского мандата, сосед справа — тайный коммунист Диас Гомес. Полиции он очень хорошо известен, и обед под телеобъективами в компании крамольников — поступок вполне в его стиле. Ощерившись, бормоча угрозы по адресу бездарных олухов, которыми черт его дернул начальствовать, полковник собрал своих подчиненных и потребовал: «Чтоб сегодня же нашли падре!» Установить местонахождение, глаз с него не спускать, следить за каждым шагом, понадобится — в сортир за ним ходить! Падре ушел от «наружки» перед обедом, непостижимым образом обманув агентов — и службы безопасности, и федеральной полиции. Комиссар Паррейринья в оправдание нес какую-то ахиною о солнечном затмении. Не оправдание, а дерьмо собачье!

Журналисты встрепенулись только в одиннадцать часов: до этого времени они разыскивали дона Максимилиана фон Грудена, который тоже как в воду канул. Репортеры и фотографы, от которых он ускользнул во дворце архиепископа, ничего про него не знали. Не подлежало сомнению одно: в монастырь Святой Терезы, где помещался Музей, директор его не вернулся. Ходили и множились самые невероятные слухи; кто-то видел дона Максимилиана в аэропорту, где он садился в самолет, отлетавший в Рио; кто-то клялся, что он арестован и сидит в одиночке.

Журналисты, караулившие его в Музее, смотрели, позевывая, как идет монтаж экспозиции. К Льву Смарчевскому и Гилберту Шавесу присоединился их коллега Силвио Робато, помнивший уйму анекдотов, которые помогали томящимся представителям прессы убивать время. На сцене театра «Кастро Алвес», где ставили аппаратуру «Антенн-2» и готовились к съемке, расхаживали полицейские, следили за всеми входами и выходами, посматривали на Патрисию, надеясь, что она выведет их на падре. Патрисию в полном блеске всего того, чем может похвастать истая баиянка, пригодилась бы, замечу, для чего-нибудь еще.

А оба священнослужителя — пастырь Пиасавы и директор Музея — находились совсем неподалеку от театра — в аббатстве Сан-Бенто. Падре Абелардо останавливался там каждый раз, как приезжал в столицу: настоятелю монастыря рекомендовал его дон Элдер Камара, знаменитый архиепископ Ресифе и Олинды, главный покровитель «красных падре» — так по крайней мере считали ненавидевшие его военные.

А дон Максимилиан фон Груден, измученный директор Музея, звезда первой величины на интеллектуальном небосклоне Бразилии, непременный участник великосветских игрищ и радений, был, как всем известно и всеми забыто, славнейшим членом ордена бенедиктинцев. В аббатстве за ним сохранялась келья — аскетическая и угрюмая, как келье и положено быть, но отличавшаяся от всех прочих тем, что на стене ее висела великолепная немецкая репродукция «Четырех евангелистов» Йорданса — право, не хуже оригинала.

Легко было предположить, что дон Максимилиан, обладавший огромным кругом друзей, безмерной широтой интересов и жадностью к жизни, обретет себе иной приют. Где? Да где угодно: в мастерской живописца, в особняке банкира, в задней комнате книжного магазина, в студенческой коммуне, на террейро. Никому и в голову бы не пришло искать его в келье бенедиктинского монастыря.

На вершине холма вознеслась над морем твердыня господ — памятник истории, бастион свободы, убежище гонимых.

ТЕАТР ПОЭТА — Театр «Кастро Алвес» был переполнен полицией. «Кишмя кишат», — сказала Нилда Спенсер Нелсону Араужо. Шпики, филеры, инспекторы и комиссары, тайные агенты, одетые все как один — плащ с оттопыренным от револьвера карманом, шляпа с опущенными полями, — представители разнообразных и многочисленных гражданских и военных подразделений службы безопасности собрались, чтобы присутствовать на съемке передачи «Большая шахматная доска», назначенной на сегодняшний вечер. Не впустить их было невозможно. Те, кому было поручено установить местопребывание падре Абелардо, не сводили глаз с Патрисии: она выведет их на «красного пастыря».

В карманах и за отворотами прятали агенты хитроумные звукозаписывающие приборы, сделанные в Америке, в Японии, в Германии: не бывает ничтожней по размеру, совершенней по качеству — последнее слово электроники. Это первоклассное полицейское снаряжение тем не менее удивительно быстро выходило из строя, и, должно быть, прав был полковник Раул Антонио, когда возлагал ответственность за неэффективное использование заграничной техники на отечественные руки-крюки. Почему-то у японцев или американцев работает так, что одно удовольствие. Идеально было бы, размышлял полковник, вместе с техникой выписывать и агентов. Разумеется, речь не идет о заплечных дел мастерах, высоких специалистах, которые ничем не уступят самым свирепым и изощренным палачам из цивилизованных стран «первого мира».

Полицейское столпотворение было особенно заметно: театр закрыли в этот вечер для публики, пускали только немногочисленных гостей, и потому режиссер «Антенн-2» решил начать передачу с выступления четырех звезд — два композитора, два исполнителя, — с того, что Миро в злополучной записке назвал «высшим счастьем». Звали их Каэтано Велозо, Жилберто Жил, Мария Бетания, Гал Коста, и были они виднейшими представителями «тропикализма» — направления в музыке, которое сурово порицалось властями, считалось вырождающимся, подрывным и оппозиционным.

Оно дорого обошлось Жилу и Каэтано: за свои песни, будившие надежду, поднимавшие дух, мгновенно подхватываемые молодежью, они заплатили тюрьмой и изгнанием. Оба только недавно вернулись из Лондона, куда их выслали после тюремного заключения, после издевательств и унижений — волосы остригли, струны оборвали, уста затворили. Теперь они вернулись в ореоле мучеников и героев, их окружали любовь народа и неусыпное попечение полиции.

Чувствительнейшая аппаратура в карманах и за лацканами фиксировала для сведения властей все, что композиторы произносили в микрофоны французского телевидения. Все да не все, ибо выявилась одна примечательная особенность: покуда композиторы пели свои песни или рассуждали о музыке, техника работала прекрасно, но стоило только Шанселю задать им вопрос, связанный с политикой, как полицейские магнитофоны разлаживались и разряды статического электричества начинали грохотать на весь театр. Нельзя было расслышать и понять ни единого слова. А статная и величественная негритянка в баиянском наряде, сидевшая в последнем ряду партера, от души потешалась над этими помехами и треском. Ее кум по имени Эшу Мале просто надрывался от смеха. Эшу явился на ее зов, чтобы вместе с нею оборвать лепестки этой ночи.

С общего согласия Жак Шансель решил записать свои вопросы и ответы музыкантов — а уж это интервью даст в Париже пиццу для разговоров — в другой раз, в другой день и в другом месте, не так сильно подверженном атмосферным превратностям.

На сцене улыбалась в наведенные на нее камеры, завораживала феерическим танцем помощница француза Шанселя, участница этого неожиданного кандомбле — Патрисия. Но глаза ее пытливо высматривали в темном зале ее милого мальчика, ее духовного отца. Обещал прийти, отчего же его нет? Что стало у него на пути? Тюремные стены? Решетки? Обет безбрачия? Ох, уж этот обет. Никогда бы не подумала она, что этот

пережиток средневековья просуществует до наших дней.

На сцене же сидел, наблюдая за съемкой и околдованный бразильскими мятежными ритмами, Жорж Мустаки. У ног его примостилась, положив голову ему на колени, восхитительная Марлен.

ПЕРНАМБУКАНСКИЕ НОВОСТИ — Нет, вовсе не оковы целибата, не обет, произнесенный в Порто-Алегре при рукоположении, помешали Абелардо встретиться с Патрисией в театре «Кастро Алвес», посмотреть, как идут съемка и запись, послушать вольнолюбивые песни Каэтано и Жила, плениться чарующими голосами Бетании и Гал.

После обеда на рынке Модело он долго размышлял о навязанном ему целомудрии: какое тяжкое бремя, даже не тягостное, а роковое. Но в четверг вечером господь послал ему новое испытание, оно-то и удержало Галвана в стенах аббатства Сан-Бенто. Из штата Пернамбуко пришло ужасающее известие, и он вместе со всеми монахами помолился за упокой души священника, за несколько дней до этого убитого в Ресифе полицейскими. Личный посланец архиепископа, некий Пауло Лоурейро, рассказал жуткие подробности: падре отрубили обе руки и лишь затем прикончили.

Жертву звали Энрике Перейра, и он был доверенным помощником архиепископа Ресифе и Олинды, одним из тех, кто видел спасение от всех бед в «базовых общинах» и сумел сплотить вокруг себя молодежь самых различных политических взглядов в борьбе против тирании военного режима. Твердый и последовательный демократ, падре Энрике стал символом сопротивления диктатуре. В день своей гибели он был на одной из студенческих сходок, но домой не вернулся, а вскоре его изуродованное тело, носившее следы пыток, было обнаружено в водосточной канаве — руки отрублены, вместо лица — кровавое месиво. Пауло Лоурейро привез в столицу фотографии трупа.

В штате Ресифе диктатура действовала с особым вероломством и жестокостью. Маленький и щуплый, словно птичка в белой сутане, архиепископ Элдер Камара не обращал внимания на угрозы и запугивания, предавал гласности преступления военных, личным примером поддерживал мужество в своих сторонниках, вовлекал в борьбу новых бойцов. Его бесстрашный голос звучал далеко за границами Бразилии, на всех пяти континентах, и заставлял прислушиваться к себе народы и правительства. Посланец архиепископа, причинявшего властям столько беспокойства, явился в аббатство вместе с неизвестной женщиной, которая, побеседовав наедине с настоятелем не менее трех четвертей часа,

отправилась на встречу с Жилом и Каэтано: французское телевидение как раз в этот день записывало их в театре «Кастро Алвес», а познакомились они в Европе, давшей изгнанникам приют.

Сеньор же Лоурейро, белокурый сертанец средних лет, остался и еще долго рассказывал монахам о том, как идет борьба в Пернамбуко, о том, как восьмидесятилетнего Грегорио Безерру, заковав в кандалы, захлестнув ему шею веревкой, волочили по улицам Ресифе — и все это средь бела дня, на глазах у всех, в самом центре города. Он рассказал и про Ариано Суассуну, Руя Антунеса, Пауло Кавалканти, Пелопидаса Силвейру — все они сохраняют твердость. Запрещены спектакли театра марионеток, а заодно и карнавальные шествия.

Пауло Лоурейро был вместе с бенедиктинцами в монастырской церкви, где служилась заупокойная месса по Энрике Перейре, павшему жертвой диктатуры. Пауло Лоурейро в бога не веровал и потому не молился вместе со всеми, но никакого смущения от этого не испытывал, ибо разделял скорбь монахов.

МАСТЕРА АНГОЛЬСКОЙ КАПОЭЙРЫ — На площади Пелоуриньо, в школе местре Пастинья, состоялась в тот четверг Первая Большая Встреча Мастеров Ангольской Капоэйры. Готовились к ней долго и тщательно, ибо местре Пастинья никак не соглашался сойти в гроб, не оставив преемника и не напечатав в газетах кодекс чести, которому обязаны следовать те, кто занимается этой борьбой-игрой.

В день открытия форума и по окончании его, в воскресенье, мастера должны были показать в школе свое искусство для развлечения и поучения зрителей. В субботу утром на песчаном пустыре, за рынком Модело, где обычно и проходят поединки, их будет снимать для своей программы французское телевидение.

Местре Пастинья, уже отпраздновавший свое девяностолетие, слепой, сгорбленный, недавно оправившийся от удара, но со все еще светлым умом и властным голосом, принимал и приветствовал многочисленных гостей, которые прибывали отовсюду, входя в семь ворот Баии. Его жена Ромелия, торговавшая с лотка акараже, абара, кускузом и прочими яствами, громко называла ему имя каждого, а местре Пастинья повторял его, приговаривая «добро пожаловать!» — он их всех знал как облупленных, понимал, когда бахвалятся они, а когда дело говорят.

Из приглашенных не явился только один — не было на торжественном открытии Первой Встречи Мастеров Ангольской Капоэйры бывшего футболиста Данило Коррейи, выученика местре Пастиньи: тот в свое время

очень одобрял его и говорил, что «полумесяц», «благословение», удар головой выходят у него не хуже, чем финты, обводка, пасы и «сухой лист».

КОДЕКС ЧЕСТИ — Зал был переполнен, общее воодушевление росло, телехроникеры уже сняли открытие для вечернего выпуска новостей, а кинохроникер Сири со своей съемочной группой, состоявшей из его жены, фиксировал на пленке самые невероятные падения и броски.

Раздались рукоплескания в честь особо замысловатого выверта Кудряша, когда в дверях появился Миро: как будто это его встретили аплодисментами. Что ж, ничего удивительного — он всегда был желанным гостем и в школе, и за столом местре Пастиньи: и он, и Ромелия относились к нему как к родному. Местре для всех своих учеников был второй отец. Если старику надо было куда-нибудь съездить, Миро предоставлял свой «ДКВ» в полное его распоряжение, возил его по всему городу и ничего не брал ни за проезд, ни за бензин. «Сколько вы мне должны, местре? Ничего не должны. Это я вам должен, должен и обязан по гроб жизни».

Итак, Миро вошел в зал, а за ним следом — Алваро. Миро едва справлялся с душившей его яростью. Смолкли рукоплескания в честь Кудряша, а хлопнул в ладоши вновь пришедший, требуя, чтобы все внимательно его выслушали.

— Прошу прощения, местре, и вы, ребята, что решаюсь прервать вас, но дело у меня очень срочное и важное. Тут вопрос жизни и смерти. Мне нужна ваша помощь.

— Кто это? — спросил слепец Ромелию. — Голос вроде знакомый.

— Это Миро. Наш Мириньо Желанный.

— Что тебя привело к нам, сынок? Слышу, ты чем-то встревожен не на шутку. Расскажи, облегчи душу.

Миро сбивчиво рассказал, как его возлюбленную, Манелу, силком поместили в монастырь Лапа, который хуже всякой тюрьмы, а она совсем ни в чем не виновата, никакого преступления не совершила, никого не обидела. Ну, а если полюбить парня и захотеть выйти за него замуж — грех, то, значит, только в этом ее грех. Тетка у нее — суцая ведьма, вся полна кастильской спеси, даже не кастильской, а франкистской, фашистской, расистской, да и сама она ей не тетка, а скорее злая мачеха, так вот эта самая гадюка Адалжиза ни за что не хочет, чтоб Манела вышла замуж за простого шоферюгу, который к тому же еще темный мулат. А у Манелы кожа светлая, Манела в гимназии учится, ходит на балы в испанскую колонию и на мессу в новую церковь Святой Анны, а сама

круглая сирота, ни отца ни матери, вот тетка ее и мытарит как хочет.

— Ай, что ж они сделали с девочкой! — вскричала тут Ромелия, знавшая Манелу.

— Не может этого быть, — сказал местре Пастинья и повторил: — Не может этого быть: я не допущу. Не допущу — и все.

Первая из шестнадцати заповедей капоэйриста гласит, что он обязан прийти на помощь каждому, кто его об этом попросит, должен облегчать страдания ближних, предоставлять защиту преследуемым и гонимым. Свет свободы — вот путеводная звезда всех занимающихся капоэйрой, обучающих или обучающихся ей, ибо возникла она из борьбы рабов за свою свободу, — так сказано в преамбуле этого своеобразнейшего документа.

Алvaro отринул последние сомнения: Жилдета, конечно, одобрила бы его.

— Пошли!

— Бежим! — закричал Миро Желанный.

Местре Пастинья простер руку, Ромелия поддержала его под локоть.

— Поспешим, ребята, в неволе час годом кажется. Истинные капоэйристы, за мной!

Он принял командование на себя, зашагал к лестнице. В анналах школы капоэйры не значится имен тех, кто струсил и уклонился, решение помочь слабому было принято единодушно, и «Кодекс капоэйриста», еще не утвержденный на торжественном закрытии Первой Встречи, был применен на практике.

На Пелουриньо, на приснопамятной Площади Позорного Столба, Камафеу затянул старинную песню.

А Манела — там, где час годом кажется, ибо тоска долга, а ожидание еще дольше и у ночи нет конца. От хора капоэйристов подрагивали черные гладкие торцы мостовой. Высилась впереди церковь Носса-Сеньора-до-Розарио-дос-Претос — церковь негров-рабов.

Ромелия вела старика Пастинью, а он, слепой, согбенный, разменявший девятый десяток, но ничего не утративший с годами, шел в авангарде со своим кодексом чести, со знаменем Баии.

ВОПРОС — «А Манела?» — слышу я негодующие голоса моих благосклонных читателей. Данило побежал к знакомому магистратскому чиновнику, Жилдета обзванивает адвокатов, Дамиана и профессор Батиста тоже где-то хлопчут, капоэйристы задумали небывалую забаву. Ну а Манела-то? Что с ней?

Почему автор оставил ее в небрежении? Почему ни словечком не обмолвился о судьбе несчастной? Разве не она — пружина сюжета? Пусть она не единственная героиня романа, но одна из главных, вся каша заварилась по ее милости, это она привела в движение родных и соседей, людей знакомых, незнакомых и совсем посторонних, среди которых есть весьма заметные фигуры нашей юриспруденции да и всего общества. А про нее саму ничего не ведомо. Неужели автор думает, что достаточно посадить ее под замок, чтоб и не упоминать больше? Нет, не пойдет, читатель таким объяснением не удовлетворится: он желает знать, как вела себя Манела в заточении, что чувствовала, бунтовала или покорилась.

К тому же отвели ее в монастырь под вечер, а сейчас уже около полуночи. Совсем скоро наступит пятница, та самая пятница, на которую назначено открытие выставки. Читатель же до сих пор представления не имеет, как реагировала на это на все наша баиянская Джульетта, юная Капулетти с авениды Аве Мария. Вот в какие дебри нас занесло, вот какие аналогии приходят на ум, хотя, видит бог, нелегко представить Миров в роли Ромео: и профиль не тот, и пагубной склонности к самоубийству не наблюдается. Зато он щедро наделен решимостью встретить лицом к лицу и победить сословные предрассудки опекуны: жениться — пожалуйста! с собой покончить — ни за что! Так как же поживает, что поделывает наша новоявленная Джульетта?

Вот что я вам скажу: если уж взялся рассказывать, рассказывай все как есть, не опускай подробностей, не подчиняй повествование своей прихоти, не экономь страниц. У нас и без того отыщется множество писателей, сочиняющих худосочные, но в современном духе книжки, сплошь в пропусках да пробелах — они одним только критикам в радость. Если у таких писателей в придачу к бездарности найдется еще и усердие, тогда для них не все потеряно: помучится, поучится, глядишь, роман получится. Разве не так овладевают искусством капоэйры новички с университетским дипломом?

Однако вопрос повис в воздухе и требует ответа точного и немедленного. Итак, что же с Манелой?

МАТЬ ИГУМЕНЬЯ — Сейчас, благосклонный читатель, сейчас получишь ответ — немедленный, ясный и точный. Я не поспею на подробности: в романе вся штука в подробностях, как я заключил, прочитавши «Дон Кихота».

Местре Пастинья, истинный кладезь народной мудрости, не зря говорил, что в неволе час годом кажется. Именно поэтому он прибавляет

шагу и поторапливает своих капоэйристов, направляющихся к монастырю Непорочного Зачатия. Я же, чтоб блеснуть эрудицией и хоть немного облагородить мои корявые строчки, сообщу, что прямо напротив этой обители стоит дом Жулии Фейтал — той самой, в кого всадил золотую пулю обезумевший от ревности возлюбленный. Он так ее любил, что и смерть решил обставить поторжественней, вот и отлил из червонного золота тяжелую пулю.

Медленно тянулись часы, отсчитанные на четках престарелыми, усталыми монахинями, молившимися в часовне. Манела — девица, собиравшаяся предоставить возлюбленному единственное свое сокровище, — была здесь одна такая, ее одну заключили в монастырь, чтобы спасти от домогательств дерзкого развратника. Когда Адалжиза, оставив Манелу у «кающихся», — посиди здесь, я скоро вернусь — предъявила игуменье приказ судьи, та даже растерялась сначала:

— Уже много лет как к нам никого не помещали. Последней была девушка с Байшо-Сан-Франсиско, ее привез отец по настоянию епископа Барры. Здесь она, бедняжка, и умерла. От чахотки, а может, от тоски, бог ее знает.

— Не забудьте, матушка, что эта обитель и создана была для того, чтобы хранить целомудрие и карать порок, — строго заметил ей падре Хосе Антонио. — Вам бы радоваться, что появилась возможность исполнить божий завет.

Игуменья склонила голову: приказ судьи оспаривать не стала, но никакого воодушевления не выказала:

— Надеюсь, вы скоро заберете девочку отсюда — долго держать ее здесь было бы слишком немилосердно.

Игуменья — а звали ее Леонор Лима — велела сестре Эуниции сходить за Манелой, которая в это время, сидя в келье, предвкушала, как сегодня вечером отправится в театр «Кастро Алвес», рядом с Миро будет слушать своих кумиров — удовольствие мало кому доступное. Все подружки позеленеют от зависти. Адалжиза и падре, не заходя к ней, смылись потихоньку, Манела пошла за монахиней следом, уверенная, что у дверей встретит тетку.

Мать Леонора усадила ее на стул, окинула внимательным взглядом и сказала: «Должна сообщить тебе печальную новость, дочь моя. Мужайся». Печальная новость дошла до Манелы не сразу, но когда она наконец поняла, что тетя Адалжиза поместила ее к «кающимся», заручившись приказом судьи по делам несовершеннолетних — игуменья показала ей бумагу с подписью и печатью, — в ярости вскочила и крикнула:

— Ни минуты здесь не останусь! Сейчас же выпустите меня!

Она вопила, она стучала кулачками по сукну письменного стола, она отталкивала ласковую руку сестры Эуниции, она подняла крик, какого уже десятилетия не слышали стены монастыря Лапа, ибо предшественница ее, девушка из Барры, плакала хоть и горько, но почти беззвучно. Взрыв отчаянья продолжался довольно долго — немало минут оттикали стоявшие в углу старинные часы красного дерева.

Игуменья — седые волосы, выбившиеся из-под чепца, худое лицо, костлявые руки — сидела совершенно спокойно, не приказывала Манеле замолчать, не успокаивала: дала ей выплакаться, позволила обозвать тетку всеми мыслимыми словами, высказать все, что она думает о падре Хосе Антонио — тут по губам настоятельницы скользнуло некое подобие улыбки, — тысячу раз поклясться в вечной любви к Миро. Именно в тот миг, когда охрипший от ярости и протеста голос Манелы вдруг смягчился нежностью, мать Леонора наконец нарушила молчание:

— Послушай-ка, что я тебе скажу, дитя мое, — сказала она с неожиданной сердечностью. — Не думай, что мне очень хочется держать тебя здесь. Я надеюсь, ты пробудешь в моей обители недолго: бог даст, тетка твоя одумается, раскается в своем решении — неразумном, на мой взгляд. Но помочь тебе не в моей воле, ибо тебя поместили сюда по распоряжению судьи.

Она попросила Манелу рассказать все как есть, и та, захлебываясь слезами, рассказала — и про родителей, и про их гибель в автокатастрофе, и про то, как младшую дочь взяла к себе тетя Жилдета, а ее — тетя Адалжиза, которая... Тут она вдруг замолчала, не зная, как определить свою опекуницу, то добрую, то злую как ведьма, то ласковую, то словно с цепи сорвавшуюся — семь пятниц на неделе.

— Я думаю, она больная.

Она поведала и про Данило: он человек хороший, но уж очень боится бешеного нрава своей жены, а вот Жилдета нисколечко ее не боится. Призналась и в том, что нет ей без Миро ни счастья, ни радости и что она должна непременно выйти за него замуж. А тетя Адалжиза не позволяет, потому что он бедный и к тому же еще темнокожий мулат, такой хорошенький... Можно подумать, что сама она не мулатка! Неужели ж она и впрямь считает себя чистокровной белой? Баиянка она — этим все сказано.

Выслушав все это, игуменья заговорила вновь, и худое лицо ее вдруг осветилось добротой, и усталые глаза, видевшие на свете много печального, ожили, а голос стал по-матерински ласковым и

проникновенным: конечно, Манела права, с нею поступили несправедливо, но отчаиваться не надо и тоске поддаваться не следует, ибо и добросердечный ее дядюшка, и отважная Жилдета, и влюбленный в нее юноша, когда узнают о случившемся, в лепешку разобьются, но вызволят ее из монастыря, настоят на отмене приказа. Приказ — это самое главное, без него никуда.

Сегодня они, должно быть, уже не поспеют, но завтра наверняка явятся за Манелой, и — как знать? — будет с ними и раскаявшаяся Адалжиза. А если их старания успехом не увенчаются, она, игуменья, сама пойдет к его высокопреосвященству кардиналу, изложит ему дело и попросит вмешаться и защитить сироту. Надо запастись терпением, уповать на господа и потерпеть. Одна ночь — это не страшно. А ей испытание это зачтется на небесах, и скоро она сама первая будет смеяться, вспоминая это происшествие. Так что лучше всего не терзаться, успокоиться и покориться, сестра Эуниция отведет ее в келью, где она будет жить весь срок — «надеюсь, краткий» — своего пребывания в обители. «И помни, дочь моя, если что будет не так — я сама испрошу аудиенции у кардинала». Сестра Эуниция взяла Манелу за руку.

Звучало это очень убедительно, но все равно как трудно уснуть, а еще трудней промаяться без сна целую ночь! В неволе час годом кажется и время отсчитывается не минутами, а ударами сердца.

ХЛОПОТЫ — Жилдета сочла, что сын дал ей верный совет, и принялась звонить профессору Орландо Гомесу, однако ей ответили, что он за границей, в Португалии, где получает звание почетного доктора Коимбрского университета. Тут вернулся домой второй ее сын, Дионизио, и когда мать рассказала ему о случившемся, он, обычно такой благодушный и хладнокровный, чуть с ума не сошел от возмущения.

— Я разнесу этот монастырь на кусочки! — кричал он.

Жилдета попросила его остыть и успокоиться: хватит того, что она сама места себе не находит и кипит от гнева. Данило вспомнил их общего с Дионизио приятеля, доктора Тибурсио Баррейроса, он несравненный крючоктвор и верный друг. Дионизио горячо поддержал идею обратиться за помощью к нему: «У Тибурсио длинная рука и котелок варит; ему вся Баия знакома, если сам не поможет, то подскажет, к кому броситься». Данило отыскал в справочнике нужный номер, позвонил, адвокат оказался дома, сказал, что ждет милого Принца. «Это дела давние...» — засмутился бывший футболист. «Корона не шляпа, только вместе с головой снимается», — отвечал тот.

Доктор Тибурсио Баррейрос, жизнерадостный здоровяк лет под сорок, встретил их с распростертыми объятиями: «Я ждал одного друга, а пришли трое. Чему обязан такой радостью?» Он пододвинул Жилдете кресло. Жена его, знойная смуглая дона Дагмар, одетая, несмотря на позднее время и на домашнюю обстановку, так, что хоть сейчас — на бал, ушла сварить кофе. Жилдета, которую постоянно перебивали Данило, пытавшийся оправдать Адалжизу, и Дионизио, сыпавший руганью и угрозами, изложила адвокату суть дела. Тут в комнату с подносом, на котором стояли чашечки и кофейник, вернулась хозяйка и, услышав слово «монастырь», застыла на месте:

— В обитель «кающихся»? Она еще существует? — Ей, директрисе курсов английского языка, объездившей весь мир, были непостижимы эти замшелые зловещие предрассудки. — Боже! Какая дичь!

Адвокат сказал, что сегодня же вечером освободить Манелу не удастся. Судья по делам несовершеннолетних — зовут его д'Авила — цветочек не из самых ароматных, в юридических кругах его презирают, но и побаиваются, поскольку он пользуется полным доверием «горилл». Он махровый реакционер, настоящий фашист — в речи доктора Баррейроса явно проскальзывали симпатии к «левым». Рогоносец, зол как сатана и к тому же еще ханжа и лицемер, выдает себя за столп морали, на всех углах распинается о нравственности, а сам не вылезает из борделей и содержит любовниц. Настоящий Иуда — больше года назад раззнакомился с Тибурсио из-за какой-то безделицы... «Понятно, — смекнул Данило, — не поделили бабенку, надо будет выяснить, кого именно».

Самое большее, что они могут сделать сегодня, — получить разрешение — нет-нет, не от судьи, а от настоятельницы! — навестить Манелу. Свидание с родными утешит ее и подбодрит, она не будет чувствовать себя всеми покинутой, поймет, что о ней помнят. Ну, а в дальнейшем главная роль принадлежит Данило: законный опекун, будучи категорически не согласен с действиями жены, имеет право опротестовать решение д'Авилы и потребовать его отмены. Это, конечно, будет нелегко: сволочь судья считает каждое свое слово священным и не привык сворачивать с дороги. Однако не следует забывать, что Данило — глава семьи.

— Завтра узнаем, как надлежит действовать. Данило выдаст мне доверенность на ведение дела. А пока надо позаботиться о свидании. С игуменьей я не знаком, не знаю, что она за человек. Дайте сообразить, кто нам может посодействовать.

Тибурсио Баррейрос взял все на себя, не преследуя никакой иной цели,

кроме успешного завершения дела. Он удалился в кабинет и тотчас стал названивать. Дона Дагмар, обнеся гостей кофе, принялась охать и вздыхать: «Кто бы мог подумать, что это протухшее варварство еще существует!..»

Через пять минут адвокат вернулся в гостиную:

— Идем к доктору Монтейро, он ведет в суде семейные дела. Превосходный человек и знаком с настоятельницей монастыря.

Агналдо Баия Монтейро сам открыл им двери, извинился за то, что предстал перед дамой в пижаме — «не знал, что дона Жилдета почтит меня своим посещением», — и проводил в свой кабинет, где изучал кодексы и готовил решения. Домашние его играли в столовой в лото, слышался смех и восклицания.

Хозяин не вступился за честь судейского сословия, когда Тибурсио обозвал судью по делам несовершеннолетних ползучим гадом: Монтейро и д'Авила не ладили с тех пор, как первому недолгое время пришлось заменять второго и вести его дела, доктор д'Авила был тогда на краткий срок лишен судейских полномочий. Доктор Монтейро успел отменить целую кучу приговоров, вынесенных его предшественником. «Вы не можете себе представить, друзья мои, с каким вопиющим произволом, с какой безграмотностью я столкнулся!»

Сегодня же вечером устроить родственникам свидание с Манелой? Дело отнюдь не невозможное, беда в том, что час уже довольно поздний, а в монастырь, тем более в женский, со своим уставом не ходят... Но попробовать можно, он даст им свою визитную карточку и черкнет игуменье записку, рекомендуя ей Данило и Жилдету. Тут еще явились жаждущие сведений соседи — Дамиана, залитая слезами, и до последней степени рассерженный профессор Жоан Батиста, то и дело восклицавший по-французски: «C'est impossible! Merde alors!»^[64].

Но прежде чем сводный отряд родственников и соседей двинется к монастырю, я по секрету шепну вам, каким образом проведали обитатели авениды Аве Мария о случившемся. Вот каким: Дамиане рассказал об этом профессор, а ему — только не падайте! — сам судья по делам несовершеннолетних. Какая чушь, скажете вы, что может быть общего у столпа режима, у охранителя буржуазной морали с либералом, франкофилом и бонвиваном, как он сам себя называет? Ведь это же настоящие антиподы — достаточно взглянуть на постную рожу одного и послушать раскатистый хохот другого!

А вот поди ж ты, было общее — уютный и приятный бордель Анунсиаты, помещавшийся в квартале Бротас, в старинном, но хорошо сохранившемся «шале», укрытом от нескромных взоров раскидистыми

деревьями. Именно там вечернею порою сходились пути премудрого юриста и прославленного журналиста, поскольку оба были в числе завсегдаев этого гостеприимного сераля. Профессор, высвободившись из жарких объятий Мосиньи Конфорки, встречал в коридоре судью, минуту назад возлежавшего на груди Пруденсии Карамельки, и говорил ему: «Добрый вечер», а тот отвечал. А сегодня судья по делам несовершеннолетних доктор Либерато Мендес Прадо д'Авила с таким видом, будто делился отраднейшей новостью, сообщил товарищу по распутству, что распорядился заключить в обитель «кающихся» некую девицу — «да вы ее, наверно, знаете: она живет с вами на одной улице!» — по просьбе ее тетушки, женщины во всех отношениях достойной, умолявшей вмешаться и не допустить грехопадения. «Так и сказал, мерзавец, — гре-хо-па-де-ни-я».

ШЕСТВИЕ НА УЛИЦЕ ЖОАНЫ-АНЖЕЛИКИ — С двух сторон — с Пелоуриньо и с Тороро, — вступив на улицу Жоаны-Анжелики, две толпы встретились и слились воедино, превратившись не то в скромное шествие на святой неделе, не то в пышную карнавальную процессию.

Капоэйристы, пройдя по Террейро Иисуса, по Праса-да-Се и по площади Мизерикордия, спустились по Ладейра-да-Праса, миновали Управление пожарной охраны, пересекли Праса-дос-Ветеранос, поднялись по Ладейра-да-Индепенденсия и вышли на Кампо-де-Полвора, где был некогда расстрелян монах-революционер, брат Канека^[65].

На каждом перекрестке присоединялись к ним новые люди, и число капоэйристов едва ли не утроилось.

Вторая толпа, состоявшая из родственников Манелы и обитателей авениды Аве Мария, оповещенных Дамианой, двигалась от дома Жилдеты на Тороро. Данило, Жилдета, Мариэта, Виолета, ее братья, друзья и соседи шагали торопливо, чтобы успеть получить свидание. Суеверная Алина дала обет рабыне Анастазии, недавно причисленной к лику святых, — «месяц не допущу до себя мужа, если все кончится благополучно».

И вот на улице Жоаны-Анжелики обе армии соединились, слились — произошло это без всякой предварительной договоренности, но далеко не случайно: все, что происходило в тот вечер, было предначертано и предопределено свыше, а потому и выполнялось с удивительной четкостью.

И вот в тот самый миг, когда ряды одного воинства разомкнулись, побратски принимая в себя другое, когда громче зазвучали беримбау, и боевая песнь капоэйристов заставила окрестных жителей броситься к окнам,

Святая Варвара Громоносица позвонила у обшарпанных дверей монастыря Непорочного Зачатия, где по приказу доктора д'Авилы вновь начала действовать обитель «кающихся».

РАСПОРЯЖЕНИЕ СУДЬИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ДОКТОРА МЕНДЕСА Д'АВИЛЫ —

Сестра Эуниция, исполнявшая в тот вечер обязанности вратарницы, услышав звонок, приоткрыла окошечко, всмотрелась и узнала Святую Варвару — как же было не узнать, если они плыли из Санто-Амаро в Баию на одном баркасе? А когда причалили, святая подобрала полы своего одеяния и отправилась в мир.

По непростительной беспечности, по необъяснимой забывчивости — *mea culpa, mea maxima culpa*^[66] — я не уведомил вас, любезные мои читатели, о некоем событии, наряду с другими имевшем место в этот четверг, не рассказал, что рано утром сестре Эуниции нанес визит комиссар Риполето. Он предупредил, что говорить будет о деле государственной важности, и с ходу задал вопрос: «Кто украл статую?» — «Никто ее и не думал красть. Святая Варвара своими ногами сошла на пристань и даже попрощалась со мной». Комиссар не скрывал своего огорчения: «Ну, что ты будешь делать? Заговаривается. Монастыри полны таких вот впавших в детство развалин. Несет, сама не знает что».

Итак, узнав Святую Варвару, монахиня заулыбалась, отодвинула щеколду, открыла дверцу в массивных монастырских воротах. Улыбнулась и святая:

— Здравствуй, Эуниция. Господь да пребудет с тобою.

— Благослови, Святая Варвара. Ты к нам? С ночевкой? Заходи, заходи.

Святая Варвара Громоносица благословила монашку и тут же сунула ей под нос официальную бумагу — дата, подпись, печать, все чин чином.

— Вот приказ об освобождении несовершеннолетней Манелы Перес Белини, подписанный судьей. По его же приказу ее поместили к вам сегодня днем. Мать Леонор не спит еще? — вопрос был задан просто так, для разговора, ибо кто-кто, а уж она-то прекрасно знала, что игуменья только что погрузилась в первый, самый сладкий сон.

— Ушла к себе, наверно, спит. Но если тебе угодно, я разбужу.

— Не надо. Положи-ка эту бумагу ей на стол, утром увидит. И поскорей приведи девочку. Ступай-ступай, я жду. Заходить мне недосуг.

Сестра Эуниция взяла приказ, машинально взглянула на печать и на закорючку вместо подписи, и скорыми мелкими шажками засемила исполнять. Она была просто счастлива. Вот хорошо-то! Опекунша

одумалась, судья отменил первоначальное свое решение, жестокое и несправедливое, а она, смиренная монашка, и Святую Варвару сподобилась еще раз увидеть — наверно, родилась Манела в ее день. Скорей, скорей, нельзя заставляя ее ждать. И девочку тоже: бедняжка — как недели на нее одеяние послушницы, так к еде и не притронулась, а когда в часовне молилась с сестрами, все плакала-заливалась. Ее и не признаешь-то в обличье черницы, так, наверно, и лежит на кровати, не раздеваясь. Еще несколько часов назад вела ее сестра Эуниция по горькой дороге, и сердце у монашки разрывалось от жалости. Шепча благодарственную молитву, она побежала еще быстрее.

Манела не стала даже тратить время на переодевание — вылетела не чуя под собой ног, представляя, как встретит ее тетя Адалжиза: от нее ведь чего угодно можно ждать, не угадаешь, что ей в голову придет через минуту, а теперь, наверно, раскаялась, поняла, как бесчеловечно она с ней поступила. Сестра Эуниция открыла дверь. Манела поцеловала ей руку, выскользнула наружу, и с глухим стуком дверь затворилась, лязгнула щеколда.

А стоявшая на улице прекрасная как сон негритянка в одеждах винного цвета улыбнулась Манеле, протянула ей амулет — и исчезла.

ПОСЛУШНИЦА — Ночной ветерок с моря, принесший облегчение изнывающей от зноя Баии, игриво заиграл в складках просторного одеяния послушницы, усилил напор, налетел на Манелу словно шквал.

А она вздохнула всей грудью — свободна! Снова охватило ее прежнее ощущение полноты жизни, уже испытанное однажды — в январе, на празднике в честь Спасителя Бонфинского, когда на церковном дворике смочила она водою Ошала курчавую голову Миро. Жаль, что он не может посмотреть на нее в этой хламиде на пять размеров больше — вот бы посмеялся. А сейчас, наверно, сердится: обещала и не пришла. Я не виновата, милый, — меня засадили в «обитель кающихся». Она оглянулась по сторонам, но статной негритянки, протянувшей ей амулет, нигде не было, она точно в воздухе растаяла. Зато перед собою увидела она самого Миро — под руку с Ромелией. Толпа заполняла маленькую площадь, образованную торцом монастыря и Баиянским Коллежем.

Затихли веселые беримбау, смолкли песни — капоэйристы шли тихо и сосредоточенно, скрывая волнение — близился час испытания, и никто — ни Миро, ни сам слепец Пастинья — не мог бы сказать, кончится ли дело благополучно. Манела высмотрела в бесформенной людской массе Жилдету и Данило: в поднятой руке тетушка держала конверт, это была

записка доктора Агналдо игуменье. Тут раздался крик, от которого, должно быть, содрогнулись небеса, земля задрожала, — Миро узнал Манелу.

— Манела! Манела!

— Где? — спросил местре Пастинья.

— Да вон же, в монашеском платье, — показала Ромелия.

Едва успела она улыбнуться любимому, кивнуть Данило, встретиться взглядом с Жилдетой. Только хотела окликнуть их, броситься к ним навстречу, как и ноги, и язык отнялись. Это вселилась в нее и овладела ею богиня Иансан.

Танцуя, прошла Манела вдоль монастырского фасада, спустилась по проезду. Местре Пастинья — зрение ему отказало, но разумение осталось — воздел руки, склонил голову, как положено по обряду, восславил богиню: «Эпаррей, Ойа!»

Весь народ подхватил, все лица обратились в сторону «посвященной», раздались ритуальные хлопки: «Эпаррей, Ойа, слава тебе, Иансан, повелительница грома и молний!» Лицо Манелы сияло, тело ее, окутанное тяжелым одеянием послушницы, гибко изгибалось в танце. Никогда еще не видел ее Миро такой красивой, и в пояс в знак почтения поклонился он ей.

А богиня Иансан пролетела по площади из конца в конец, показывая людям танец воительницы, лицом к лицу встретившей смерть и одолевшей ее. Остановилась перед местре Пастиньей, и они обнялись, как ведется исстари — грудь к груди, щека к щеке. Потом пошла поздороваться с достойными и избранными.

Начала с Жилдеты — развела руки, чтоб заключить в объятия свою тетушку и защитницу. Жилдета покачнулась на вдруг ослабевших ногах, сплонула на четыре стороны света, скинула туфли, и в объятиях Иансан был уже Ошала, вмиг прилетевший к впавшей в транс иаво. Затем настал черед Данило. Почтительно и смиренно ждал богиню Иансан Миро. Богиня двинулась к нему, и танец ее был танцем битвы и победы: тело «посвященного» затрепетало, рот наполнился слюной, голос стал хриплым оттого, что так близко оказалась к нему его возлюбленная и повелительница — грозная Иансан, принявшая обличье Манелы, Манела, воплотившаяся в царицу вод и бурь. Она обхватила его ниже колен, подняла своего огана в воздух, и одежды послушницы несколько ей не помешали.

Так, ни на миг не останавливая танец, двинулась Ойа в сопровождении Ошала на террейро, где уже поджидала ее матушка Менининья де Гантоис — только теперь подняла она якорь, только теперь взяла бритву. Народ валил следом, довел ее до самой Ларго-де-Пулкерия. Легкий бриз сменился

шквалистым ветром, в чистом небе, возвещая свободу, вспыхивали молнии, гремели громы. Ойа Иансан танцевала на улицах славного города Баии.

ЧЕЛН «ПОСВЯЩЕННЫХ» — Поднялась Иансан по ступенькам, постучала в двери. На террейро в полутьме — одна лишь слабенькая лампочка лила скудный желтоватый свет — сидела на своем троне матушка Менининья, и дочери ее, Клеуза и Кармен, сидели по обе стороны от нее. Толпа осталась снаружи, на Ларго-де-Пулкерия, стала мало-помалу редеть.

— Я ждала тебя, матушка.

Матушка Менининья прикоснулась кончиками пальцев к голове той, кто пал перед нею ниц. В расположении освященных ракушек прочла жрица приказ Ойа: оставить место на челне, отплывающем сегодня ночью к причалу посвящения, для дочери ее.

Все прочие были уже в сборе: был тут и Ошун, и Огун, и два Шанго, и Ошумарэ, Ошала молодой и Ошала-старец, и даже Оссаэн вышел из лесу, что не часто бывает. А Ошосси не явился, занят был охотой. Не откликнулась на зов и грозная богиня черной оспы Омолу — она сражалась с заразой в сертанах, в селении Шике-Шике. А Оба не захотел плыть, чтоб не встречаться с Иансан, с которой был не в ладах, и давно уж тянулась эта распря. Словом, хватало у Манелы спутников в этом странствии.

Матушка Менининья де Гантоис взяла бритву, готовясь применить грозный свой дар — выбрить голову «посвященного», открыть дорогу божеству. От блеска бритвы погасли молнии, звук оправленного в серебро бараньего рожка — пежи — заглушил громы.

Долгие часы страстной пятницы

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ — Когда рассвело, не спавший всю ночь, грязный, дрожащий от лихорадочного озноба, в сырой одежде, голодный, до полусмерти закусанный москитами, потерпевший кораблекрушение комиссар Риполето заметил на реке необычайное оживление.

Откликнувшись на призыв викария Санто-Амаро, из всех городков и деревень, стоявших на берегах Парагуасу, плыли к месту сбора суда всех видов и размеров, сбивались в эскадры и флотилии. Под самым носом у комиссара Риполето готовилась к походу новоявленная Непобедимая Армада.

Воинственный падре Тео отдавал приказы вооруженным формированиям, а вооружены они были четками, молитвенниками, часословами, цветами, собранными со всей округи, чтобы было чем украсить постамент статуи, когда Святая Варвара вернется домой. Мужчины несли пальмовые ветви и стебли сахарного тростника. Дона Кано раздавала желающим листочки бумаги: на одной стороне — цветное изображение Громоносицы, на обороте — весьма спорные и неточные сведения о ней.

А комиссар Риполето, оказавшийся в самых неблагоприятных условиях, не вполне еще оправившийся от выпавших на его долю передраг и испытаний, не позабывший насмешек и оскорблений, расслабиться себе не позволил, бдительности не утратил — даром, что ли, отдал он полиции двадцать лет беспорочной службы? Голод обострил его чутье: и все это столпотворение с утра пораньше, и жуткое количество плавсредств у причала, и множество людей, снующих взад-вперед, казались ему крайне подозрительными. Обстоятельный комиссар выдвигал версии, строил предположения, отмечал разнообразные факторы, как то: уровень воды, скорость течения, тактико-технические данные цапель — все это пригодится для доклада, который при первой возможности будет отправлен в Управление безопасности штата Баия.

Выбраться из полузатопленного челнока, добраться на чем-нибудь до столицы, явиться к начальству и отрапортовать — таковы были ближайшие задачи комиссара. Из-за злосчастного неумения плавать — тайный недостаток, для нас уже тайной не являющийся, — он не решался

добраться до берега. Комиссар был уже готов отчаяться, как вдруг все решилось. Да, решилось.

Негодные юнцы, которые вчера так мерзко с ним обошлись, неожиданно явились к нему на выручку. Извлекли его из застрявшего челнока, переправили на один из баркасов, готовившийся к карательной экспедиции, и даже предложили комиссару доставить его в столицу, хотя он их об этом не просил. Их великодушный поступок был омрачен только тем, что они связали его по рукам и ногам. Комиссар Риполето отправлялся в Баию в качестве заложника.

ГАЗЕТЫ: ИНТЕРВЬЮ С ВИКАРИЕМ САНТО-АМАРО — Газеты не пожалели места для материалов, посвященных исчезновению святой, — были тут и пространные редакционные статьи, и комментарии, и обзоры.

Особого упоминания заслуживает подвал на третьей странице «Диарио де Нотисиас», в котором дирекция объединенных информационных агентств Баии поздравляла читателей с небывалой сенсацией, произошедшей накануне. «Диарио» была единственной газетой, осмелившейся приподнять завесу тайны, окутывавшей прибытие Святой Варвары в Баию, обскакав тем самым своих соперников, которые перепевали на все лады официальную версию: статую выгрузили, ее встречал сам директор Музея в сопровождении многочисленных журналистов (sic), он заявил, что это произведение искусства украсит собою выставку. А «Диарио де Нотисиас» документально засвидетельствовала и подтвердила фотоснимками охватившее дона Максимилиана отчаяние — Святой Варвары на причале не оказалось.

А Гидо Герра, герой дня, первый кандидат на увеличение почасовой оплаты, удостоившийся личной похвалы главного редактора, доктора Одорико Тавареса, который поздравил его и похлопал по плечу, не почил на лаврах. Раненько утром, сунув под мышку экземпляр со своим репортажем, он направился в Санто-Амаро, намереваясь взять интервью у викария, и прибыл туда раньше всех прочих журналистов вместе с фоторепортером Жервазио Батистой Фильо.

Падре Тео принял Гидо, что называется, «мордой об стол» — да и как иначе разговаривать с этой тварью, обделавшей его в своем репортаже с ног до головы, оболгавшей его без всякого уважения к сану, бранившей его за то, что викарий долго не отдавал статую на выставку, глумившейся над ним, обзывавшей его ретроградом, мракобесом, ископаемой личностью, «мрачной средневековой фигурой, неспособной понять культурные запросы широких масс». Мерзавец репортер утверждал, что он не достоин

возглавлять приход Санто-Амаро и что статую такой ценности нельзя верить его попечению. Он окрестил его «стервятником в сутане».

Нет, падре Тео был не из тех, кто пускает таких проходимцев на порог. И потому не успел Гидо, сияя приветливой улыбкой, представиться викарию, как тот, не потрудившись хотя бы поздороваться, сказал:

— Гидо Герра? — и смерил тщедушного репортера злобным взглядом. — Вас-то мне и надо. Давно вам хотел сказать, что стервятник в сутане — это не я, а та, кто произвел такую сволочь на свет! — и швырнул репортеру в физиономию клочки разорванной статьи, язвительной, живой и увлекательной. Сильней всего обиделся падре Тео на то, что его обозвали мрачной средневековой фигурой. Это он-то, падре Тео, не заботится о культуре, это он-то ретроград?! Разумеется, от интервью он отказался наотрез.

Но и Гидо Герра был не из тех, что кротко проглатывают отказ, сдобренный сильными выражениями, означающими крайнюю степень порицания. Он покаялся, он признал свое поведение легкомысленным и добавил, что во всех остальных случаях он как репортер безусловно корректен. Он воспользовался тем, что викарий слабо разбирался в хитросплетениях журналистики, и применил верное средство — стал бить на жалость: ему пригрозили увольнением, или, мол, возьмешь интервью или убирайся на все четыре стороны, а если он потеряет работу, кто будет кормить жену и двух невинных малюток? Жена и малютки были придуманы тут же, не сходя с места, но жалобный плач голодных детишек смирил негодование падре Тео. И на первой странице «Диарио» появилась такая «шапка»:

ЖИТЕЛИ САНТО-АМАРО ДОБЬЮТСЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ СВЯТОЙ!

МЕСТО СТАТУИ — ЗДЕСЬ, А НЕ В ЗАПАСНИКАХ МУЗЕЯ!

Профессиональная щепетильность заставила Гидо высказать свое несогласие с некоторыми заявлениями викария: пусть никто не посмеет обвинить его во лжи и в клевете. Он своими глазами видел, какое отчаяние охватило дона Максимилиана на пирсе, когда монах убедился в исчезновении святой, и потому не может поддержать викария, который публично и печатно обвинил дона Максимилиана в том, что тот сам специально создал всю эту неразбериху, чтобы под шумок спрятать Святую

Варвару в запасниках своего музея. Ответственность за это утверждение целиком несет падре Теофило Лопес де Сантана: «Пиши, пиши, печатай, беру все на себя!»

В ожесточенной тяжбе за статую медоточивый и учтивый дон Максимилиан явно перешел все границы, стал позволять себе презрительные отзывы о Санто-Амаро, вызывающее пренебрежение: «Статуя, достойная Вальядолидского Музея скульптуры или любой экспозиции в Европе или Америке, прозябает в захолустном городке Реконкаво! Это абсурд! Приход Санто-Амаро не может обеспечить ей не только доступ ученых и туристов, но и необходимую безопасность. В один прекрасный день шайка ловких воров, специализирующихся на монастырях и церквах, попросту говоря, свистнет ее — и прощай, Святая Варвара! Только в Музее при Баиянском университете статуя Громоносицы, во-первых, будет в полной безопасности, а во-вторых, ее смогут увидеть тысячи и тысячи восхищенных зрителей».

Выключив диктофон, Гидо протянул викарию руку, благодаря и прощаясь, и весело сказал:

— «Дон Мимозо» — это хорошо придумано. Я зря обозвал вас «стервятником в сутане», признаю свою ошибку, еще раз прошу прощения. Чтобы окончательно искупить вину, в интервью вы будете называться «Голубок Господень». Пойдет?

— Голубок — это опять же то... ну, скажем, существо, благодаря которому вы коптите небо. Если посмеете употребить это выражение по моему адресу, приеду в Баию, набью вам морду, а потом испрошу у Всевышнего прощения. — Он снова оглядел тощенького, щуплого репортера, уродливого и чернявого, голенастого и длинноносого, как журавль, отца двух крошек. — Нет, пожалуй, морду бить не будем: приеду и оттаскаю вас за уши при всем честном народе. Тогда и каяться мне не придется.

Гидо, все еще смеясь — «тот еще хмырь этот викарий!» — вошел в кафе, где ждал его Жервазио, заказал кофе: «Будьте добры, полный кофейник и две чашки», включил диктофон — викарий заполнил своим негодованием целую кассету — и принялся записывать интервью. Добрые католики Санто-Амаро, обсуждавшие за соседними столиками перипетии исчезновения Святой Варвары, примолкли, услышав голос своего пастыря, искоса воззрились на незнакомцев. Репортер исписывал листок за листком аккуратным почерком, он не перечитывал свой текст, предоставляя стилистическую правку секретарю редакции. Окончив, отдал стопку бумаги и кассету фотографу, исполнявшему в этой поездке обязанности

шофера, и напутствовал его:

— Передай материал Клеберу, пусть расставит запятые где надо. Как проявишь и напечатаешь, парочку снимков отложи для викария. А потом гони сюда во весь дух! Здесь заваривается каша!

ПРИМИРЕНИЕ — Адалжиза заснула так, как спят только люди с чистой совестью. День выдался хлопотный, много было треволнений и беспокойства, нервы разгулялись вконец. И не успел Данило с перекошенным лицом выйти за дверь, как Адалжиза вымыла посуду и прилегла у себя в спальне. Телевизор ничем ее в этот вечер не прельстил, а ссора с мужем — повод недостаточный, чтобы вызвать бессонницу.

За те почти двадцать лет, что они прожили в браке, Данило несколько раз уходил из дому, хлопнув дверью, крича и клянясь, что ноги его здесь больше не будет. Тем не менее через час-другой он возвращался, кроткий как ягненок — ярость его улетучивалась, ссора забывалась. Возвращался, чтобы загладить свою вину, всегда приносил ей какой-нибудь гостинец: заморский фрукт — грушу или яблоко, — плитку молочного шоколада или красную розу.

Преклонив колени, Адалжиза помолилась, лишней раз прочитав «Богородице» и «Отче наш» в благодарение господу за то, что даровал ей защиту, укрепил и привел к победе. Помолилась и улеглась, не мучась никакими предчувствиями, не подозревая о том, что творится в эти минуты на Аве Марии. Она знала, что, проснувшись, обнаружит у себя под боком Данило, и он будет вести себя как ни в чем не бывало, и даже не вспомнит о давешней ссоре, и не станет требовать, чтобы она вернула Манелу. Отрешившись от мучивших ее страхов, Адалжиза уснула, и приснился ей чудесный сон: двое полицейских волокут макаку Миро к судье д'Авиле.

Все шло как всегда, и, пробудившись, Адалжиза увидела перед собой мужа. Он в рубаше, но еще без штанов выходил из ванной, собираясь на службу. «Доброе утро», — сказал Данило без намека на вчерашнюю ссору, и Адалжиза, с улыбкой ответив ему, сама заперлась в ванной, прихватив с собой транзистор. Данило окончательно оделся, достал из почтового ящика экземпляр «Гарде» и уселся в кресло, ожидая кофе. Адалжиза с подносом в руках появилась в комнате, когда он как раз дочитывал сообщение о пропаже статуи.

— Только и разговоров что о святой, — заметил он.

— О ком? — переспросила Адалжиза, читавшая только уголовную хронику и новости светской жизни.

Данило дождался, пока она принесет кофейник и чашки, и лишь после

этого поведал ей о происшествии, переположившем весь город: изваяние Святой Варвары Громоносицы, привезенное из Санто-Амаро на выставку, прямо с пирса исчезло неведомо куда. Все газеты кричат об этом.

— Диких денег стоит. Подозрение падает на викария Санто-Амаро, а другой падре — его сообщник, тут целый заговор. Обнаружится она у доктора Клементе Мариани или еще у какого-нибудь толстосума, они все собирают редкости и содержат для этого шайку всяких мерзавцев. — Он рассмеялся от души. — Недаром же говорится: священники — мошенники.

Адалжиза внимательно посмотрела на мужа. Лицо его так и сияло, лучилось радостью от того, что вышло в рифму, которая, несомненно, много раз прозвучит сегодня в стенах нотариальной конторы. Что-то необычное почудилось ей в оживлении Данило.

— Похищение святого образа — не повод для зубоскальства, это тягчайший грех святотатства. Не понимаю, как священнослужитель мог впутаться в такое дело, и не вижу тут ничего смешного.

Но Данило, продолжая повторять свой стишок на все лады, уже поднимался из-за стола, натягивал пиджак, надевал шляпу, шел к дверям. Поведение его все больше удивляло Адалжизу. Он даже изменил своей привычке и не спросил ее: не надо ли купить что-нибудь? Вопрос этот стал уже ритуальным, и хотя Адалжиза неизменно отвечала: «Нет, ничего не надо», сейчас ей вдруг стало не по себе. Что с ним сегодня творится? Раньше, когда после очередного скандала они мирились, Данило был к ней подчеркнуто внимателен, а теперь не принес ни цветочка, ни яблочка, ни шоколадки. Оливковой ветви она сегодня не дождалась. Чем крупней была ссора, тем старательней подлизывался Данило к жене, тем ласковей был он после примирения. Вчерашнее происшествие было чуть ли не самым ожесточенным за все их супружество: подобное происходило лишь в первые годы брака, когда Данило добром или силой пытался внедриться в жену с тыла, а она отвечала: «Ни за что! Лучше смерть!»

Удивленная, сбитая с толку, уязвленная Адалжиза, увидев, как Данило преспокойно открывает дверь и собирается уйти, даже не попрощавшись, не выдержала:

— А кто вчера говорил, что без Манелы домой не вернется?

Данило, уже взявшийся за ручку, уже толкнувший дверь, обернулся к жене — безмятежное лицо, ровный голос. Так, словно речь шла о событии зауряднейшем, ответил:

— А Манела не желает сюда возвращаться. Она стала «дочерью святого» на кандомбле Гантоис.

Когда Адалжиза вновь обрела дар речи, муж был уже далеко. В чем

была, в туфлях на босу ногу бросилась вдогонку, да поздно: только и видела она, как сел он в автобус, в котором всегда ездил на службу.

УНИЖЕНИЕ — Чудовищное, незабываемое оскорбление нанесла Адалжизе Дамиана, пустая бабенка, с которой зазорно якшаться. Дамиана видела, как она пронеслась вслед за Данило, и, разумеется, стала у дверей на часах, а когда Адалжиза понуро возвращалась домой, вдруг загородила ей дорогу. Она так торопилась поскорее отвести душу, выложить распиравшие ее новости, швырнуть их в надменное лицо этой воображалы, которая невесть что о себе мнит, что даже не поздоровалась.

— Слыхали про Манелу, дона Адалжиза?

Адалжиза хотела было повернуться к соседке спиной и скрыться в доме, сделав вид, что ничего не слышала. Но любопытство превозмогло. Адалжиза, зная наперед, что ничего, кроме позора, из этой беседы не выйдет, все-таки спросила:

— Что?

— Вчера ночью перед монастырем в красавицу нашу вселилась святая. Своими глазами видела.

Дамиана не объяснила, какого дьявола занесло ее глубокой ночью к монастырю Лапа, не сказала о том, кто помог Манеле выбраться из заточения, но зато во всех подробностях и с восторгом описала и празднество на площади, и танец Иансан, и пляску Ошала, воплотившегося в Жилдету — «забыть нельзя, дона Дада!»

Она ссылалась на присутствовавших — «не дадут соврать!» — кроме Жилдеты, был там профессор Батиста, Алина со своим сержантом и местре Пастинья — «да, сам старик Пастинья явился». Ну, да сеньор Данило, наверно, рассказал ей самое главное, а может быть, и все, он ведь был такой веселый, и Иансан почтила его, подарила ему амулет. Поцеловала «посвященная» и ее, Дамиану, в знак дружбы и благодарности. Но самое необыкновенное началось, когда — «сеу Данило не говорил?» — Манела — и как у нее только сил хватило? — подняла своего жениха в воздух и исполнила с ним танец посвящения. Что это было — сверхчеловеческая сила ориша, или сила любви, или обе они вместе укрепили тонкие руки девушки? «Как жалко, что вас не было, вам бы понравилось, дорогая моя дона Дада!»

Горло точно петля сдавила, от мигрени глаза полезли на лоб, голова стала раскалываться, и все же Адалжиза слабеющим голосом спросила:

— А как же она из монастыря-то вышла?

Щекастое смуглое лицо расплылось в улыбке — сверкнули белые

зубы. Раздался неудержимый хохот, и Дамиана принялась извиняться:

— Ах, милая дона Дада! Простите меня, но я не знаю! Хоть убейте, не знаю! — А потом Дамиана покончила с жеманничаньем и притворством, перестала миндальничать, высказала все, что накипело, отвела душу, вконец уничтожила соседку да еще и плюнула на труп. — А вот что мне с божьей помощью открылось, того я и от вас не утаю: та подлянка, что упрятала бедную девочку в монастырь, — не человек, а упырь! У нее ни сердца, ни души, будь она проклята во веки веков, чтоб ей ни дна, ни покрывки! Так-то, милая моя, драгоценная моя дона Дада!

ГЛАВА, СОДЕРЖАЩАЯ КОЕ-КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О СИЛЬВИИ ЭСМЕРАЛДЕ — Адалжиза резко отвернулась, шваркнула дверью перед самым носом наглой твари. Вошла в дом, остановилась посреди комнаты, чтобы перевести дух — ей казалось, вот-вот что-то с ней случится. В ванной пустила струю холодной воды, смочила лоб и щеки. Сердце колотилось так, что она почти слышала его удары.

Потом она надела платье и туфли, схватила сумку и двинулась в церковь Святой Анны, на Рио-Вермельо. В автобусе перебирала четки, задыхаясь от вонючего дыма дешевой сигары, которую курил сосед. Она шевелила губами, твердя молитву, а скотина сосед поглядывал на нее искоса. Автобус еле полз, останавливался на каждом углу, казалось, конца этой поездки не будет.

Падре Хосе Антонио крестил младенца, вокруг купели стояли испанцы, и Адалжиза, чтобы не вступать в беседу со знакомыми, вышла на паперть. Крестины затягивались: младенец был отпрыском богатой семьи, имевшей право еще и на проповедь. Наконец в окружении родителей, бабушек, дедушек и крестных появился падре. Деваться Адалжизе было некуда: пришлось здороваться. Падре подписал свидетельство, получил деньги за отправление требы, подтвердил, что непременно будет присутствовать на торжественном обеде, снял епитрахиль. Он почувствовал, что любимейшая его прихожанка чем-то сильно взволнована:

— Que haces aquí tan temparano, hija?^[67] — Оставаясь с Адалжизой наедине, он всегда говорил по-испански, оставляя без внимания ее бразильское происхождение: так его речи звучали с отеческой нежностью. — ¿Por que te mantienes de pie? Que se pasa contigo, que te veo temblar?^[68]

— Манела сбежала из монастыря!

— ¿Se fugo? Del convento? Imposible. No te creo^[69].

Адалжиза выложила ему все, что знала, свалив в одну кучу ссору с мужем, наглуую соседку, местре Пастинью и ориша. Все это было так сумбурно, что падре вправе был бы усомниться, в полном ли душевном здравии пребывает усердная овечка стада господнего. У святош часто ум заходит за разум, и они принимаются нести околесицу, но это случалось, как правило, с древними старухами.

— No puedo entender. Lo mejor es ir hablar a la Madre, saber lo que paso^[70].

В автобусе падре напомнил Адалжизе, что мать игуменья не больно-то возликовала, получив приказ судьи, даже не думала скрывать свое неудовольствие, проявила легкомыслие, чтобы не сказать — вольнодумство. Отнеслась к его словам без должного уважения, не приняла во внимание приведенные им доводы. Уж не из тех ли она современных монахинь, которые... Но тсс! Доказательств пока нет, но вовсе не исключено, что мать Леонор сама устроила побег Манеле, иного объяснения он не видит. Если подтвердится — матушка Леонор Лима заплатит дорого: он, падре Хосе Антонио, дойдет до викарного епископа.

Мать настоятельница поздоровалась с падре, а приходу Адалжизы была явно рада:

— Могу только одобрить ваше решение. Раскаявшийся грешник вдвойне достоин божьей благодати. Я очень, очень рада за вас.

От подчеркнутого пренебрежения и дерзости монахини загривок падре Хосе Антонио налился темной кровью. Он прервал поток ликований и потребовал объяснений: каким образом удалось Манеле совершить побег? Рассказывайте все без утайки, если не хотите весьма неприятной беседы с монсеньором Клюком! Игуменья, не устаивая его ответом, молча вытащила из ящика стола приказ, подписанный судьей по делам несовершеннолетних. Падре, впившись глазами в бумагу, читал ее и перечитывал, проверил штамп, подпись, печать: никаких сомнений — подлинное! Адалжиза тоже обследовала его.

— Это работа Данило... То-то он говорил...

— Данило? Твой муж?

— Да... Он говорил, что пойдет к судье, что у него такие же права опеки, как и у меня...

— Но беде судья при тебе сказал, что отменит приказ лишь по твоей просьбе!

Падре Хосе Антонио гордился тем, что говорит по-португальски не хуже чем на родном языке: разве только едва заметный акцент выдавал в нем иностранца. Но стоило ему выйти из себя, разволноваться, как «б» и

«в» начинали путаться — кастильский одолевал. Он хотел забрать приказ с собой, но игуменья отказала наотрез. Только в том и пошла она навстречу, что разрешила снять ксерокопию в Баиянском Коллеже, расположенном поблизости. Вернувшись, падре спрятал копию в карман и заявил:

— Келью не санимать! — Он воздел перст. — Гречница бернется! Очень скоро! Очень! Может быть, ее овуяли весы! Придется изгонять! — Испанская фонетика давала себя знать все сильнее, свидетельствуя о том, сколь сильно было смятение его чувств.

— Дай-то бог, чтоб вернулась! — Адалжиза осенила себя крестным знаменем.

Дело оказалось не таким скорым, как предполагал падре-фалангист, ибо судья по делам несовершеннолетних в то утро в свой служебный кабинет не явился. Принимавший их чиновник отсоветовал им идти к нему домой:

— Доктора д'Авилы нет. Его супруга, дона Диана, внезапно занемогла, ее срочно положили в больницу. Доктор при ней неотлучно. Разве что к вечеру, если ей станет лучше, он придет сюда. Наведайтесь после двух.

Дона Диана, супруга судьи. Ее превосходительство Диана Телес Мендес Прадо д'Авила, виднейшая представительница баиянской знати, известная в театральных кругах и на ложе прелюбодеяний, а также и тебе, любезный читатель, как Силвия Эсмералда.

ИЗГНАНИЕ — Словно разъяренный лев в клетке, метался дон Максимилиан по своей тесной келье, и рев его сотрясал сумрачные коридоры аббатства...

Не пойдет. Эта фраза никуда не годится. Образ тривиальный и нимало не соответствует действительности: лысоватый, изящный и хрупкий дон Максимилиан ничем не напоминает льва с величественной гривой и острыми когтями. Сравнение избитое, затертое, вульгарное, а главное — уводящее нас от истины. Коридоры в обители Сан-Бенто — широкие, ярко освещены и не сотрясаются ни от рева, ни от рычаний, ни от стонов. Даже рыданий не слышно. Падре Энрике Перейру, по приказу военных властей убитого в Пернамбуко, оплакивали под звуки органа на заупокойной мессе в монастырской часовне. На тайной сходке духовных и мирян протест, переполнявший их сердца, не выражался в демагогических речах, не перерастал в коллективную истерику, — он укрепляет волю, он пробуждает совесть и велит продолжать борьбу за справедливость и за свободу, даже если это будет стоить отрубленных рук, размозженных голов, изуродованных тел, брошенных гнить в канавы. Дон Максимилиан не

принимал участия ни в таинстве отпевания, ни в политических беседах — он сидел у себя в келье и размышлял.

Бдение его длилось целую вечность, пропасть унижения и бесчестия была бездонна, но вот наконец глаза его сомкнулись: благодетельный сон смежил его вежды, но не извлек клинок позора из сердца, не утишил скорби, не смирил тревоги, не избавил от горечи поражения и осознания краха. Затерянный в пустыне мира дон Максимилиан подписал отречение. В письме на имя его превосходительства ректора Баиянского университета он слагал с себя обязанности директора Музея, которые так плодотворно и неутомимо исполнял на протяжении десяти лет. Да будет сказано во всеуслышание и закреплено в этих строках, что только благодаря ему обрел Музей превосходную организацию, богатейшие фонды, громкую славу общенационального и международного центра науки, всеобщее признание, неоспоримый авторитет.

Решение было принято в безмолвии монашеской кельи, наедине с самим собой. За стенами обители ждали дон Максимилиана легионы врагов, готовые растерзать его, вывалить в грязи, возвести на Голгофу. Разговаривая в четверг утром с ректором по телефону, он уж собирался сообщить об отставке, если статуя не отыщется, но промолчал — еще оставались время и надежда; в беседе с викарным епископом Ключом он сказал, что примет увольнение от должности и затворится в монастыре, и его преосвященство согласился: в самом деле, после такой нелепой и скандальной истории он не может оставаться ни в прежней должности, ни в Баии. Итак, отречение и изгнание! Перед лицом смерти одно другого стоит.

Изгнание? Да-да, изгнание! Дон Максимилиан, повитый промозглыми германскими туманами, исколесивший весь свет, бывавший в Европе, в Азии и в Америке, бросавший якорь в стольких гаванях, без усталости работавший, только под палящим солнцем Баии обрел свою истинную родину, ступил на берег земли обетованной, которая приняла его радушно и сердечно. Мало того, он обрел и истинную свою сущность в этом краю, омываемом баиянским морем, в стране людей пламенных, наделенных творческим воображением, и добрым сердцем, и смешанной кровью — непременным условием их существования. Дон Максимилиан пересек пустыни, не согнулся под ударами житейских бурь и припал к этому животворному источнику, имя которому — гуманизм.

В ужасную ночь исчезновения Святой Варвары, под бредни Эдимилсона, грезившего наяву, он, дон Максимилиан фон Груден, воззвал к небесам, проклиная тот день и час, когда прибыл в Баию. Он поносил народ, в котором все сливается и перемешивается, окаянную страну, не

знающую границы между явью и сном, людей, верящих в чудеса и фетиши. Бог знает, какую хулу изрыгал он в тот час, себя не помня, какую чушь нес. Он тут же пожалел об этом, пожалел и раскаялся. Как только дон Максимилиан представил себе, что придется, быть может, уехать прочь, покинуть этот город и его смуглых милых жителей, он понял: всякое другое место на земле станет местом его ссылки.

Да, наверно, он, вдумчивый и отважный исследователь, блестящий ученый, признанный во всем мире специалист, не пропадет — отыщет себе пристанище в другом аббатстве, в другом каком-нибудь музее или научном центре, изучающем религиозное искусство. Но нет в мире уголка, где бы жизнь так радовала его и тешила, как в Баии. Нет! Не существует!

Много бумаги извел он, пытаясь объяснить, почему принужден уехать: исписывал страницу за страницей, размышляя, вспоминая, оправдываясь и прося прощения. Ни один из трех вариантов этого прощального письма его не удовлетворил и не был дописан. А то, что получилось в итоге, заняло всего несколько строк: дон Максимилиан уведомлял, что уходит в отставку и уезжает, чтобы никогда больше не возвращаться. Ибо если вернется, то захочет остаться.

Когда рассвело, он пошел в церковь, преклонил колени; перекрестился. На кухне ему дали кофе и ломоть хлеба. Он послал за газетами, попросил передать настоятелю, что он здесь и хочет его видеть. Как можно скорее.

НАСТОЯТЕЛЬ — Ну, а покуда дон Максимилиан, поневоле ставший терпеливым, ждет приема у настоятеля монастыря Сан-Бенто, а почтенный аббат перечитывает текст своей проповеди, посвященной убийству в Пернамбуко — он произнесет ее в воскресенье с церковного амвона, — воспользуемся паузой и сделаем еще одно отступление в нашем извилистом повествовании.

Движимый чувствами искреннего уважения и приязни, я со всеми почестями, на которые он имеет безусловное право и которыми — почестями, а не правами — не пользуется, представляю вам настоятеля обители Сан-Бенто дона Тимотео Аморозо. Его присутствие в моей истории, где толпятся и толкаются столь многочисленные падре и поэты — превосходные и отвратительные, владеющие тайной и словом или безграмотные, — окажет на меня вдохновляющее действие.

Прежде чем облечь костлявые рамена белой сутаной, дон Тимотео был самым обыкновенным человеком, гражданином и семьянином, имел жену и детей и со всем на свете знаком был не понаслышке. Он принял постриг, когда овдовел и, врачуя потерю, обратился за утешением и радостью к богу.

Он писал стихи, хоть никогда их не печатал, и поэзия была присуща каждому его шагу, каждому мигу жизни, прожитой так, как подобает человеческому существу. Дон Тимотео Аморозо возродил в Баии традиции тех славных апостолов, которые не довольствовались тем, что обращали в христианство индейцев и негров и призывали их к покорному смирению.

Падре Мануэл де Нобрега появился в Бразилии в числе первых иезуитов, открыл на горе школу, был среди тех, кто основывал на востоке мира город Баию — прекраснейший из всех. Здесь, с амвона церкви да Се гремели проповеди непримиримо верующего в чудо падре Антонио Виейры, выражавшего чаяния невольников из лесов и с плантаций. Святая инквизиция, преследовавшая его при жизни, не успокоилась и несколько веков спустя и, чтобы заглушить его трубный глас, снесла церковь, своды которой еще хранили отзвук гневных обличений, неистовых нападков на воров, трусов, палачей.

Два монаха, носившие имя Агостиньо — де Пьедаде и де Жезус, — сотворили облик святых, даровали им вечную жизнь в камне, дереве, глине. Брат Канека, предшественник падре Энрике Перейры, бежал из Пернамбуко и был для устрашения и примера расстрелян на Кампо-де-Полвора, в самом центре Баии. Многие-многие другие, чьи имена, к прискорбию, изгладились из памяти автора этих строк, скверно знающего историю, с самоотверженной любовью посвятили себя городу Баии и обитателям его. Но никто не сравнится с доном Тимотео Аморозо, настоятелем аббатства Сан-Бенто.

За несколько дней до описываемой нами пятницы он предоставил в своем монастыре убежище и защиту студентам, которые устроили манифестацию на площади Кастро Алвеса. Их разогнали дубинками, но плакаты и лозунги вознеслись над прутьями монастырской ограды. Чтобы конфисковать их, чтобы перехватить смутьянов, цепным псам правопорядка надлежало вломиться в Сан-Бенто, однако на дороге у них стал, раскинув руки, тщедушный монах — и они не осмелились войти. Пришлось удовольствоваться злобным лаем с площади.

Когда в городе праздновали пятидесятилетие матушки Менинины де Гантоис, хранительницы афробразильского культа, наследницы преследуемой и запрещенной религии чернокожих рабов, главной жрицы йалориши Баии и Бразилии, дон Тимотео отслужил в монастырской церкви торжественный молебен и произнес похвальное слово ревностному ее служению богам и людям Баии.

Вот вам только два деяния, два поступка, два примера из десятков подобных — и этого достаточно, чтобы благосклонный мой читатель смог

увидеть в полный рост и во всем блеске нового персонажа, который появляется в моей хронике затем лишь, чтобы исповедовать дону Максимилиана.

РАССУЖДЕНИЕ О ЧУДЕ — Разумеется, никто не узнает ни словечка из того, что было сказано и выслушано на исповеди: тайна ее будет соблюдена неукоснительно, как предписывает нам святая наша мать-церковь.

Скажу только, что дон Тимотео отнесся к дону Максимилиану с уважением, восхищением и пониманием, которые вполне заслуживал наш высокоученый монах, украшение ордена бенедиктинцев, и что, отпустив ему грехи и наложив не слишком суровую епитимью, он обещал помочь ему и добиться перевода в один из монастырей Рио, куда тот собирался переехать немедленно по сдаче дел.

Увидев, что дон Максимилиан исполнен решимости, но напрочь лишен душевного спокойствия, аббат завел с ним дружескую беседу. Он спросил, почему директор сомневается в милосердии и всемогуществе божьем и не уповаает на чудо:

— Ведь чудеса существуют, они происходят ежеминутно, и одна лишь гордыня не дает нам заметить их.

Разве то, что привело Эдимилсона на причале в такой трепет, не было чудом? Почему же дон Максимилиан сомневается в нормальности своего помощника и не верит в существование других чудес? Чудо — это тот самый хлеб насущный, что дает нам господь. А уж здесь в Баии, где такое множество богов и столько сверхъестественных явлений, чудесам можно и вовсе счет потерять: на них уж внимания не обращают, они входят в обиход, становятся обыденностью.

— А разве не чудо — жить в таких условиях, как наш народ живет? Величайшее чудо.

Аббат не стал развивать тему нищеты, поскольку собеседнику его, мучившемуся непритворно, было явно не до этого: тоска грозила обернуться раздражением и неприязнью. Аббат окинул взглядом — а глаза у него были цвета пронизанной солнцем воды — устало опущенные плечи, измученное лицо дона Максимилиана и пожалел его. Какой же бальзам излечит эту разверстую рану? Притча об учителе и ученике, застывших на пустынном причале.

И дон Тимотео сказал тогда, что знания иногда становятся шорами на глазах, что наука порой превращает нас в нетерпимых, спесивых, недоверчивых дурней. А вот Эдимилсон, недоделанный ангел господень, не

пожелал превратиться в самодовольного догматика, носящего свое самолюбие, как беременная — живот, не захотел, чтобы наука убила в нем веру в чудо. Сын мой, брат мой во Христе, милый дон Максимилиан, последуйте его примеру: отриньте границы и рамки, не обуздывайте свое воображение, не унимайте фантазию, ибо превыше науки, которой владеем мы, — божья благодать и поэзия.

МУЧЕНИЧЕСКИЙ ВЕНЕЦ — В приходе Пиасавы падре Абелардо Галван кое в чем убедился на собственном опыте, а кое о чем знал только понаслышке. Со времен семинарского отрочества и по сию пору слышал он предписания, ограничения, запреты, правила и каноны. Рамки были узки, запреты — многообразны.

Отец его, преуспевающий врач, мечтал, чтобы сын пошел по его стопам, стал помощником и преемником. Мать, всю жизнь жадно глотавшая романы, видела его ученым, профессором университета. Однако бабушка, женщина богатая и властная, произнесла свой приговор: «Хочу, чтобы внука моего возвели в сан епископа, хочу поцеловать перстень у него на пальце, но при этом не он чтобы меня благословил, а чтобы я — его». Звали ее Эделвайс дос Рейс-Ризерио, овдовела она рано, лет в тридцать, высока была ростом, дородна телом и непреклонна нравом.

Ни в какой бинокль не разглядишь вожделенных регалий епископства — очень они далеки. Не знаю, может, в ту подзорную трубу, через которую бабушка Эделвайс с веранды своего дома оглядывала бескрайние пастбища, и можно их заметить. В редких письмах она сетовала: «Что за блажь такая — добиваться епископской митры в Баии?»

Ах, бабушка, подвела тебя твоя труба. И перстень, и митра так и останутся недосыгаемыми. Какое там епископство! Пастырю крошечного нищего прихода в Пиасаве и то грозит опасность: монсеньор Рудольф Клюк предъявил ему ультиматум: или прекратите свою подрывную деятельность, или мы вас из Пиасавы уберем. Вот, бабушка, какое у меня епископство — я бедный попик, которому грозят большие неприятности. За спиной дона Рудольфа — гигантская тень Жоазиньо Косты, обрекающего на смерть безземельных крестьян. Добра не жди.

Зато совсем рядом, только руку протянуть — мученический венец: сеньор Пауло Лоурейро привез из Ресифе кое-какие известия. Рассказывая монахам про убийство падре, давая анализ политической ситуации в стране, он назвал бенедиктинцев «товарищи» и сказал: «Мы возвращаемся к временам мучеников».

Абелардо Галван был с ним согласен: да, воскрешаются героические

эпохи, когда христианские мученики жизнью расплачивались за то, что несли в мир истину Священного писания. Вновь наступает опасное, волнуемое время «Церкви бедняков» в расколоте надвое мире, и римская католическая апостольская церковь, мечась между богатыми и обездоленными, тоже оказалась разделенной надвое. Горсточка прогрессивно настроенных священников — против легиона попов-мракобесов... Падре Абелардо смотрел на узкий круг монахов и мирян — слово «товарищи» приблизило их друг к другу в этот тревожный час, породнило, сгладило разницу. Ему вспомнились бабушкины слова: «Я требую, чтобы ты стал настоящим священником, а не одним из тех надушенных, надутых спесью щеголей, которые разгуливают у нас в Порто-Алегре. Я хочу, чтоб ты стал истинным служителем господя, а не божьей потаскухой мужского пола». Дона Эделвайс не любила обуздывать свой нрав — и в верховой езде, и в жизни предпочтительней казались ей шпоры.

«Настоящим священником...»? Но уж тогда точно не придется тебе, бабушка, целовать мой епископский перстень, ибо требование твое несовместимо с твоей мечтой. По велению свыше стал Абелардо в ряды армии бедняков, плечом к плечу с самыми неимущими — с безземельными батраками. Он исполнил клятву, которую дал при рукоположении, когда простерся на полу в церкви, принимая святое причастие. Дона Эделвайс, чье поместье находилось в штате Рио-Гранде-до-Сул, знала, как бедно живут ее пеоны, но даже и представить себе не могла нищенское положение крестьян Северо-Востока.

Падре Абелардо выполнил обет — невзирая на угрозы, на газетную клевету, на неодобрение церковных иерархов, на злоешие предупреждения. А сколько тех, кто действовал против несправедливости открыто и бесстрашно, пал жертвой наемных убийц, подсланных латифундистами. Список их длинен и пополняется все время: не проходит недели, чтобы не находили труп падре в каатинге^[71] или в зарослях на плантации, или на пустынных берегах реки Сан-Франциско — всюду, где бесправные батраки осмеливаются предьявлять права на землю, которую обрабатывают.

Пастырь Пиасавы был настоящим священником, ибо требовал от своих прихожан, живущих хуже скота, не смирения, но сопротивления. Но довольно ли вести себя мужественно, чтобы иметь право называться настоящим католическим священником? Готовясь принять мученический венец, падре Галван решил вырвать из своей объятай пламенем груди даже намек на малейшее неповиновение обету. Надо угасить это пламя, надо

затоптать его раз и навсегда, чтобы во веки веков от искры греха не вспыхнул, сжигая сердце, пожар. А ведь искра эта уже проскальзывала: не далее как вчера в машине, и потом, на обеде в честь французов, и когда прощались — «пока, завтра увидимся в театре», — когда губы Патрисии, влажные и горячие губы, коснулись его иссушенных и жаждущих уст. Можно ли считать настоящим священником того, кто свершил смертный грех? Ах, бабушка, это трудней, чем ты думаешь.

Но если говорить начистоту, он не знал, какой смысл вкладывала доня Эделвайс в понятие «настоящий священник». Кстати, о ней самой и о местном падре много чего поговаривали в округе. Каноник Жезуино Санто Доминго командовал гаучо в приснопамятных войнах конца века, скакал на коне в своей сутане с карабином поперек седла. Он точно сошел со страниц романа Эрико Вериссимо^[72]. «Спит он с доной Эделвайс», — шушукались и пересмеивались пеоны и горничные-китаянки. Однако не осуждали ни хозяйку, ни своего пастыря — дело житейское, природа свое возьмет. Так что же все-таки понимала бабушка под этими словами?

ИЗБРАННИК — «Все тебе объясню, — сказал падре Абелардо Патрисии, когда та позвонила узнать, почему не явился он в театр, — я был на мессе по мученику, а потом пытался понять причины и следствия его мученичества». Патрисия удивилась. «Да, вновь наступают времена апостолов и самопожертвования: теперь исполнение Христова завета означает беспощадное преследование, подлую клевету, а может стоять и жизни», — отвечал он возбужденно и даже весело. Абелардо чуть было не сказал Патрисии «товарищ», но вовремя прикусил язык.

Патрисия слушала эту торжественную речь с явным нетерпением. Сегодня, в пятницу, группа «Большой шахматной доски» должна была работать на Пелоруиньо, снимая то, что в сценарии называлось «баианский карнавал» с участием африканских групп, афоше «Дети Ганди» и «Интернасьонаис» и школ самбы, среди которых блистала руководимая композитором Валтиньо Кейрозом и его пламенной и неугомонной матушкой доной Луз да Серра. Накануне по радио и по телевизору всех желающих приглашали собраться к пятнадцати часам на Пелоруиньо, где электротрио Додо и Осмара начнут этот импровизированный карнавал. Нилда Спенсер твердо пообещала Шанселю, что придет от двух до трех тысяч человек самое малое, и француз задрожал от восторга.

— Потом расскажешь... — перебила падре Патрисия. — Нет-нет, мне это очень интересно, говорить сейчас не могу, просто зашиваюсь... Я жду тебя в два у Школы, ровно в два часа — дня, разумеется... Да! Знаешь, я

даже перекусить не успею, принеси, если сможешь, сандвич. Да, с ветчиной. А лучше с колбасой. Я колбасу больше люблю. А тебя — еще больше. Разве ты не знал? Ну так знай, мой милый мученик, мой Святой Себастьян. И пожалуйста, вымой шею: тебя же будут снимать, — дерзко добавила она.

Вот ведь человек: ничего у нее толком не поймешь, ничего прямо не говорит, оболъстительница! А что это она несла про шею? Неужели опять телевидение? Неужели ей мало было обеда на рынке? Даже представить себе трудно, что скажет викарный епископ, если увидит своего священника за одним столом с комедиантами и полуголыми танцовщицами — исполнительницами самбы. Абелардо вспомнил вкус ее горячих губ. И еще смеется над его мученичеством: «...мой Святой Себастьян, я люблю колбасу, а тебя — еще больше, так и знай!» Ах, бабушка, какое это беспокойное и рискованное дело — быть настоящим священником!

Не в силах отделаться от упорно одолевавших его мыслей, он сказал бы Патрисии, что исполнение Христова долга — дело избранных, а он этой чести не заслуживает, не достоин ее, но если господь предназначил его для мученического венца, если поместил среди избранных, — он готов, он не отступит. Однако Патрисия положила трубку, прежде чем пастырь Пиасавы успел поклясться ей, что опасность его не страшит, что он никогда не бросит бедняков и что никто никогда не заставит его отказаться от общины, не замкнет его уста, несущие господне слово. Падре Абелардо Галван пылал, горел, был исполнен страсти — в общем, хоть сейчас на крест или на колесо.

НАЕМНЫЙ УБИЙЦА — Вот только не знал наш божий избранник, готовый принести себя в жертву, что на Ларго-де-Сан-Бенто, на площади перед бенедиктинским монастырем, стоит, пожевывая спичку, Зе Ландыш в дождевике, в шляпе с опущенными полями, в темных очках, поджидая его, чтобы сопроводить в какое-нибудь укромное место и там активно споспешествовать приятию мученического венца: в данном случае пули в лоб. Револьвер у Ландыша был шестизарядный, но больше одной пули он в таких случаях до сей поры еще не тратил.

Зе Ландыш был человек верующий и богобоязненный. Глубоко почитал господя бога и падре Сисеро, небесного покровителя и заступника разбойников, бандитов и в особенности наемных убийц. Разумеется, полицейским, палачам, солдатам летучих кавалерийских отрядов и другим преступникам уповать на небесную защиту не приходилось. Зе Ландыш слушал мессу в монастырской церкви, размышляя о царствии небесном:

славное, наверно, место: целый день играет музыка и все кушают манну — неземного вкуса лакомство. При этом он не сводил глаз с падре Абелардо.

Надо было накрепко запечатлеть в памяти его физиономию, чтобы не повторить ошибку, совершенную однажды на ярмарке в Каруару. Он тогда застрелил не того, кого следовало, — выпил рюмочку кашасы, закусил ломтиком вяленого мяса, подобрался почти вплотную: похож, похож на обреченного, а по правде говоря, ничего общего — только усики как у Чарли Чаплина, вот они-то и сбили Ландыша с толку... Здесь, в церкви Сан-Бенто, снова повинился он перед господом в своей ошибке. По его собственным подсчетам, на тот свет отправлено им было никак не меньше двадцати мерзавцев, Ландыш о них и не вспоминал никогда, и угрызений совести не испытывал, справедливо полагая, что без веских оснований человек заказывать убийство не станет — кто ж будет выбрасывать деньги на ветер?.. Но этот, из Каруару, остался у него на совести тяжким бременем: он даже мессу отслужил за упокой души по ошибке застреленного.

Но уж морда этого попика врезалась ему в память, уж тут-то он не обмишулится. Гад, наверно, без чести, без совести, один из тех, кто не признает господних заветов и хочет отобрать землю у законных ее владельцев, кто знать не желает ни границ, ни документов, ни законов... А может быть, он залез под юбку кому-нибудь из дочерей полковника Жоаозиньо: они обе на загляденье, особенно старшая, замужняя. Эти нынешние падре даром времени не тратят, долго вздыхать не станут: раз — и под кустик, ну, кроме тех, конечно, недоделанных, что предпочитают не брать, а давать. Ландыш не слишком строго порицал первых: кто отказывается от того, что само в руки идет, недостойн царствия небесного, а вот извращенцев, сброд поганый, презирал всей душою.

Полковник Жоаозиньо Коста уплатил вперед, потому что в эту пятницу должен был раненько утром куда-то улетать по срочному и внезапно возникшему делу. Зе Ландыш дело это понимал — не маленький: заказчик предпочитал быть подальше в час «Ч», в момент истины, в миг исполнения правосудия. Божьего правосудия, сказал полковник Ландышу, ибо на этих хмырей с дипломами юристов надежда плоха, они до скончания века ковыряться будут, а падре-безбожники вконец обнаглели, сколачивают оравы оборванцев и захватывают чужие земли.

И, обвеваемый утренней прохладой, чистый сердцем и помыслами, безгрешный и праведный, стоял Зе Ландыш на Ларго-де-Сан-Бенто, готовясь исполнить поручение, поджидал приговоренного падре, у которого шансов уцелеть не было никаких. Приговор вынесен тем, у кого есть на это

право, за работу уплачено — и хорошо уплачено, физиономию жертвы Ландыш узнал бы из тысячи других, так что его преподобие мог уже считаться покойником и заказывать по себе панихиду.

НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА — А викарий Санто-Амаро, несносный падре Тео, тем временем во главе лучших людей города свершал последние приготовления к отправке Непобедимой Армады в Баию. Цель — отбить Святую Варвару, привезти ее назад, вернуть на прежнее место в алтаре церкви. Прежде всего, конечно, найти ее, где бы она ни таилась.

А где же ей таиться и кто ее таит? Для викария тут сомнений не было: статуя спрятана в каком-нибудь укромном месте, и это дело рук директора Музея, которому оказывает содействие сам кардинал. Но припертый к стене разгневанным народом, негодный монах признается в своем злодеянии, вернет святую. Тут ему никакой кардинал не поможет.

Городу же Санто-Амаро грозила опасность остаться без горожан: все хотели принять личное участие в вызволении святой, и для этих тысяч добровольцев не хватало уже места на кораблях и судах, хоть было их, видит бог, немало. Главное было не сколотить ополчение, а не допустить, чтобы участники экспедиции передрались из-за места, из-за плаката, из-за пальмовых ветвей. Кончилось тем, что дона Кано, привыкшая разбирать ссоры и улаживать тяжбы, поднаторевшая в принятии единственно верных решений, вынесла вердикт: каждая семья выделяет по одному представителю. Но даже и после этого галеоны и каравеллы остались перегруженными: Санто-Амаро рвался в бой.

Погрузка началась после полудня. Многие суда, прибывшие к месту отправки, были уже до отказа забиты развеселым воинством. В дорогу запаслись разнообразной и обильной снедью — были тут и бутерброды, и фрукты, и крутые яйца, и жареные цыплята, и рыба, и мясо — вяленое, копченое, жареное, — и свиные отбивные, и пирожки с креветками, и паштеты из крабов... Перечислять можно до утра, но, боюсь, аппетит разыграется, слюнки потекут. А я еще не упомянул о целых батареях пива и прохладительных напитков и о тайно пронесенных, вопреки запрету, бутылках кашасы. На яхтах — было их всего четыре, и принадлежали они богачам — рекой лилось виски.

Старушки из Общины Пречистой Девы Блаженного Успения составляли экипаж одного из лихтеров, и на палубе его царило непритворное оживление. Вырядились они как на праздник: белые юбки с кружевами и оборками на крахмаленных чехлах, баиянские кофты, и на груди у каждой сияла и горела червонным неподдельным золотом ладанка

— чудо ювелирного искусства. Из этих чернокожих веселых старушек кому было под восемьдесят, а кому — за, а кому и больше девяноста. Семидесятишестилетняя Баду считалась между ними девчонкой, а старейшина их, Мария Пиа, родилась еще во времена рабовладения. Беззубыми своими деснами жевала она ломтики сахарного тростника.

Комиссару Риполето, со вчерашнего дня находившемуся под присмотром юных атлетов, развязали руки, дали куриную ножку, два банана, пастилы, хлеба. Нет, в плену он с голоду не помрет. Потом опять связали ему руки за спиной, потому что, попросившись в лесок по малой нужде, он попытался удрать. Комиссар, преодолевая понятную тревогу — «не придушат ли меня по дороге?» — даже и в столь стесненных обстоятельствах помнил о служебном долге и фиксировал в памяти — жалко, что память дырявая! — приказы мятежных главарей и начертанные на картоне лозунги: «Требуем возвращения Святой Варвары!», «Святая — наша!», «Долой музейный империализм!», «Да здравствует Святая Варвара!», «Да здравствует падре Тео!»

Непобедимая Армада, поставив все паруса, к трем часам пополудни была уже готова и ждала только приказа выступить, чтобы доплыть до Баии, выгрузиться, дойти до монастыря Святой Терезы, где размещался музей, осадить его и воспрепятствовать назначенному на девять вечера вернисажу. Да, паруса были поставлены, экипажи набраны и подготовлены, десантные команды рвались в бой, воины и маркитанты размахивали пальмовыми ветвями, транспарантами и плакатами, флагами и хоругвями — неисчислимая сила баркасов, ботов, шхун, яхт готовилась отчалить, проплыть по реке Парагуасу, стать на якорь у Рампы-до-Меркадо. Подобных флотов не видано было со времен войны с голландцами.

Викарий, вооруженный боцманской дудкой, окруженный детьми и паствой, взяв себе в вестовые репортера Гидо Герру и фотографа Батисту, распрощался с кумой и экономкой Мариной и ступил на палубу флагманского корабля, объявив, что командует флотом.

РЕШЕНИЕ — После беседы с настоятелем дон Максимилиан фон Груден довольно долго ломал голову над тем, как бы ему пробраться из обители Сан-Бенто в Музей и остаться незамеченным журналистами: они продолжали нести караул во дворике — кто, убивая время, перебрасывался в картишки, кто слушал транзистор, а Жозе Берберт де Кастро, у которого всюду были связи, нашел пристанище в мастерской Роке, помещавшейся прямо напротив церкви Святой Терезы, и развалился в кресле, любезно предоставленном ему «популярнейшим мастером резьбы по дереву» — так

он аттестовал его в одной из статей, посвященных исчезновению святой.

Итак, всласть поразмышляв и окинув мысленным взором те передряги, которые выпали на его долю за эти чудовищные двое суток, а также те, которые еще маячили впереди, дон Максимилиан принял окончательное решение. Раз уж он все равно пропал — спасти его могло бы только чудо, но вопреки упованиям дона Тимотео он по-прежнему в чудеса не верил, — то надо встретить беду с гордо поднятой головой, а не убегать от нее, не прятаться. И раз уж он решил, как ему вести себя, когда грянет час крестной муки, зачем же поступать так жалко и трусливо? Изготовившись к худшему, он слегка воспрял духом. Точно побежденный и обесчещенный самурай в порыве самоубийственного героизма, достал он оружие, которым перед лицом неумолимых судей свершит харакири, — вынул из кармана прошение об отставке. Раз уж он решил уйти с должности и покинуть Баю, чего ему теперь бояться?

В предсмертном приступе кокетства он оправил помятую сутану. Жаль, что нет зеркала, чтобы придать лицу выражение надменности с легкой примесью светлой печали. Бледность ему идет. Скрывая глубочайшую растерянность и полный упадок, вышел он из ворот аббатства, смешался с толпой прохожих и в их утомительной толчее поднялся по Сан-Педро, сделал вид, что не заметил, как показала на него мужу какая-то женщина: «Смотри, смотри, это тот, чья фотография была в газете!» — свернул за угол, двинулся по улице Байшо, увидев вдалеке доктора Одорико Тавареса — он шел к себе в редакцию, таща за руку профессора Эдвалдо Боавентуру. Они о чем-то разговаривали и смеялись. Конечно, над ним.

Дон Максимилиан с вызывающим видом прошел мимо редакции, но никто его вызова не принял да и не заметил. Ему захотелось войти, но зачем? Что ему там делать? С лестницы, связывающей улицу Байшо с улицей Содре, дон Максимилиан долго смотрел на церковь и монастырь Святой Терезы, на патио и сад, на весь этот ансамбль — один из красивейших в городе, — врезанный в ни с чем не сравнимый пейзаж: море и горы. Это — его музей, его дом, его жизнь. Крестьянин в куртке из грубой кожи шел навстречу, таща за недоуздок малорослого медлительного ослика с гигантским вьючным седлом на спине. Дон Максимилиан проводил взглядом их обоих, задержал взгляд на седле, зажмурился, чтобы картинка эта покрепче врезалась в память. Потом стал спускаться по лестнице, на каждой ступеньке раскланиваясь с соседями.

Он замедлил шаги у мастерской Зу Кампоса, резчика по дереву, занятого своим ремеслом. Заметив монаха, тот отложил стамеску,

улыбнулся приветливо:

— Доброго здоровьяца, дон Максимилиан.

— Что ты делаешь, Зу? Что это будет за святая?

— Как же вы не признали Святую Варвару? Вот и колчан. Если Громоносица из Санто-Амаро так и не объявится, можете взять на выставку мою.

На маленькой картине, висевшей у входа, летел по небу ангелок: вокруг него цвели синие цветы, порхали розовые птицы.

— Сколько хочешь за этого ангелочка, Зу?

— За «Мулатика»-то? Нравится?

— Очень.

— Вы себе хотите или подарить кому?

— Себе.

— Тогда нисколько. Все, что здесь есть, ваше.

Дон Максимилиан знал, что, если он будет настаивать, резчик обидится.

— Ну, спасибо, большое тебе спасибо. Отложи ее, я кого-нибудь пришлю. А у меня тоже есть для тебя подарок на память: я сочинил книжку про Святую Варвару Громоносицу из Санто-Амаро. Твоя почти так же хороша, как и та.

Он хотел рассказать резчику, что в планах Музея на следующий год значится выставка современного баиянского религиозного искусства — от Пресициано до него, Зу, Ванды-Нада и Осмундо — в дополнение к той, что откроется сегодня в девять вечера и где не будет представлена никакая Святая Варвара — ни та, ни другая. Однако проект этот так и останется в голове и бумагах экс-директора и никогда не осуществится, так что толку говорить о нем?! Всего через несколько часов он станет бывшим.

Он одолел последние ступени и только лишь ступил на мостовую, как его облепили репортеры и посыпались вопросы. Из дверей Роке ринулся к нему на удивление проворный при своей тучности Берберт: «Мы уж думали, вы в Рио или по дороге в Германию!»

Дон Максимилиан, невозмутимый и бестрепетный — печально-надменное выражение мраморно-бледного чела — нет, лучше так: «на челе, словно выточенном из слоновой кости», — даже не остановился, продолжая размеренно шагать по направлению к монастырю, не отвечая журналистам и не отбиваясь от них. Зе Берберт крепко держал его за рукав сутаны.

У входа в Музей директор, по-прежнему не теряя самообладания, обернулся и с расстановкой проговорил:

— Минуту внимания, друзья мои. Выслушайте меня и не перебивайте. Вы ведь со вчерашнего дня только и добиваетесь? Ну, так вот, — он взглянул на часы, — сейчас без четверти три, четырнадцать сорок пять. Ровно в половине девятого, в двадцать тридцать — через пять часов, точнее, через пять часов и сорок одну минуту, — состоится торжественное открытие Выставки Религиозного Искусства, куда я всех вас приглашаю. Вот тогда я и выскажусь. Потерпите. Пять часов — это не так уж страшно.

Он улыбнулся Берберту, высвободил рукав, шагнул через порог и запер дверь изнутри.

СВЯЩЕННАЯ ПОДПИСЬ... — Ему пришлось на мгновение прислониться к косяку: дурно, перед глазами пелена, под ложечкой сосет, во рту горько — он не обедал сегодня и не испытывал голода. Дон Максимилиан вытащил платок, вытер холодный предобморочный пот. Нацепил маску небрежного безразличия — никто не засмеется ему в лицо. Поднялся на первый пролет лестницы.

По залам, отведенным для выставки, молча сновали сотрудники, Жамисон Педра, художник и архитектор, устремился навстречу:

— Пришел навести последний глянец.

— Очень любезно с вашей стороны, Жамисон.

Тотчас директора окружили и остальные.

— Заканчиваем, — сообщил Жилберт Шавес, — не хватает лишь экспонатов из собрания Мирабо Сампайо. Я хотел привезти их, а он отказался: сам, говорит, доставлю. Места мы уже наметили.

При упоминании осторожного коллекционера дон Максимилиан не смог сдержать улыбку: Мирабо Сампайо, увенчанный многими премиями скульптор, график и живописец, работы которого пользовались огромным спросом, обладал самым большим и изысканным собранием деревянной скульптуры.

— Странно, что он вообще согласился участвовать в нашей выставке: не испугался, что я не верну ему его сокровища.

В эту самую минуту вошел упомянутый Мирабо, словно младенца, бережно прижимая к груди статую Святой Екатерины Александрийской. О ней мечтали антиквары и коллекционеры, о ней вздыхали директора музеев, ибо на подоле ее одеяния вырезана была подпись брата Агостиньо да Пьедаде. «Один из четырех уникумов, подписанных великим мастером, который уступает только Алейжадиньо», — тешил свое тщеславие Мирабо. Дон Максимилиан поспешил к нему:

— Позвольте смертному прикоснуться к этой святыне!

— Осторожно, она тяжелая.

Да, святая была тяжела и велика. Тонкие руки дона Максимилиана — тонкие руки с длинными пальцами — бережно приняли изваяние; восхищенная улыбка осветила его лицо, потемнело в глазах от алчности, когда в сотысячный раз он взгляделся в подпись, удостоверявшую подлинность и уникальность. Озабоченный Мирабо следил за этим ритуалом и вздохнул с облегчением, когда Святую Екатерину подхватил неискушенный Силвио Робато: опасность миновала, монах ничего не заметил. Не заметил и заметить не мог. Только он, Мирабо Сампайо, он один знал, где поставил он свою метку, — свидетелей этого не было. Не то чтобы он верил всем слухам о директоре, но накрепко затвердил одну заповедь: «Береженого бог бережет...»

— Сейчас отведем ей самое видное, самое почетное место, — сказал дон Максимилиан. — Как знать, может быть, в один прекрасный день удастся убедить нашего милого Мирабо, что Святая Екатерина Александрийская должна стоять не в частном собрании, а здесь, в Музее. Мы его убедим, и он нам ее подарит. Он ведь такой великодушный...

Насчет великодушия Мирабо существовали разные мнения, а сам он терпеть не мог шуточек такого рода. Директору доверять нельзя, особенно теперь, когда всплыла, эта история со Святой Варварой Громоносицей. Он ответил ударом на удар:

— Смотрите, как бы я не передумал и не забрал ее назад!.. Не подарю, не продам и — самое главное! — на обмен, дон Максимилиан, я тоже не согласен. Не согласен! — Мгновенно вскипев, Мирабо повысил голос.

Директор понял, что коллекционер имеет в виду не обмен, а подмену. Чтобы утихомирить бестактного Мирабо, он уже во второй раз за сегодняшний день подумал, что надо бы устроить Выставку Современного Искусства: картины и скульптура Сампайо займут на ней достойное место — Пьета, например, да и Христос... И во второй раз оборвал он свою мысль: завтра он уже будет в отставке, какие там выставки?! Снова похолодело у него в груди: «Завтра я уже буду в отставке». Он взял Мирабо под руку:

— Пойдемте выберем ей место.

В сопровождении свиты сотрудников и служителей два сообщника, два подельщика, провернувшие немало замысловатых махинаций, пошли по залам выставки. Она была уже почти полностью развернута и охватывала период от колониальных времен до конца прошлого века, собрав воедино раритеты немислимой красоты и ценности. В самой середине главного зала ожидал Святую Варвару пустой постамент. Дон

Максимилиан велел унести его и заменить маленьким столиком времен голландского владычества, на столик поставили святую из Александрии, воссозданную в Баии Агостиньо да Пьедаде: скульптор, видно, был так доволен этим творением, что на видном месте вырезал свое имя.

Потом привратнику Алмерио было приказано принести прочие экспонаты, оставленные в машине Мирабо под присмотром Эдгарда: он — каждой бочке затычка. Мирабо, еще в ту пору, когда был бесшабашным вертопрахом, кумиром аргентинок из заведения «Батаклан», взял его в шоферы и телохранители: так они вместе и состарились.

Мирабо, хотя положительно помирал от любопытства и жаждал как можно скорее узнать о судьбе Святой Варвары, никак не показал, что знает из газет о ее исчезновении, ни словом не обмолвился о нагрянувшей к нему в мастерскую полиции: язык держал за зубами, а ушки — топориком. Но под конец все же не выдержал и у самых дверей, прощаясь, спросил вроде бы невзначай:

— А куда же вы решили поставить Громоносицу?

Дон Максимилиан, застигнутый врасплох, не ждал вопроса, но отвечать что-то было надо. И он сказал первое, что пришло ему в голову:

— А вот здесь, у входа, где я стою. Как по-вашему, удачно?

И, не дожидаясь одобрения, быстро пожал Мирабо руку, провожать его до лестницы предоставил своим подчиненным, тем более что влетел запыхавшийся караульный ангелок:

— Кардинал просит вас к телефону!

Кардинал со всей сердечностью приветствовал дона Максимилиана и не спешил расспрашивать его о святой. Он только что получил исчерпывающий доклад от викарного епископа и хотел теперь выслушать мнение директора. Дон Максимилиан выложил ему не тая все, что знал. В этот день он не получил никаких известий — газетные статьи не в счет, — не вспыхнула ни одна искра надежды. Из монастыря Сан-Бенто он звонил в управление общественной безопасности: не высказывая своего личного мнения, которое его высокопреосвященство мог бы счесть пристрастным, он сообщил, что доктор Калишто Пассос продолжает настаивать на виновности падре Тео... Подозрения его сменились уверенностью.

«Что? — вскричал кардинал. — Кого он считает виновным? Падре Тео?» Именно, именно, викария Санто-Амаро. Дон Максимилиан и на сей раз воздержался от комментариев и продолжил рассказ. Он сделал попытку связаться с начальником полиции, но безуспешно: полковник через кого-то из своих подчиненных велел передать, что новыми сведениями по делу не располагает. Дон Максимилиан сообщил кардиналу, что счастлив уже тому,

что сам пока гуляет на свободе. Долго ли ему гулять, бог знает.

Кардинал пообещал поговорить с полковником и ввести дону Максимилиана в курс дела. Потом, уже в самом конце беседы, спросил, верно ли, что, по словам монсеньора Ключа, дон Максимилиан задумал уйти со своего поста и покинуть Баию, если к открытию выставки статуя не отыщется? Верно.

— Вам этот шаг представляется неизбежным?

— Не вижу иного выхода, ваше высокопреосвященство.

Быть может, он надеялся, что кардинал начнет возражать, скажет, что не принимает его отставки, что приказывает ему оставаться на своем посту. Ничего подобного он не услышал. Только вздохи и сетования:

— Как жаль, боже мой, как жаль. Но, наверно, вы правы, иного выхода нет.

Мог бы между прочим вспомнить, что и на нем лежит некоторая ответственность: не без его вмешательства попала Святая Варвара в Баию. Однако вспомнить не захотел. Крестный свой путь дону Максимилиану предстояло свершать в одиночку, и не найдется Симона из Кирены, который поможет ему взойти на Голгофу.

МОТОРИЗОВАННОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ — Падре Абелардо Галван оказался на заднем сиденье мотоцикла, обхватил обеими руками голый живот Патрисии, обняв ее, прикинув к ней, чувствуя и тепло ее тела, и само тело. Неслись они по центральным улицам города — от театральной школы до Пеллуриньо, запруженного народом.

«Садись! — скомандовала она. — Мы как всегда опаздываем. Жак уже уехал с Нилдой, Ги давно на Пеллуриньо. Две машины битком набили. Мы приедем раньше!» Падре Абелардо сомневался в этом, но когда она вскочила на мотоцикл, понял: удасться. Еще бы не удалось: сто километров в час.

На нем были джинсы и рубашка в цветочек — больше он ничего с собой в это краткое путешествие не взял, если не считать целлулоидного воротничка и нагрудника да двух черных трикотажных маек, на которых белым были напечатаны стихи Марио Кинтаны. Ну, а Патрисия была не столько одета, сколько раздета, ибо костюм ее был крайне скуден, хотя и ярок: постоянно разлетающаяся юбка являла взору белые трусики и не прикрывала, но выставляла напоказ бедра. Коротенькая маечка на лямках безнадежно не справлялась с возложенной на нее задачей и еле-еле сдерживала напор рвущихся наружу груди. Свои индейские волосы Патрисия собрала на макушке узлом, переплела цветами — получилось

нечто вроде королевской короны. Королева карнавала предстанет перед французской съемочной группой.

В таком вот виде да еще в мотоциклетном шлеме на голове, чтобы уберечь макияж и прическу от ветра — босая, полуголая, — разгуливала она по театральному училищу, бросая вызов приличиям, подставляя себя ослепительному солнцу, ветру, взглядам, сияющая и совершенная, как мраморная статуя — какая-нибудь Венера Милосская или роденовская Ева. Отличие было только в том, что статуи смиренно стоят в музеях на своих пьедесталах, а Патрисия двигалась и качала бедрами, и юбка ее то и дело распахивалась, открывая все, что только можно открыть.

«Чувственна, но не распутна, сладострастна, но не бесстыдна, ничего непристойного», — так оценил ее падре Абелардо: он не стеснялся, глядел на нее во все глаза и не мучился сознанием своей греховности. Так же любовался бы он чайкой в полете, акацией в цвету, райской птицей. Ой ли? Так ли?

Претендентки на вакантные места звезд в галактиках театра и кино, студентки выпускного курса, обремененные одеждой не сильнее Патрисии, бежали к двум автомобилям: за рулем одного из них сидел Миро. Падре удивился, отчего это не видно Силвии Эсмералды — вчера она была самая веселая, — и осведомился о ней. Бедняжка Силвия вчера вечером заболела, был ответ, ее подруга, дона Олимпия де Кастро, тоже вращающаяся в высших сферах, позвонила из клиники и сообщила, что Силвии прописан постельный режим, но она уже вне опасности. Бедняжка! Угораздило же свалиться как раз накануне праздника, который бывает раз в сто лет.

Беседа падре с Патрисией текла не ровно и не гладко, то и дело прерывалась: она решала, торопила, командовала, отдавала приказания подругам, помощникам, шоферам и ему, падре Галвану. Потом, когда отснимут карнавал, она, пользуясь служебным положением, проведет его на ужин в узком кругу. У себя в Пиасаве он такого не едал: там в ходу каруру в честь святых Косьмы и Дамиана, а эта — в честь богини Иансан. Приготовят ее и съедят на рынке Святой Варвары, на Байша-дос-Сапатејрос, это два шага от Пелоуриньо, они отправятся туда прямо со съемки. Жасира де Одо-Ойа просила привести всю бригаду, никого не забыть — ни лакомку Жака, ни этого хорошенького французика, он из тех вроде бы, кто любит мальчиков, а может, и нет.

И вот в ту минуту, когда он меньше всего этого ожидал, падре Абелардо Галван оказался в самой гуще людей, про образ жизни которых он до сих пор только слышал, и, как правило, только гадости. Для него все было в новинку — их забавный жаргончик, и словно бы вовсе не

существующая одежда. Они не заботились о том, чтобы выглядеть пристойно, они весело сквернословили, они ревниво оберегали свою свободу — прежде всего свободу нравов, а вернее, безнравственности, как утверждала молва, с чем готов был согласиться падре Галван, поглядев на них и послушав их речи, но вовсе не заслуживали бранных определений, приклеившихся к ним: «выродки, смутьяны, опасный сброд». Они оказались людьми симпатичными, милыми, сердечными. Никто не подтрунивал над затесавшимся в их среду священником — напротив: те, кто знал о деятельности падре, всячески его одобряли и поддерживали. И он, опальный и разыскиваемый полицией пастырь из глухого захолустья, очутившись среди поносимой и прокливаемой, вольной и вольнодумной богемы, игравшей в спектаклях Эроса Мартинса Гонсалвеса и в фильмах Глаубера Роши, не чувствовал себя чужим или посторонним. Наоборот, давно уж ему не было так хорошо, давно не дышалось так легко.

По этому лабиринту вела его, просвещающая и наставляющая, Патрисия. «Каруру, — объясняла она, — это традиционное угощение после кандомбле, но бывает оно далеко не всегда, а на террейро происходит волшба: боги-ориша нисходят к своим дочерям и сыновьям, танцуют и поют с посвященными и жрецами. Но на этот раз дадут и закусить».

— А ты никогда не бывал на кандомбле?

— Нет, хотя мне бы очень хотелось взглянуть. Слышал, что это красивое зрелище.

— Когда-нибудь свожу тебя. Ты ведь знаешь, что я — дочь Иансан? Выполнила все обряды, даже голову брила. Разве я тебе не рассказывала?

— Нет. Я понятия об этом не имел.

— Теперь будешь знать и держать ухо востро: дети Иансан шутить не любят, они — люди справедливые, но крутого нрава. погоди, а кто же твой святой? Больше всего тебе подходит Ошала, но я бы хотела, чтобы им стал Шанго.

— Почему?

— Потому что Шанго — муж Иансан.

Католический священник, Патрисия, жениться не может, он дает обет безбрачия — принимая сан, он клянется хранить целомудрие и чистоту. Так мог бы ответить ей падре Абелардо, однако не вымолвил ни слова: может быть, столичная девица просто потешается: пробует коготки на нем, бедном деревенском пастыре. А сейчас, оседлав мотоцикл, ощущая ладонями ее шелковую кожу и безупречно вычерченный плавный изгиб, обнаружив совершенно неожиданно таинственную впадину пупка, пастырь Пиасавы, собравшийся стяжать терновый венец мученичества, спросил

себя, куда, к дьяволу, провалились принятые им на рассвете важные, судьбоносные решения, твердые, неколебимые, окончательные? «Да... с ними, с решениями», — сказала бы любая из учениц театральной школы, если бы прознала про его раздумья. Да, решения, принятые раз и навсегда, оказались невесомы как пух, дунул ветерок — они исчезли. А вот мука мученическая началась в тот самый миг, когда он вскочил на мотоцикл и оказался между райским садом и преисподней, между вечным блаженством и вечным проклятьем.

Он попытался было отодвинуться, отсесть от Патрисии подальше. Но когда мотоцикл на полном ходу, не снижая скорости, круто свернул за угол, падре, чтобы не слететь, пришлось прикинуть к амазонке, причем даже страх не помешал ему почувствовать под пальцами всю сладость мира. Предвестие истины пронизало его с головы до пят, так что похолодело в низу живота. Абелардо, у католического священника в низу живота ничего нет и быть не может.

Нечестивое, скорбное, нескончаемое путешествие падре Галвана, пастыря нищей Пиасавы, предводителя оклеветанной общины безземельных крестьян, продолжалось несколько минут: от Канелы до Пелоуриньо. Наплевав на правила уличного движения, управляемый Патрисией болид проносился мимо автомобилей, подрезал носы автобусам, обогнал машину Миро и «мерседес» Дженнера Аугусто. Целомудренные руки Абелардо лежали на тугом животе Патрисии, на территории мечты и греха. Левая рука (или правая), одним словом, то левая, то правая, скользила, прикасалась к пупку, поспешно устремлялась прочь, возвращалась, снова тянулась к нему — к бездне, к жерлу вулкана, к глубинам ада, и не было силы, способной остановить эту руку — левую или правую, Патрисия, привстав в седле, склонясь над рулем, вела мотоцикл, и спина ее была крепко-накрепко прижата к груди падре, падре, которому грозила смерть, а также вечная погибель души. Да что же значит, бабушка, «настоящий священник»? Наделен ли он тем, что должно быть у всякого мужчины, или же нет?! Скажи, бабушка!

Падре Абелардо Галван в путях искушения, в тенетах соблазна, рискуя быть отлученным от церкви, мчит на карнавал, устроенный французским телевидением. А потом отправится на рынок Святой Варвары, отведает каруру богини Иансан, супруги Шанго. Ах, Патрисия, Шанго я или нет, священнику жениться нельзя! Нельзя, Патрисия!

ВЕЩИ НЕВОЗМОЖНЫЕ — Условившись встретиться с падре Хосе Антонио в три часа у здания суда, Адалжиза вернулась домой. Сказать, что

она была рассержена или разгневана, — значит ничего не сказать: она кипела и клокотала от бешенства. Настоящий комок нервов. Вместе с тем она была решительна, собрана и готова к действиям.

Когда при ее появлении распахнулись окна и двери и охочие до новостей соседки высунулись, чтобы полюбоваться на ее муки, она чуть было не взорвалась, однако сдержалась: незачем давать повод этой шантрапе, не услышат эти мерзавки от нее ни стоны, ни жалобы, не получат никакой пищи для сплетен и пересудов. Этого удовольствия она им не доставит, зря надеются, подлянки. С гордо поднятой головой прошествовала Адалжиза до своих дверей, и лицо у нее было до того каменное, что даже главная интриганка и гадина Дамиана не осмелилась ни о чем ее спросить. Пришлось мерзопакостной этой твари удовлетвориться ехидным смешком, но ничего, ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Утешение, конечно, не бог весть какое, но другого у Адалжизы пока не было.

Данило, когда придет обедать, услышит кое-что интересное. Адалжиза отлично понимала, какую роль сыграл ее супруг во всех прискорбных перипетиях прошлой ночи. Роль ничтожную и мелкую! Никогда бы не смог он выработать такой сложный, такой изощренно хитроумный план: на футбольном поле растратил он всю свою сообразительность и находчивость, давно уже отдал кормило жене, а сам предпочитал плыть по воле волн — дрейфовать потихоньку.

Конечно, это все зараза Жилдета, эта она, горлопанка и скандалистка, сплела и провела интригу от начала до конца. А помогал ей макака Миро, черномазый прощелыга. Адалжиза словно своими ушами слышала, как они убеждали Данило: ведь он же опекун, у него такие же права, как у Адалжизы, ему и следует пойти к судье по делам несовершеннолетних, изложить свои доводы, высказаться насчет воспитания, получаемого Манелой у тетки. Наврать при этом с три короба, представить ее, Адалжизу, бессердечным и бессовестным чудовищем. Конечно, все это и было сказано — потому им и удалось убедить судью отменить свой приказ.

Размышляя о случившемся — насколько позволяла ей ярость размышлять здраво, — Адалжиза была оскорблена в лучших своих чувствах. Надрывалась, не щадя слабого своего здоровья, не покладая рук, не зная покоя и отдыха, жертвуя всем на свете ради того, чтобы воспитать племянницу в духе господних заповедей, чтобы охранить ее от порока и греха, чтобы не дать ей сбиться на дорожку бесстыдства и разврата, чтобы сделать из нее порядочную женщину. А родственнички, включая сюда и Данило, не только не воздали ей за самоотречение по заслугам, но и

опозорили на весь свет, нанесли удар в спину. Не иначе как негодяйка Жилдета, спятившая на своих дикарских радениях, науськала на нее весь сброд с авениды Аве Мария, Дамиану и прочую сволочь, наклеветала на нее профессору Батисте, чтобы все стали свидетелями Манелиного бесчестья и ее, Адалжизы, поражения. Но до поражения еще ох как далеко, хорошо смеется тот... ну, словом, смотри выше.

Она рассчитывала, что главным ее оружием в этой борьбе станет сам Данило. Когда придет домой обедать, он услышит такое, что ему еще в жизни слышать не доводилось: то, что приберегла для него Адалжиза, не потратив на соседскую шваль. Никогда еще не была она так зла на него: с медовым месяцем и с первым годом замужества нечего и сравнивать. Тогда ей поневоле приходилось быть суровой и жесткой, она вынуждена была разговаривать с ним грубо, чтоб не лез с гнусностями, но все их ссоры перед ожидающим его скандалом померкнут и потускнеют.

Выложив ему все, что накипело, она заставит его вместе с нею отправиться к судье и отречься от всех тех мерзостей, которые он ему нагородил, и заявить, что он согласен, совершенно согласен с помещением Манелы к «кающимся». Да ведь судья, должно быть, не знает, что она прямиком из монастыря двинулась на кандомбле?

Итак, одно из двух: либо Данило сдастся, и смирится, и будет действовать и поступать так, как она того хочет, либо браку их — если понимать под этим союз двух любящих сердец, движимых единой волей, — конец. Либо он пойдет с нею к судье, либо — вон из дома. Третьего не дано. И пусть выбирает немедленно: вот бог, вот порог.

Все могла бы она скрепя сердце позволить мужу, все, кроме двух вещей. Первое: перебежать на сторону Манелы, помочь ей выбраться из монастыря и тем самым подтолкнуть к разврату и дикарским обрядам. А о втором читатель уже осведомлен — ему яркими красками и в самой реалистической манере описаны кое-какие подробности интимной жизни счастливых молодоженов, не обретших гармонии в постели. Никогда, никогда не сдастся она на его уговоры и мольбы, которые звучат каждую ночь вот уже двадцатый год, никогда не пойдет по стезе порока, никогда не допустит она непристойностей и мерзкого распутства. Манела не пойдет по стезе порока, зад Адалжизы не будет предоставлен для похотливых притязаний. Аминь.

Утро выдалось столь беспокойное, что Адалжиза за всеми хлопотами и треволениями позабыла, что сегодня пятница, что нотариус дает обед. Вот уж больше двадцати лет по пятницам Вилсон Гимараэнс Виейра, шеф Данило и его друг, устраивал в Нижнем Городе в ресторане «Колумб» обед.

Одни гости считали вкус подаваемых там блюд божественным, другие — неземным. Адалжиза хотела, воспользовавшись отсутствием мужа, устроить себе пир и сварить свой любимый суп из мозгов. Данило это блюдо терпеть не мог, как, впрочем, и суп из бычьих хвостов, — странно, не правда ли? Ведь то место, откуда они растут, всегда вызывало у него повышенный интерес.

Не знала Адалжиза и никогда не пыталась узнать, по какому же поводу устраивались эти еженедельные застолья. А ведь пятница — это день Ошала, и по пятницам сыновья его и дочери облачаются в белое и празднуют своего святого. Каждый на свой манер. Нотариус Виейра, например, закатывает обед с молодым португальским вином. Постоянный и почетный участник бдений в ресторане «Колумб», профессор Батиста, неизменно заказывает в качестве закуски улиток — Данило они внушают отвращение. Нелишне будет заметить, что улитки, как их ни назови — «escargots» по-французски, «игбин» на языке племени йоруба или еще как-нибудь, — это не только кулинарный изыск, но и еда, посвященная богу Ошала.

КОРИДОР И ПРИЕМНАЯ — Адалжизе не сиделось дома, и в суд она пришла раньше времени.

Сначала попыталась дозвониться Данило, для чего пришлось идти в булочную сеу Мартинеса, — снова все соседи прилипли к окнам, но Адалжиза не удостоила их даже взглядом. Однако она опоздала: званый обед в «Колумбе» уже кончился, и официант с сожалением ей сообщил, что сеньор Данило совсем недавно ушел вместе с доктором Вилсоном Виейрой. Для очистки совести Адалжиза позвонила в контору, наперед зная, что никого там не застанет: смешно было думать, что нотариус и его старший делопроизводитель после такой трапезы вернутся на службу раньше трех. Они уж постараются продлить удовольствие, выпивая там и тут, в кафе и барах, с этим и тем, благо компания всегда найдется. Эти мужские привычки достойны сожаления и всяческого порицания, но Адалжиза предпочитала закрывать на них глаза.

Итак, она пришла в суд первая и стала ждать падре Хосе Антонио, чтобы войти в кабинет доктора д'Авилы вместе с ним. Бродила по коридору из конца в конец, спускалась в вестибюль, чувствуя себя из-за отсутствия Данило крайне неуверенно: муж был ее главным козырем в предстоящей партии. Как никогда требовалась ей божья помощь, и она тотчас дала обет: если господь поможет вернуть Манелу в монастырь, целый год, начиная со следующей пятницы, не будет она есть суп из мозгов. Когда хворала донья

Эсперанса, Адалжиза целых три месяца жила без любимого кушанья.

Мигрень не давала ей покоя ни на минуту: в висках стучало, глаза застилало какой-то пеленой. У нее уже колени подкашивались от хождения взад-вперед, когда наконец показался падре Хосе Антонио: час пик, ужасные пробки, автобус еле тащился, прошу простить за опоздание. На самом же деле он засиделся на крестинах, где наелся в свое удовольствие. Тут из какого-то кабинета появился с дешевой сигарой в зубах тот самый клерк. Он узнал их и сообщил, что доктор д'Авила не приходил и не звонил, если угодно, пусть присядут в приемной и обождут. Срочное ли у них дело? «Весьма срочное», — ответствовали падре и его духовная дочь. «Ну, наверно, скоро придет, а не придет, так позвонит». Повернулся и зашагал по коридору, сильно и гулко кашляя — застарелый бронхит курильщика.

В приемной стояли кресла, и ожидание было не таким мучительным и тягостным, тем более что падре Хосе Антонио сумел поднять боевой дух Адалжизы:

— Не теряй надежды, дочь моя. Все будет в порядке, ручаюсь. Доктор д'Авила давно меня знает: сразу после революции мы вместе участвовали в крестовом походе против коммунизма. Нас с ним одушевляют одни и те же идеи.

Однако это недоразумение явно ставило его в тупик:

— Не могу понять, что заставило доктора переменить позицию и удовлетворить просьбу твоего мужа. Должно быть, отыскались веские резоны, если он за несколько часов все поставил с ног на голову. Но, как бы там ни было, скоро все разъяснится. Не огорчайся, мы с тобой делаем святое дело, и господь с нами. *Dios es grande*^[73].

В приемной стояла нестерпимая духота, «кондишн» уже больше года как был испорчен, падре потел и задыхался. В четыре часа судья наконец осчастливил их своим появлением. Хотя он успел заехать домой, где принял душ и переоделся, на лице его были явственно заметны следы бессонной ночи и тревожного утра, проведенного в клинике.

Падре Хосе Антонио учтиво осведомился о том, как чувствует себя дона Диана. «Да так себе», — ответил судья. Падре пообещал молиться за ее скорейшее выздоровление. Адалжиза сказала, что присоединит и свои молитвы к его голосу. Сама она не имеет чести быть представленной доне Диане, но очень много слышала о ее несравненной красоте и изяществе от доны Олимпии де Кастро. «Я — модистка, и дона Олимпия заказывает у меня шляпы».

ПРОСТОЕ РОНДО: САМООТВЕРЖЕННАЯ ПОДРУГА — Доктор д'Авила и на службе-то смог появиться лишь потому, что клиентка Адалжизы, дона Олимпия де Кастро, достойнейшая дама и добрейшей души человек, махнула рукой на все свои светские обязанности — в том числе и на коктейль, устроенный организаторами круиза по Карибскому морю, — чтобы неотлучно находиться у одра больной подруги. Чтобы не оставлять ее в забвении и бреду, пораженную внезапным и странным недугом. Под воздействием какого-то душевного потрясения бедняжка Диана несла совершеннейшую околесицу и несуразицу и звала Олимпию — только это имя она и произносила.

Вчера, вернувшись домой из заведения Анунсиаты, где он отдавал долг природе, доктор д'Авила обнаружил, что его супруга бьется в истерике, рычит и воет, выпучив глаза и суча ногами. Немедленно призванный доктор Рубим де Пиньо установил «нервный срыв» и ввел успокоительное, а также счел целесообразным поместить больную в клинику, чтобы резко сменить обстановку. Так и сделали. Как видим, ночь у судьбы выдалась весьма тревожная.

Утром — не слишком рано: великосветские дамы спать ложатся на рассвете и спят до вечера — он позвонил сеньоре Олимпии, извинился за причиняемое беспокойство, однако дело чрезвычайно спешное и щепетильное. Диану госпитализировали, у нее был сильнейший припадок, нет-нет, не то чтобы просто нервы разгулялись, доктор Рубим де Пиньо определил острый приступ истерии. Диана все время ищет и зовет ее — сеньору Олимпию.

Сеньора же Олимпия, дама благовоспитанная и тонко чувствующая, слушала судью почти молча, только иногда издавала приличествующие случаю восклицания, выказала и озабоченность, и непритворный интерес, но, казалось, вовсе не была удивлена. Сказала, что накануне несколько раз звонила Силвии — «простите, Диане», — но застать ее не смогла. «Я немедленно еду в клинику, вот только встану и оденусь», — заверила она д'Авилу, из чего тот заключил, что его телефонный звонок, прозвучавший в одиннадцать утра, застал Олимпию еще в постели.

Примерно в половине второго она появилась в клинике, одетая так, словно собралась на демонстрацию последних моделей сезона. Когда судья почтительно назвал ее по имени, Диана — она же Силвия Эсмералда, — до той поры с головой укутанная простыней и тихонько стонавшая, вскочила, схватила подругу за руку и впилась в нее взглядом широко открытых глаз, будто от Олимпии зависело, жить ей или умереть.

«У вас, наверно, много дел, — обратилась Олимпия к потерявшему

дар речи супругу, — вы идите, предоставьте нашу милую больную мне. Вот увидите, я вылечу ее в два счета. Страшного ничего нет: это все от излишней впечатлительности. Она ведь у нас такая чувствительная: чуть что — и нервы сдают. Идите, идите, займитесь своими несовершеннолетними, а я займусь ею».

Утро тоже было не из самых приятных.

ДВОЙНОЕ РОНДО: СУМАСШЕДШИЕ — Судья приветствовал посетителей и пригласил их в кабинет, где они были накануне, предложил присесть и сам уселся за стол, заваленный бумагами, хотя беспокойство за жену продолжало снедать его, он постарался быть любезным, ибо высоко ценил падре Хосе Антонио.

— Чем могу служить? — Голос его звучал устало и печально, мыслями судья был там, в клинике. — Ну-с, определили девочку?

Адалжиза, ожидавшая совсем другого оборота разговора, растерянно залепетала:

— Да, сеньор... Как же... Вчера еще, под вечер... Но потом вы приказали ее выпустить...

Пришел черед оторопеть судье:

— Кого я приказал выпустить? Не понимаю. Объяснитесь, милая сеньора.

— Но вы... — Адалжиза беспомощно замолчала и повернулась к падре, прося содействия.

Тот поднял руку, заговорил звучно и необыкновенно правильно:

— Позволь, я объясню. Послушайте меня, доктор. Вот что произошло: вчера под вечер мы отвели девочку в монастырь Лапа, давы... — тут он поправился, — дабы господь простер над нею свой святой покров. Сегодня утром дона Адалжиза, здесь присутствующая, мне сообщила, что воспитанница ее после полуночи обитель покинула. Мы пошли к настоятельнице, и та подтвердила: действительно, Манела была отпущена из монастыря — в соответствии с вашим приказом. Вот, друг мой, как обстоит дело.

— Мой приказ? Что за бред? Кто его передал? Кто действовал от моего имени? Назовите мне его, чтобы я мог арестовать самозванца и возбудить против него дело.

Все запутывалось еще сильнее, мигрень разыгрывалась всерьез, Адалжизе делалось дурно, в висках застучало. Падре Хосе Антонио был тоже сбит с толку и, как следствие, стал путать «б» и «в», сбиваясь на кастильский лад:

— Никого не выло. Предъябили письменное распоряжение.

Судья, услышав эту ахиню, подумал, что оба его посетителя спятили.

— Я не подписывал никакого приказа! Чушь какая-то! Приказа нет и в помине!

Падре протянул руку:

— *Donde esta la orden? Damelo!*^[74]

Адалжица вытащила из сумочки ксерокс, падре схватил его, пробежал глазами и протянул судье.

— Вот он. Смотрите сами.

Доктор юриспруденции Либерато Мендес Прадо д'Авила, высокочтимый судья по делам несовершеннолетних в округе Салвадор, столице штата Баия, взял протянутую ему бумажку, будучи совершенно уверен, что имеет дело с безумцами: уж, видно, такая полоса пошла. Со вчерашнего дня сплошное сумасшествие. Началось с Дианы, которая билась в припадке, рыдала и просила прощения.

Он глядел на фотокопию, хлопая глазами, морща лоб, силясь постичь непостижимое, и чем дольше изучал приказ, тем больше недоумевал. Сомнений нет, это не фальшивка. Доктор д'Авила чувствовал себя полным идиотом.

— Что же это такое? Что это все значит?

Он снова стал всматриваться в ксерокс, изучая его во всех деталях. Все было на месте: и гриф, и печать, и подпись — его, его собственная подпись.

— Подпись подделана, — сказал он и, возвысив голос, позвал — Сеу Маседо, зайдите ко мне! Поторопитесь, пожалуйста!

Однако делопроизводитель Маседо совершенно не торопился, а шел медленно, шаркая подошвами, пожевывая сигару, покашливая. Он состарился здесь, в суде, и знал разных судей: одни были лучше, другие хуже, но гаже доктора д'Авилы ему видеть не доводилось. Не человек, а дерьмо собачье — таково было взвешенное мнение сеу Маседо.

— Взгляните-ка и скажите, что вы думаете по этому поводу.

Маседо окинул бумагу взором и нашел, что она составлена по всей форме, разве что не зарегистрирована в журнале исходящей документации.

— Вы, господин судья, где ее вчера вечером заполняли — дома или здесь?

— Я вообще ее не заполнял! Кто-то подделал мою подпись. — Он снова взгляделся. — Великолепно сделанная фальшивка! Но это копия, а я желаю видеть оригинал... Это мог сделать лишь тот, у кого есть доступ к бумагам с грифом, к печатям, кто знает, как я расписываюсь. Что вы мне на это скажете, Маседо?

— Ничего я вам не скажу, господин судья. Я знаю не больше вашего. Весь вечер просидел дома, смотрел телевизор, а потом спать пошел. Полагаю, Тобиас все-таки своего добьется, — последнее относилось к очередной серии телеромана.

Он знал своего начальника как облупленного: несравненный крючоктвор, сутяга, каких свет не видывал, большой мастер делать из мухи слона. Сеу Маседо был чист перед богом и людьми, и потому подозрения судьи его нисколько не встревожили. Все небось сам придумал, чтобы надуть простаков — падре и эту красотку. Делопроизводитель маслеными глазами посмотрел на Адалжизу: «Молодец, падре, эти иезуиты на ходу подметки режут». Он закашлялся, показал всем троим спину и побрел было к себе, но тут зазвонил телефон. Маседо снял трубку, послушал и протянул ее судье:

— Вас. Из клиники.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ — Звонила дона Олимпия де Кастро, чтобы порадовать судью: «Наша милая девочка уже почти совсем оправилась и завтра сможет вернуться домой».

Голос доны Олимпии, обычно грудной и томно-чувственный — «голос плоти самой», как утверждал объятый страстью поэт Сид Сейшас, — сейчас был просто медовым, журчал и обволакивал. «Конечно, после такой встряски, после такого ужасного припадка бедняжке потребуется отдых и перемена обстановки, и тогда к ней вернуться душевное спокойствие и прежняя жизнерадостность. Как вы полагаете, доктор?» — «Разумеется, разумеется».

Тогда дона Олимпия заявила, что по счастливому совпадению как раз сейчас готовится увеселительный круиз по Карибскому морю, зафрахтован современнейший океанский лайнер. Двадцать пять дней в море и на тропических островах, двадцать пять дней безмятежного отдыха. «Как вы на это смотрите, милый доктор д'Авила?» — «Положительно».

Ну, раз так, то Олимпия немедленно сообщит эту отрадную новость бедняжке Диане, а поскольку муж не может сопровождать их в плавании — у Астерио столько дел, что времени на отдых не выкроить, — то в круиз с нею отправится ее лучшая подруга. «Благодарю вас, доктор, от всей души», — и на этом дала отбой. Судья, слегка растерявшийся от такого напора, не сразу повесил трубку. С опозданием дошло до него, что он сию минуту сам предложил жене отправиться в круиз, чтобы она отошла немножко, оправилась и подлечила нервы. А что же все-таки с этими нервами случилось, из-за чего произошел припадок, осталось

невыясненным. Объяснений донна Олимпия ему не дала, а уж от Дианы он их не получит и подавно. За что же она просила прощения, в чем каялась и винулась? Он не знал. А надо ли знать? Конечно нет.

Судья в задумчивости опустил трубку на рычаг и вновь оказался лицом к лицу с этой бессмысленной головоломкой: фотокопия приказа, им самим подписанного, лежала на столе. А может быть, это он сошел с ума?

Тут Адалжица, поднявшись на ноги, патетически воскликнула:

— Так как же будет с Манелой? Что ее ждет? Знаете, куда повели ее из монастыря? На кандомбле Гантоис!

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРНАВАЛЕ В ЧЕСТЬ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ — Как вы помните, Нилда Спенсер пообещала Шанселю, что на Пелоуриньо соберется тысячи две-три желающих показать «Антенн-2», что такое бразильский карнавал. Она недооценила своих сограждан. Когда Патрисия и Абелардо, оставив мотоцикл у старинного дома, где помещался некогда медицинский факультет, двинулись по улице Алфредо Брито, на площади под звуки электрогитар и ударных танцевало не меньше пяти тысяч, и народу прибывало с каждой минутой. Трио Додо и Осмара поместилось на возвышении между Музеем Баии и церковью Розарио-дос-Негрос.

На деревянном помосте установили камеру, которая должна была снимать общие планы, панорамы. Три других на плечах операторов двигались с места на место в толпе, чтобы давать крупные планы — подробности и детали. Подробности и детали были таковы, что французы захлебывались от восторга: «Это неопишимо!»

На улице Грегорио де Матоса накапливались для атаки афоше и африканские группы — их было добрых полдесятка, и каждая готовилась прогреметь своей музыкой, прославить свои негритянские корни, так мощно повлиявшие на бразильскую расу. Неподалеку готовились «Дети Ганди» — славнейшая из карнавальных групп, и долетал уже рокот их барабанов-атабаке. Танцовщицы из группы «Жаку» в голубовато-бирюзовых хитонах сидели на паперти, и развеселая орава учениц театральной школы, присоединившись к ним, тотчас принялась плясать на ступеньках храма. Народ валил со всех сторон: спускался с Кармо и Террейро-до-Жезус, поднимался от Табуана, рекою, впадающей в море, тек с Байши-дос-Сапатеiros. Повсюду звучала музыка Жилберто Жила.

Жак Шансель в сопровождении Нилды весьма увлеченно проводил смотр разных групп и школ самбы, определяя, кому за кем идти. Он жалел только, что нет Силвии Эсмералды, оголенной сверху и снизу до последней

степени вероятия. Он спросил о ней у Патрисии, которая, пристроив своего падре на возвышении для почетных гостей, — там был и французский консул Жак Фала, и португалец Фернандо Ассиз Пашеко, и американка Френсис Смит, и кое-кто из видных бразильцев, — вернулась к исполнению своих непосредственных обязанностей.

— Ou est Sylvie? Je ne la vois pas.

— Elle est malade.

— Comment, malade! Quelle dommage! Je voulais tant faire la fete avec elle! La fete du Carnaval, bien sur...

— Settlement du Carnaval? — с намеком спросила Патрисия.

Нилда Спенсер расхохоталась, но француз не растерялся:

— Elle est si belle...^[75]

Обе красотки рассмеялись, хотя впору было бы поплакать над незадачливой подругой. Бедная Силвия, что с ней только будет, когда она узнает, что Жак Шансель, знаменитость, шармер и яблоко раздора бразильских дам, Жак Шансель, которому адресовала она вздохи томные и романтические, Жак Шансель, которому она недвусмысленно предлагала свою благосклонность, сам Жак Шансель заметил ее отсутствие, спросил о причине оногo и в полный голос, во всеуслышание заявил, что без нее ему и праздник не в праздник... Да она с ума сойдет от досады, зачахнет с тоски. Не повезло! Угораздило же заболеть в день карнавала!

Они увидели грандиозный проход афоше «Дети Ганди» — все в ослепительно белых одеяниях, и впереди — сам Ганди с козочкой. Увидели группу «Жаку», и глаз их порадовался девицам в бирюзовых хитонах и разлетающихся юбочках — «уж такое было жаку!...». Вел их, задавая ритм, Валтиньо Кейроз, а рядом с ним шла его почтенная матушка Луз да Серра, по виду годившаяся ему в сестры. Увидели они и Георгия Мустаки, грека, родившегося в Александрии, parisien^[76], взасос целовавшего Леноку, а та была еще голей, чем студенточки театральной школы. Видели, как вступила на площадь группа «Интернасьонаис» под командой президента этого клуба Рубиньо и под музыку, специально сочиненную для них Винисиусом де Мораэсом. Они увидели все это и многое, многое другое, и камеры их запечатлели веселое и раскованное сумасшествие, праздник, не знающий ни границ, ни удержу, увидели бурный выплеск веселья, радости и свободы. Самые внимательные телезрители могли заметить и падре Абелардо — камеры иногда скользили по нему: он бил в бубен и не сводил глаз с мелькавшей внизу Патрисии.

А вот ее операторы не выпускали из поля зрения ни на минуту,

фиксируя каждое ее движение, которое тотчас же повторялось всеми танцующими, отражаясь, точно в тысяче зеркал, танцорами и танцовщицами на площади. Увидели французы эту бело-черно-краснокожую голландку Патрисию да Силва Ваальсерберг, увидели баиянку Патрисию, апогей мулатства, триумф смещения кровей.

Ей очистили место, чтобы под восхищенный гул и плеск ладоней она танцевала одна — единственная и неповторимая (тут операторы взяли ее крупным планом). «Сын Ганди» Камафеу де Ошосси, непереносимо элегантный в своих карнавальных одеждах, потряхивая спичечным коробком, взял на себя обязанности дирижера и церемониймейстера, а Патрисию, знаменщица и королева карнавала, играючи выполняла самые немислимые па, может быть, даже слишком качая бедрами, вертя задом, выкладываясь до конца в этой самбе и преследуя святую цель — показать французам, что есть карнавал, величайший праздник бразильского народа. Это во-первых. А во-вторых, сделать так, чтобы ее духовный отец падре Галван, ее милый и девственный Абелардо, увидел ее и пожелал.

ЭПОПЕЯ В СТИЛЕ ЭУКЛИДЕСА — Для того чтобы поведать обо всем, что происходило на площади Пеллоуриньо с Зе Ландышем, надо быть по крайней мере Гомером или Шекспиром. Или Эуклидесом да Куньей^[77], основавшим товарищество на паях с Достоевским и Гоголем. Под силу ли моему слабому перу это беспрецедентное сочетание греческой трагедии с русским романом? Мне ли, баиянскому сочинителю, небрежному и заурядному борзописцу, «кровь» умеющему рифмовать только с «любовь», братья за такое? Ни величия древних аэдов, ни утонченного психологизма, ни блеска стиля, ни художественности — ни черта нет! А что же есть, и притом в избытке? — Отвага! Отвага, присущая невежеству. Вот запасясь ею, и похромаем далее. Благословясь, приступим.

Целую вечность — те два часа, пока шел карнавал, пока гремело, сверкало, блистало, пока неисчислимая сила баб выставляла напоказ свои прелести, пока длилось это могучее и откровенное бесстыдство, — Зе Ландыш, то поспешая, то замирая на месте, прожил со страхом, с опасностью, с неволей, со смертью. Он разрабатывал планы, обдумывал ходы, попирали законы, совершал насилия, обдумывал, воображал, он был схвачен, судим и приговорен, он спустился в самый ад, он убил и умер.

Решимость одолеть препоны появилась у него еще у театральной школы, когда увидел он, как падре, сукин сын, жеребьячья порода, уселся к этой полоумной чуть не на закорки, притулился к ней — и мотоцикл, взревев, скрылся из виду. Зе Ландыш вскочил в такси: окаянную парочку

было никак не догнать, она была уже далеко впереди, но шофер успокоил его: ничего, мол, они на карнавал едут, на площадь Пеллуриньо. Господь не оставил, а таксист доставил — доставил на площадь в тот самый миг, когда оба придурка — он и она — влезли на подмости, где стояли музыканты. Бесовка, правда, тут же слезла вниз, а падре, с позволения сказать, остался среди важных гостей, тузов и шишек. Ну, падре, ну, кобель, мало ему, значит, замужней дочери полковника... Погоди ж ты у меня.

Увидев, что падре приткнулся наконец к постоянному месту, Зе Ландыш стал оценивать ситуацию, чтобы выполнить поручение чисто и в самый подходящий момент. Скажу вам, что пристукнуть человека можно экспромтом, под воздействием некоего озарения — это, конечно, наилучший вариант, но в сложных случаях, вот как этот, к примеру, необходимо все тщательнейшим образом спланировать, все расчислить с математической точностью.

Сначала Зе Ландыш подумал, что застрелит падре прямо там, рядом с музыкантами: это проще простого, годилось любое окно на первом этаже, выходящее на площадь. И Зе проник в дом через черный ход, и никто его не заметил, потому что служители обоюго пола высыпали на мостовую и пятались на всеобщий пляс. Убийца приоткрыл окно, и кудлатая голова падре оказалась совсем близко: и захочешь — не промахнешься. Замечательно! Да? Как бы не так! Смертельный риск. Стоит проклятому попу чуть-чуть отклониться в сторону, вперед или назад, и пулю схлопочет другой, ни в чем не виноватый. А эти бездельники на месте не стоят, всякую минуту меняют позу, двигаются, чтоб их!.. Проще простого, а вот невозможно. Зе Ландыш вышел из Музея так же, как вошел — незаметно. Тихо.

Были рассмотрены другие варианты, но ни один из них его не устроил, ибо не гарантировал стопроцентного успеха. Зе Ландыш рисковать не мог: на его совести уже был один убитый по ошибке, нет уж, спасибо, на двоих его не хватит. После долгого размышления он пришел к выводу, что ничего другого, как застрелить падре открыто, при свидетелях, не остается. Однажды он уже пошел на это, и, разумеется, его сцапали на месте, однако полковник Улисс Кардозо, которому, кроме заказа на этот выстрел, принадлежал и весь штат Алагоас, вызволил его из каталажки, чуть только прознал про такое идиотство со стороны полиции. Зе Ландыш был человек тертый, с наметанным глазом и потому легко узнал стоявших в подворотнях переодетых полицейских: судя по всему, падре интересовал их не меньше, чем его. Комиссара Паррейриньо, к слову сказать, он определил сразу же: конечно, не знал, что он — комиссар и к тому же

Паррейринья, но рожу легавого ни с какой другой не спутаешь. Делать нечего: хоть вокруг кишмя кишат агенты, хоть вполне вероятно загреметь в тюрьму и под суд, который меньше тридцати лет заключения ему не отвалит, — надо выполнять свой долг, надо доказать, что ты — порядочный человек и дорожишь своим добрым именем.

Да, порядочный человек, истинный профессионал и — добавлю от себя — очень толковый и терпеливый. Именно поэтому падре Абелардо мог еще некоторое время наслаждаться жизнью. Зе Ландыш устроился за помостом с музыкантом, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. Поодаль кто-то — по виду земляк — сел во вьючное седло своего осла, чтобы видеть, а все остальные даже не шевелились, захваченные зрелищем. Ишь ты, падре, думал между тем Ландыш, затесался к большим людям, влез даже выше музыкантов, но погоди, как влез, так и слезешь, а как слезешь, тут тебе и крышка: блудливых котов холостят. Если потом успею добежать до Ладейры-до-Ферран, то выкручусь. Зе Ландыш был очень внимателен и сосредоточен и только изредка позволял себе бросить беглый взгляд на голые бедра и животы, крутые груди и точеные зады, ибо понимал всю меру лежащей на нем ответственности. Он почти не сводил глаз с приговоренного.

А праздник между тем охватил уже все пространство от кафедрального собора до монастыря Кармо. На улицу вышли по собственному почину, по своей охоте и без всякой надежды на вознаграждение еще две рок-группы: одно электротрио поместилось на углу Алфредо Брито, другое — у входа на Ладейру-до-Табуан. Появились еще школы самбы и афоше, не предусмотренные программой, появились и приняли участие в веселье: упомяну «Апашей из Тороро», группу Барона, «Сов», «Купцов из Багдада». Репортеры как всегда приврав, но на этот раз ненамного, уверяли, что десять тысяч танцевали на площади самбу, и продолжалось это до зари, и пришли они вовсе не за тем, чтобы покрасоваться перед объективами телекамер, — нет, из семи ворот города Баия ринулись они на карнавал.

Пик воодушевления, чтобы не сказать «массового психоза», пришелся на те минуты, когда камеры стали снимать беспримерный проход «Детей Ганди»: в первом ряду в обнимку с президентом шел Жак Шансель. Именно тогда Патрисия решила позвать падре, чтобы вместе с ним нырнуть в людское море: до сих пор она работала, а он только смотрел. Она махала руками, чтобы привлечь его внимание, она кричала, чтобы он услышал, она звала его и приказывала спуститься. Зе Ландыш встrepенулся, отвел глаза с того чудака на осле — он теперь слез с седла,

присел в сторонке и вроде задремал. Нет, только деревенский пентюх способен на такое: спать на карнавале. Ослик жевал яркую афишу, содранную со стены. Весь народ рукоплескал и смотрел на «Детей Ганди».

Зе Ландыш сунул руку в карман своего дождевика, сжал рукоять револьвера «Таурис» — 38-й калибр, шесть патронов в барабане и все смертельные, рука не дрогнет, мушка не моргнет, бог не выдаст, а свинья не съест. Прощай, попик, дерьмо ты собачье, прощай, пришел твой смертный час, прощайся с жизнью и с блудом, не придется тебе отплясывать с нею самбу и тешиться в оскверненной постели, конец тебе. И чужую землю больше делить не будешь, и с чужими женами блудить, потому как не подобает падре такими делами заниматься. Прощай, сукин сын, и зачем ты только ввязался в это?!

Падре Абелардо спустился с возвышения. Патрисия обняла его за талию, Зе Ландыш подошел почти вплотную, наставил револьвер в затылок обреченному, нажал на спуск. Но рука отчего-то дернулась, и пуля ушла куда-то в небосвод. Зе резко повернулся, готовый на месте пристрелить мерзавца, толкнувшего его под локоть. Но поблизости никого не было, кроме дремлющего крестьянина да ослика, продолжавшего жевать вкусную и питательную афишу.

Парочка удалялась туда, где гремел карнавал, и Ландышу некогда было разбираться, он прибавил шагу, взял на прицел голову беспокойного покойника, выстрелил. И снова дернулась рука, и снова пуля пошла «за молоком». В третий раз выстрелил он, и в четвертый, и в пятый — и все неудачно. Оставался один патрон. Зе Ландыш совершенно потерялся.

Житель сертанов готов умереть, готов покончить с собой, если нужно, но не падает духом, ибо он, как учит нас Эуклидес да Кунья, духом этим крепок. Последнюю пулю Зе Ландыш приберег для себя. Он поудобней уселся на мостовой, рассудил, что падре знает с нечистой силой, вспомнил и пожалел жену, индеанку Моми, умеющую гадать, заговаривать любую хворобу и еще так жарко ласкать его в гамаке. Приставил дуло к груди, к тому самому месту, где билось его сбитое с толку сердце, сердце храбреца, попрощался с жизнью и с милым Пернамбуко, родиной отважных. Выстрелил, почувствовал, как хлынула, заливая дождевик, кровь, понял, что мертв, опустил наземь, раскинул руки. Он только не заметил, что вовсе не кровь ударила струей из пробитого сердца, а просто грязная водица вытекла из ствола револьвера. «Таурис» 38-го калибра ни с того ни с сего сделался игрушечным.

ПЕНТЮХ С ОСЛИКОМ — А крестьянин, безмятежно дремавший в

сторонке, вдруг проворно поднялся, подошел к распростертому на мостовой Зе. Низкорослый, коренастый, с длинными, как у гориллы, руками, он легко поднял убийцу, взгромоздил его поперек допотопного и громоздкого вьючного седла. Потянул ослика за узду, а тот потащил непривычный груз по крутому и скользкому спуску Ладейры-до-Ферран. На остановке крестьянин ссадил Зе Ландыша, посадил его в автобус, отправляющийся в Ресифе. Зе Ландыш побывал на том свете и теперь возвращался на этот.

Дон Максимилиан фон Груден видел, как кафуз^[78] вел своего покладистого и медлительного ослика вниз по Ладейре-да-Прегиса. Да и не один дон Максимилиан — многие видели эту деревенщину, но никто не обращал на него внимания, а если и замечал, то потешался над нескладным увальнем. Дело известное: беженец с Северо-Востока, засуха скосила скотину, убила детей, вот он и двинулся в столицу штата. Мог он быть и рубщиком сахарного тростника, и рыбаком с берегов реки Сан-Франциско, а может, собирал пальмовое масло денде, заготавливал пальмовое волокно или растительный воск. Может, носил он кожаную шляпу, был скотоводом из каатинги, продувным малым, танцором и задирой.

Бесстрашный и отважный сертанец со своим маленьким — никак не крупней козла — осликом. Что тут особенного? И только те немногие, кто был призван и посвящен, кому ведома тайна волшбы и колдовства, кто покумился с самим Сатаной, кто выходит на кандомбле, только они знали, что приземистый длиннорукий крепыш в выгоревшем и мятом пиджачке, доходившем чуть не до колен, в пастушьих сандалиях-альпаргатах, попыхивающий самокруткой, попахивающий кашасой, — не кто иной, как сам Эшу Мале, молочный брат и помощник богини Иансан, явившийся по ее зову.

А когда крестьянин со своим осликом поднимались по Ладейре-до-Папагайо, на вьючном седле всякий, кто хотел, мог бы увидеть иную поклажу — кожаную плетку, порядком истрепавшуюся от частого употребления.

ШТИЛЬ — Непобедимая Армада с торжественной медлительностью скользила по реке Парагуасу. Спокойные воды ее несли парусники, баркасы, боты, яхты и шхуны; сменяли друг друга, накатывая волнами, песнопения духовные и вполне светские, псалмы и самбы, гимны и песни протеста, запрещенные цензурой, проклятые властями.

Флот насчитывал двадцать восемь вымпелов: ветер надувал паруса, трепал, но не срывал флаги расцветивания — часть была из материи, а

остальные бумажные. Народ толпился на берегах, приветствуя экспедицию, кое-где устраивали молебны и шествия, прося господу даровать ей победу.

Но когда уже ближе к вечеру Непобедимая Армада вошла в Бухту Всех Святых, где ее тоже восторженно приветствовали жители многочисленных островов, случилось непредвиденное. Ветер утих — наступил полнейший штиль, абсолютное безветрие, море стало гладким, как голубовато-зеленый ковер, без малейшего признака не то что зыби — ряби. Казалось, по нему можно идти, аки посуху. На кораблях воцарилось мрачное молчание — дурная примета омрачила настроение.

Сколько же им теперь томиться в бездействии? До вечера надо было ошвартоваться у Рампы-до-Меркадо, а потом двинуться к монастырю Святой Терезы, к Музею, чтобы заявить директору, принимающему в это самое время губернатора и кардинала: «Святая принадлежит нам!» Они же везли с собою двенадцать транспарантов, пятьдесят два плаката. Успеют ли? Не сорвется ли манифестация?

— Все пропало, падре. Безветрие может продолжаться еще несколько суток... — меланхолически заметил Гидо Герра, утративший весь свой пыл.

— Замолчи, Фома Неверный! Святая Варвара Громоносица это дело так не оставит, сейчас же прилетит к нам ветерок. Нам много и не надо. — Викарий пытался приободрить свой приунывший экипаж, но и сам утерял недавнюю веселость.

Вот тогда со шхуны, на которой разместились почтенные богомолки из Общины Пресвятой Девы Блаженного Успения, и донеслась старинная песня, родившаяся еще в сензалах:

Громоносная Варвара,
Подари рабыне бедной
Заваливший грошик медный,
Подари мне три тостана —
Выкуплюсь и вольной стану...

Дона Кано, в душе которой всегда жила гармония, немедленно симпровизировала:

Громоносная Варвара!
Дабы мы успели в срок,
Громом грянь, блесни зарницей,
Ниспошли нам ветерок...

Хор подхватил, песня понеслась над голубовато-зеленым ковром, взлетела к небесам. И святая — не знаю, право, где была она в это время, чем занималась, — услышала, откликнулась. Может, кто-нибудь сомневается? Готов держать пари: деньги на бочку! Выигравший ест до отвала, проигравший платит за ракеты и шутихи.

ТРИУМФ СОРАТНИКОВ — Адалжиза была ублажена полностью. В сумочке у нее лежал новый приказ доктора д'Авилы, в котором черным по белому было написано, что ее племянница и воспитанница Манела подлежит заключению в стенах монастыря Лапа, в обители «кающихся» под присмотром матери игуменьи Общины Непорочного Зачатия до тех пор, пока она, Адалжиза, владеющая исключительными правами опекуна, не заберет ее оттуда. Кроме падре Хосе Антонио шагали рядом с нею двое судебных исполнителей, которым и надлежало добром или силой, собственными силами или с помощью полиции провести решение судьи в жизнь. Они должны были начать действовать при малейшей попытке сопротивления или возникновения каких бы то ни было препятствий со стороны завсегдатаев кандомбле Гантоис — «сброда черномазых», как метко определил их падре.

Все четверо вылезли из автобуса на улице Кардинала да Силвы — некое предзнаменование! — и далее двинулись пешком на Ларго-де-Пулкерия, где стоял скромный и величественный дом — там и помещалось Омим Аше Иамансе, или кандомбле Гантоис. Падре Хосе Антонио был еще веселей Адалжизы, его прямо-таки распирало от радости. Ликуя после знатного угощения и блистательно исполненного долга, он то и дело подносил к губам распятие на серебряной цепочке, которая так красиво поблескивала на его черной элегантной сутане. Падре был щеголь и франт. В молодые годы, когда он в рядах Фаланги молодцевато маршировал по Севилье, случалось ему разбивать женские сердца. И не только женские: помимо двух прихожанок — одна была богатая вдова лет сорока, а другая девица, которая рыдала и грозила, что покончит с собой, — пленил он и знаменитого матадора, славного и беспримерным мужеством, и пристрастием к мужчинам. Итак, девчонка твердила, что проглотит требник, вдовушка осыпала его подарками, а матадор, сразивший на арене десятки беззащитных быков, впирался прямо в ризницу, обхаживал падре спереди и сзади, делал нескромные предложения, сулил золотые горы, лез с поцелуями.

Природная правдивость, являющаяся и основой, и путеводной звездой моего повествования и, быть может, единственным его достоинством, не дает мне умолчать о том, что милovidный и забалованный падре, снедаемый страстью к святой нашей матери-церкви и к генералиссимусу, смирил плоть, что далось ему нелегко, и отверг притязания двух осатаневших баб и неистового тореро. Если же и случалось ему извергнуть семя, то происходило это во сне и свершался грех не смертный, но прощительный: кусочек мыла и «Отче наш» смывали пятно и с простыни и с совести.

Он остался глух к просьбам девицы, резонно полагая, что на каждый чих не наздравствуешься, он презрел авансы вдовицы и отверг ее дары, лишь из вежливости не вернув ей полученные раньше шелковые пижамы, желтые и голубые подштанники, флаконы одеколona, распятие на золотой цепочке — оно стоило бешеных денег, но падре Хосе Антонио не купишь. Труднее было утишить роковую страсть матадора, поскольку Эль Потаскун давно уже был кумиром юного фанатика, который не пропускал ни одной корриды. Он попытался предложить ему дружбу, но успеха не достиг: тореро, человек необузданных страстей, требовал все или ничего и плевать хотел на дружбу: «На кой она мне сдалась, твоя дружба?!» Во исцеление душевной раны он отправился в Мексику, где вскоре спозналcя с усатым, задиристым и злобным гитаристом из ансамбля «Марьячи», который и помог ему забыть святотатственную любовь к падре. Так что добродетель Хосе Антощу не только не поколебалась, но даже укрепилась.

Падре и модистку, оживленно обсуждавших по дороге загадочную историю с подделанным приказом, сопровождали, как уже было сказано, двое судебных исполнителей: темнокожий мулат Жозелито Массарандуба, человек уже в годах, жрец Ошосси, отец многочисленного семейства, посвящавший свободное время игре в «очко», чтобы сшибить лишнюю сотню милрейсов на любимое угощение — особым образом тушенную фасоль с пряностями, — и мулат светлый, рыжеволосый и веснушчатый, по имени Пауло Котовия — этот был холост и жениться, кажется, не собирался, большой любитель музыки, ударник в джаз-банде «Chango's Brothers^[79]». Да, так вот: падре Хосе Антонио считал, что ничего таинственного в истории с приказом нет и дознание должно подтвердить подозрения доктора д'Авилы.

А доктор д'Авила ясно дал понять, что подозрения эти падают на бронхитного делопроизводителя. Сеньор Маседо мог войти в здание суда в любое время дня и ночи, имел доступ к бумагам с грифом и к печати и прекрасно знал, как подписывается судья. Словом, подделать приказ

больше некому. Оставалось только выяснить, кто его попросил об этом одолжении и сколько было уплачено за него.

«Разумеется, это Жилдета!» — вскинулась Адалжиза. Они с Данило сложились и сумели отблагодарить Маседо, если тот и вправду получил от них деньги. Но скорей всего договорились любовно: у этой мерзавки, не вылезавшей с террейро, повсюду, повсюду свои люди, всех она знает, все они друг за друга горой, способны на любую пакость и вообще на все что угодно.

Беседуя таким образом, шли они на кандомбле Гантоис, как вдруг навстречу им по улице Кардинала да Силвы двинулся приземистый длиннорукий сертанец, тянувший за недоуздок ослика.

ПРИЗЫВ — В эту пятницу, хоть и не страстную, но заполненную разгулом страстей, башни баиянского телевидения, вознесшиеся неподалеку от Ларго-де-Пулкерия, уловили странный сигнал. Кто-то неведомый трубил в раковину, созывал богов-ориша к челнам, бросившим якорь на кандомбле Гантоис.

Этот могучий и таинственный призыв, переданный по спутниковой связи, пролетел всю нашу землю от севера к югу, от запада к востоку, через моря и океаны, континенты и материки, из страны в страну — до самого края света. Что это был за сигнал, внезапно зазвучавший по всем телеканалам? Кто его подал? Что он означал? Какое сообщение передавал? Какие грядущие катаклизмы возвещал? Что предсказывал? К чему призывал?

Собравшись на съезды, конгрессы, симпозиумы, конференции и коллоквиумы, виднейшие и крупнейшие ученые, как всегда, разделились по идеологическому признаку, служа власти. Верней сказать, тем, в чьих руках эта власть сосредоточилась. Западные ученые, охранители отсталой и реакционной буржуазной цивилизации, заявили, что сигнал отправлен с планеты Юпитер. Мужики науки с Востока, представлявшие цивилизацию бюрократического и авторитарного социализма, с пеной у рта доказывали, что ни с какого не Юпитера, а вовсе с Нептуна. Разгорелась научная дискуссия, в ход пошли головоломные аргументы и классические оскорбления.

Ожесточалась полемика. Вашингтон сцепился с Москвой, левые — с правыми. Создалось либеральное направление с двумя основными ответвлениями — центрально-правым и центрально-левым. Непримиримые радикалы опубликовали манифест, объединив на своей платформе представителей крайних взглядов, предлагавших немедленную

войну с Юпитером. Или с Нептуном. Неважно, с кем. Возникали, раскалывая единство, все новые и новые группы и течения, выпускались тысячи книг, написанных латинским шрифтом или кириллицей, арабской вязью, китайскими, японскими, корейскими иероглифами, снимались фильмы, записывались кассеты, составлялись программы для компьютеров. Доселе неизвестная группа японо-китайских теоретиков прогремела на весь мир, объявив, что сигнал исходит с Плутона и является материализовавшимся симбиозом Будды и Маркса.

Следует отметить, что в странах богатых и развитых накал страстей был меньше — возможен, возможен разумный компромисс между сверхдержавами! — но в «третьем мире» продолжались взаимные обвинения и отчаянная перебранка.

А на Кубе, на Гаити, в Африке боги-ориша, услышав призыв, бросили привольное житье, охоту и купанье, и послеобеденную дрему, и прочие утехы и забавы, среди которых была и та, что порождает стон, хоть и не от боли, — пересекли небосвод, устремившись в Баию.

БИТВА — И длиннорукий сертанец прибавил шагу, дернул за недоуздок, торопясь навстречу славной четверке, призванной восстановить поприщ мораль по приказу судьи д'Авилы. Улица Кардинала да Силвы — оживленная магистраль, машины несутся сплошным потоком, но сертанец и его ослик, наплевав на все правила уличного движения, вдруг пустились в пляс прямо на мостовой.

И едва лишь судебные исполнители Жозелито, Массарандуба и Пауло Котовия поравнялись с этой парочкой, как вмиг слетела с них вся серьезность, и оба тоже стали выделывать фортеля, откалывать коленца, обнаруживая прекрасное знакомство с этим танцем. Падре Хосе Антонио, который не мог, разумеется, знать, что так полагается приветствовать на кандомбле демона Эшу, возмущился самим фактом того, что два служителя правосудия отплясывают посреди улицы за компанию с каким-то оборванцем. А осел? Это уж ни в какие ворота не лезло: вальсирующий ослик — зрелище постыдное и отвратительное. Что уж говорить о том, что вакханалия мешала проезду, машины замедляли ход, тормозили, едва не стукаясь бамперами. Возникла пробка.

— Что это значит? *Que hacen ustedes?*^[80] — спросил он, мешая, как всегда в минуты волнения, испанский с португальским, и даже слегка оторопев перед лицом такого внезапного и ни с чем не сообразного веселья.

Но наглый сертанец, пентюх, деревенщина, грозный демон Эшу вместо ответа разинул бездонную пасть и показал достойному

священнослужителю сизый, словно раскаленное железо, язык. «Пошел вон!» — вскричал оскорбленный падре. Эшу предоставил отвечать своему ослу, который отставил хвост и издал громовую очередь непотребных звуков, а сам подскочил к Адалжизе и взглянул ей прямо в глаза. Судорога прошла по ее телу — предвестие скорого явления божества, — голова закружилась.

— Мать божья, спаси меня! — взмолилась она.

Да, в смертельной схватке, воспетой еще славным нашим поэтом Кастро Алвесом^[81], сошлись лицом к лицу непримиримые враги — фанатизм и терпимость, предрассудок и разумение, расизм и метисация, тирания и свобода. Битва эта идет в любой части света каждую секунду, и конца ей не видно.

Эта стычка была коротка, длилась ровно столько, сколько нужно, и ни мгновения больше, а показалась бесконечной. Проносились мимо стремительные автомобили, и сидевшие в них даже не подозревали, что здесь, на углу улицы, гордящейся именем непреклонного догматика, твердокаменного охранителя устоев кардинала да Силвы, и площади, названной в честь Пулкери, жрицы-йалориши, родившейся в неволе, отправлявшей на кандомбле культ запрещенного властями божества, нищей и доброй Пулкери, противоборствуют величие и ничтожество, вчера и завтра, влечение к смерти и радость бытия. В окопе мракобесия сидел фалангист Хосе Антонио — со свастикой в крови, с анафемой на устах, с атомной бомбой в яйцах. В атаку на него шли три бога-ориша, спешно прилетевшие из африканских краев — Ошосси, Шанго, Эшу Мале. Мимо пролетали машины: водители их и пассажиры торопились побольше заработать, пораньше приехать, боялись опоздать и ничего не видели, точно слепые. Одна только Розана Новoa, секретарша по профессии, проезжая в своем подержанном «багги», спросила мужа, с какой это стати тот священник на тротуаре вдруг рассвирепел, воздел распятие и двинулся к коленопреклоненной женщине. Муж по имени Умберто ответа не нашел и отмахнулся.

Почтенный Жозелито и юный Котовия, судебные исполнители, вмиг превратившиеся в Ошосси и Шанго, кружились в ритуальном танце, приветствуя Адалжизу, приглашая ее на пиршество на Меркадо-да-Байша. И богобоязненная модистка вдруг выгнула стан, закусил губу, и в засверкавших ее глазах послеполуденный солнечный день сменился вдруг рассветным сумраком с первым проблеском зари — утром второго рождения. Губы ее что-то невнятно бормотали, вселившееся в нее божество заставило ее трижды подпрыгнуть — каждый раз все выше и выше. Падре

Хосе Антонио, подняв над головою крест, крикнул, задыхаясь от изумления и негодования:

— ¿Que te pasa, hija? Controtate, desgraciada!^[82]

И просвещенная испанка, рьяная поборница Святейшей Инквизиции предприняла героическую попытку прийти в себя, освободиться от наваждения, стряхнуть с себя чары ориша: провела руками по телу, чтобы снять невидимые оковы волшбы, воспротивиться ее цепкой силе, закрыть ориша путь, открытый когда-то бритвой Анунсиасан, которая дала обет посвящения, не ведая, что уже носит ребенка от Пако Переса.

— Espera! Voy liberarte de demonio! Ahora mismo!^[83]

Рухнула Адалжиза на колени, стиснула ладони, а руки устремила к небу — очень уж не хотелось ей покидать сословие приличных людей, настоящих сеньор. Стиснув в кулаке распятие — так, должно быть, обхватывала рукоять меча длань Сантьяго Матамороса, — падре Хосе Антонио бросился к ней на помощь:

— Vade retro, Satanas!^[84]

Не знаю, сатана, может, и послушался бы этого заклятия, но проворный африканский бес Эшу Мале Семь Прыжков и не подумал сгинуть и рассыпаться — напротив, он вместе со своим ослом набросился на падре, размахивая плеткой, предусмотрительно снятой с вьючного седла. Окаянная скотина, не переставая громозвучно портить воздух, брыкаться и лягаться, перешла теперь с вальса на пасодобль. Падре Хосе Антонио попятился от свистящей плетки, повернулся, чтобы убежать, и тут получил прямо в зад страшный удар копытом от обуянной дьяволом твари, которая так обрадовалась своему святотатственному бесчинству, что раздвинула губищи, оскалилась и заревела. Падре повалился наземь. Чуть поодаль распростерлась, как мертвая, Адалжиза: голова у нее раскалывалась, но не от мигрени — мигрень исчезла навсегда, — это закровоточило ее каменное сердце. Кто бы мог подумать?!

Вот тогда и выяснилось со всей непреложностью, что падре Хосе Антонио Эрнандес — герой только на словах, а на деле — распоследний трус, что к самопожертвованию он не стремится и стяжать мученический венец не готов. Он поднял руки вверх, сдаваясь трем демонам, которые, без сомнения, намеревались прикончить его. Всем известно, что коммунисты перед тем, как убить духовное лицо, норовят оскопить его. Падре желал сохранить жизнь, а заодно, если можно, мужское свое естество, которому, правда, не находил должного и приятного применения — сны не в счет. Следует отметить, что для падре демоны, коммунисты, ориша и хиппи

были одним миром мазаны.

Трое убийц, трое развеселых и вконец распоясавшихся ориша с хохотом окружили его. Они удовольствовались малым: моментально раздели его, разули, так что остался он совсем нагишом, если не считать грязных носков да распятия на серебряной цепочке. Эшу Мале проводил его пинком в зад.

Падре бросился бежать, продрался через живую изгородь, в кровь оцарапавшись о колючки «слез Спасителя Бонфинского» и «шипов Святого Антония», пролетел, падая и поднимаясь, по авениде Гарибальди, свернул на Ондину. Вслед ему кричали прохожие: «Глядите, глядите — голый падре!» Как буря, ворвался в особняк миллионера Карлоса Маскареньоса, того самого, что несравненно играет на маленькой гитаре-кавакиньо и еще лучше — в карты. Миллионер узнал падре, ибо тот часто приходил к нему за пожертвованиями, и, хотя терпеть его не мог, принял великодушно и даже предложил scotch-on-the-rocks.

— Играете роль Адама, святой отец? Или убегаете от какого-нибудь ревнивца? Вас застукали? Ну, а прелюбодея какова попалась? Стоящая?

Чтобы пастырь смог добраться до своей церкви и при этом в него не тыкали бы пальцами уличные мальчишки, Карлос одолжил ему свой карнавальный костюм — черный саван, в какой обряжают самых неимущих покойников, черный саван с намалеванными на груди белыми ребрами. А чтобы не узнали, дал в придачу темные очки.

РАДУГА — Трое ориша сняли вьючное седло с ослика и надели его на спину Адалжизе, извивавшейся в конвульсиях, и великолепный ее зад, предмет вождлений Данило, стал еще краше и величественней.

На кандомбле Гантоис, в тайном покое, отведенном для тех, кто делает первый шаг к посвящению, богиня Иансан вскочила на свою горячую кобылку, вселилась в красивейшую из своих жриц-иаво — в Манелу: все с ума сойдут от восторга, когда поскачет она по кругу на террейро.

Предъявив свои права на Манелу, признав ее своим конем, Иансан дала ей отдохнуть, и та простерлась на узком лежаке — голова выбрита, лицо расписано синим с белым, к щиколоткам привязаны в знак подчинения амулеты из конского волоса. Тогда, нежно улыбнувшись ей, оказалась богиня на авениде — грянул боевой клич, сверкнула зарница, ударил гром. Выше телебашен взвилась Иансан и опустилась на Адалжизу: заранее было велено Эшу оседлать непокорную, вот и вскочила богиня в седло, выполнила обещанное. Но пришпоривать ее не стала — зачлась бессердечной опекунше, злобной мачехе та слезинка, которую уронила она

в обители «кающихся», расставаясь с Манелой.

Прожив на свете сорок лет, исполнила Адалжиза то, что было предначертано ей не при рождении даже — при зачатии, освободилась от тесного, тайного кокона и обрела истинное свое значение, стала дочерью богини Ойа Иансан — Иансан Вьючное Седло, имя которой так часто повторяется в песнопениях на террейро. В руке вместо обычного амулета сжимала она плетку — ту самую.

По воле Ошумарэ, двухголовой змеи, двуполого божества радуги, воздвигалась в небе Баии семицветная арка, распахнулся веер, горящий всеми цветами солнечного спектра, открылись ворота тайны. Первым прошел в них ослик, и теперь не переставший брыкаться. По свидетельству иных очевидцев, не заслуживающих никакого доверия, напрочь обделенных божественным даром вдохновения и малокультурных, чтобы не сказать «скудоумных», осел этот был тот самый, на котором бежало из Египта святое семейство. А может, и Буриданов осел, успевший и водички попить, и сенца пощипать, и разрешить проблему, ставившую великого схоласта в тупик. Очень даже вероятно, что был он и волшебным ослом из сказки Шарля Перро, оставлявшим после себя не навоз, а чистое золото: на мостовой, на улице Кардинала да Силвы, нашли потом в ослином дерьме три медные монетки — одну достоинством в двадцать рейсов и две по десять.

Неразлучные Ошосси и Шанго — равно любила их Иансан — вошли в сине-зеленые, красно-белые врата радуги. Направлялись они в лес, в пустыню, к реке, в африканские столицы Лагос, Луанду, Порто-Ново, Прая, к заливу Бенина, в земли царства Айока, шли и распевали одну из песенок Каэтано.

А почтенный судебный исполнитель Жозелито Массарандуба и его юный коллега Пауло Котовия остались вдвоем посреди улицы. Куда же девался святоша-падре, сахарный крендель, оказавшийся при ближайшем рассмотрении плесневелой коркой, куда пропала его спутница — очень еще аппетитная дамочка? Не стали они ломать себе над этим голову, не огорчились тому, что сгинули оба не попрощавшись, не отблагодарив за труды, не раскошелившись хоть чуточку, хоть на табак да пиво: Жозелито и Пауло к людскому бессердечию было не привыкать. Старший, приглашенный загодя на каруру в харчевне Жасиры, как настоящий друг потащил за собой младшего:

— Пойдем, там будет пир горой.

А Эшу перекувырнулся через голову, и исчез, и затворил за собой врата радуги.

А Иансан с вьючным седлом на спине растворилась в воздухе.
Эпаррей, Ойа!

Пир горой

По всему историческому центру Баии, от Террейро-де-Жезус до площади Кармо, до самого рассвета бушевал «французский карнавал»: последние гуляки уgomонились, лишь когда заря отомкнула радужные врата, когда взошла над городом суббота, прекрасная, как канун воскресения Христова.

Сами французы убрались восвояси часов в пять вечера, отсняв последние кадры панорамы отплясывающей толпы и крупные планы полуголой Патрисии — Патрисии задыхающейся, Патрисии задорной, Патрисии, без усталости добивающейся внимания падре Абелардо, — вот он-то как раз веселился с натугой, словно из-под палки, и мучился несказанно.

Оставив в гостинице отснятый материал, французы решили откликнуться на любезное приглашение Жасиры де Одо-Ойа и отвезти каруру на рынке Святой Варвары. Миро должен был отвезти их туда — всех, от Шанселя до того завитого паренька с сережкой в ухе — вроде извращенец, а может, и нет.

Жасира затеяла пиршество безо всякой особой причины, не во исполнение обета — просто хотелось ей почтить богиню Иансан, покровительницу рынка. Позавчера ночью гонец с террейро Гантоис поведал хозяйке харчевни, что Иансан наведается в Баию — у нее там какое-то важное дело. Гонец попусту болтать не станет, он человек положительный и серьезный, не из тех полужнаек, что ошиваются на радениях, пыжась от своей учености. А для Жасиры это был прекрасный предлог созвать друзей, которых у нее пол-Баии, и восславить Иансан — ей, матери своей, обязана она всеми своими удачами в торговле и в любви. Ну, и закатила пир на весь мир.

Каруру должен был превзойти все ожидания: на него пошло двенадцатью двенадцать дюжин киabo. Лоточники и владельцы павильончиков скинулись на покупку нужных ингредиентов, фабрики прохладительных напитков брались поставить разлитое море пива, а известный юрист Зезе Катарино заказал Вилару и Деолино живительную влагу — настойки лимонные, кокосовые, питанговые, мандариновые и прочие под девизом «Изобилие, разнообразие, качество!». Его супруга, донна Режи, дама из самого что ни на есть высшего общества, тоже была дочерью Иансан и каждый год 4 декабря устраивала роскошный ужин с икрой и шампанским для особо приближенных гостей. Богиня Иансан

чужда была расовых предрассудков и благосклонно принимала подношения даже от женщины белой и богатой.

А у Жасиры де Одо-Ойа друзей было не счесть — не только среди близких и равных — тех, кто зарабатывал хлеб насущный в поте лица своего, — нет, и в самых высоких сферах финансов, политики и науки. До того, как открыть харчевню на рынке святой Варвары, она владела скромным домом терпимости в квартале Амаралина. Харчевня досталась ей по наследству от брата, собственных детей не заведшего и в недобрую минуту вздумавшего повздорить за картами с каким-то головорезом.

Ей-богу, легче назвать тех, кого не было на празднестве Жасиры, ибо не в моих силах перечислить имена пришедших, ронявших слюнки — даже осененные благодатью руки Аналии не приготовили бы блюда вкусней! — пробовавших ликеры и настойки, болтавших, смеявшихся, теснившихся за столом. И потому ограничусь я перечнем персон, ставших персонажами и уже фигурировавших на страницах этой хроники, посвященной пришествию Иансан в ее Баию в год, когда открывалась там грандиозная Выставка Религиозного Искусства — о ней и сегодня еще память свежа.

Вот стоит наш милый и долгожданный профессор Жоан Батиста, оживленно беседуя с Жаком Шанселем, объясняя тому на безупречном французском языке с тягучим выговором уроженца Сержипе, что такое каруру, ватапа, китанде, курица-шиншин и прочие деликатесы афробаиянской кухни: он сведущ в этом вопросе и получает от беседы живейшее удовольствие. Вот наш художественный критик Антонио Селестино обхаживает сразу трех первоклассных дам — две столь же знамениты в научном мире, сколь и красивы, а третья к науке ни малейшего отношения не имеет, но тоже очень хороша, и поскольку ученого звания у нее нет, ей приходится гордиться только стройной крутизной бедер, за которые вполне можно дать и доктора «гонорис кауза». Вот во всем своем аристократическом блеске увлеченно изучает нравы и обычаи Баии очарованный ими португальский поэт Фернандо Ассиз Пашеко. Бард из Коимбры отважно опустошил несколько объемистых тарелок, отведал разнообразных настоек и, по собственному его признанию, обрел на этом празднике вдохновение, сочинив наконец стихотворение, стоившее ему много труда и бессонных ночей. Вот, продолжая свой нескончаемый обед, начавшийся в ресторане «Колумб», нотариус Вилсон Гимараэнс Виейра и его верный делопроизводитель Данило Коррейя наслаждаются киabo и ледяным пивом. Звезду «Ипиранги», закатившуюся столько лет назад, до сих пор все любят и почитают; Данило жмут руку, обнимают:

— Как поживаешь, Принц? А где же дона Адалжиза?

Дона Адалжиза отродясь не бывала в таких местах, в жизни не посещала подобных сборищ. Данило притащил на рынок своего начальника и друга, чтобы отсрочить час возвращения домой, ибо там его ждал невероятный скандал, беспримерная головомойка. Можно себе представить ярость Адалжизы. Однако он не раскаивался в том, что посмел послушаться жену и предпринять на свой страх и риск известные читателю шаги. Мятеж обойдется ему дорого, и он то храбрился, то впадал в уныние. И домой решил вернуться как можно позже, а сейчас напиться вдрызг: пьяному легче будет встретиться лицом к лицу с Адалжизой. Так или иначе, четверть часа крика, жалоб, угроз ему обеспечены, у жены снова приключится мигрень, она ляжет... Ах, да пропади все пропадом! Ну, последним назову падре Абелардо Галвана, пастыря Пиасавы, свершающего скорбный вояж в столицу штата. Он изо всех сил старается сохранить бодрость духа — отдал дань каруру, выпил настойки из кажа — настоящий нектар! — но все это молча, угрюмо, без малейшего воодушевления. На веселье его явно не хватает. И дело тут вовсе не в том, что по всему рынку шныряют агенты федеральной полиции, а комиссар Паррейринья оказался достойным соперником Ассиза Пашеко по части поглощения и восхваления каруру. Дело в Патрисии, которая утратила всякую сдержанность и забросила, как говорят французы, чепец за мельницу. Она держала падре за руку, совала ему прямо в рот самые лакомые кусочки, гладила его по щеке, перебирала его кудри, шептала ему в самое ухо: «Ты — мой Святой Себастьян, весь утыканный стрелами, ты мой добрый пастырь, ты мой Христос Младенец, ты мой красавец, любовь моя», она висла на нем, вешалась ему на шею и в шею целовала, она прижималась к нему и покусывала за мочку — и это все при том, что была совершенно трезвая, просто очень веселая. Она была истинной козочкой Иансан, непокорной и готовой на все: сегодня или никогда! Падре Абелардо, попадая из огня прямо в полымя, колеблясь меж добром и злом, между спасением души и вечной ее погибелью, был и растревожен выше меры, и угнетен. Патрисия, священник жениться не может, обет не позволяет! Патрисии до этого, казалось, никакого дела нет, она словно и не знала о роковом запрете. Но не только она отвергала обет — противилось ему и пылающее преступной страстью сердце самого Абелардо. Ах, да только ли сердце!

После семи, когда каруру в основном было уже съедено, а питье только начиналось, весь рынок загудел — это по знаку Незиньо из павильончика араба Джамиля вытащили спрятанные там до поры барабаны-атабаке. Мастеров на каруру всегда бывает предостаточно, а тут составилась целый

оркестр. Убрали кастрюли и тарелки, очистили место. Зарокотали барабаны, кое-кто немедля пустился в пляс — надо ли говорить, что в числе самых первых была Жилдета? Ольга затынула славословие богами-ориша.

Но допеть не успела, ибо в главных воротах появилась сама богиня: она шептала приветственные слова, гибко покачивалась всем телом, выдыхала пламя. На спине — вьючное седло, в руке — плетка. Никто прежде не видел здесь Адалжизу, в которую вселилась Иансан, все замерли. Дрожь пронизала весь рынок Святой Варвары. Жасира, хозяйка праздника, пала ниц, как на террейро. По правде говоря, ей-то уж шепнули по секрету: Иансан — в Баии, она не отвергнет твое угощение, придет на твой праздник. Ойа Иансан подняла ее с земли, трижды обняла. Произошло воплощение, Одо-Ойа вскочила на Жасиру; начался танец.

Одна за другой появлялись в кругу Иансан, и гости напирали все сильней, боясь пропустить хоть малость. Громче стал гул атабаке, к ним присоединились пустотелые тыквочки-агого и погремушки. Рванулась на отчаянном галопе Ольга из Алакату, а за нею — Ойаси, жрица африканского племени жеже, Маргарита-де-Иансан, жена огана Аурелио. Потом пришел черед Веры-до-Белудо, только сегодня прибывшей к нам из Рио.

Прежде чем падре Абелардо успел опомниться, Патрисия, призванная святой, скинула туфли, вскочила в круг. Пять Иансан танцевали вокруг Ойа Вьючное Седло, представлявшей народу свою дочь Адалжизу, сорок лет противившуюся материнскому обету, а теперь укрощенную и покорную. На языке йоруба: этот язык во время радения — то же, что латынь на литургии — велела она снять седло, люди уже видели его на улицах Баии, кое-кто смеялся, думая, что это маскарад, но иные все смекнули, тихо улыбнулись. Незиньо, Марио Оба Тела и Жилдета исполнили повеление, отнесли седло в палатку Джамиля. Когда же праздник кончился, хватились — нет седла, куда могла запропасться громоздкая тяжеленная штукавина? Однако так и не нашли, исчезло седло, как все равно Святая Варвара Громоносица.

Шесть Иансан танцевали в тот день на рынке, все хороши на загляденье, но Адалжиза — лучше всех, ни с кем не сравнить ее. Только тот, кто видел, как вздрагивает в танце ее высокая грудь, как ходуном ходят могучие бедра, узнает, каково было смирить и обуздать ее, заставить ходить под седлом, да не простым, а вьючным!

Данило же в эту минуту находился в глубине рынка, где спорил до хрипоты, обсуждая решение судьи, назначившего одиннадцатиметровый в ворота Баии и даровавшего тем самым победу «Санта-Круз» из Ресифе. Судью — он был из штата Параиба — после матча слегка помяли, поделом

ему, еще дешево отделался! И тут он услышал свое имя. Нотариус Вилсон в крайнем возбуждении звал его. Бывший Принц, не выпуская из руки жестянки с пивом, подошел, глянул в ту сторону, куда тыкал пальцем начальник и друг, и чуть не грянулся оземь:

— Матерь божья, это же Дада!

Богиня Ойа, сидя на своем коне, на укрощенной Адалжизе, подъехала к славному Данило, вручила ему плетку, а потом поступила в точности так, как Манела с Миро — обхватила чуть выше колен и высоко подняла, показывая и представляя народу нового огана из своей свиты, любимого огана.

Близилась ночь, празднество шло к концу, стали расходиться. Ойа поручила «посвященную» Адалжизу заботам жреца-бабалориша Луиса да Мурисоки. В продолжение сорока дней будет находиться она в особой комнатке на террейро — там постигнет движения ритуальных танцев, выучит обрядовые песнопения. Никогда больше не будет мучить ее головная боль, а вместе с мигренью сгинут и фанатизм и злоба:

Дверь я затворила,
Дверь велю открыть...

Вернисаж

ПРИГОВОР — Приговор был вынесен в семь часов вечера, когда сумерки сменились тьмою, окутавшей залив. Выставка была полностью готова к открытию, все недоделки устранены.

Дон Максимилиан везде поспевал, во все вникал, ничего не оставлял без внимания. Когда же все было кончено, он проводил до дверей четверых своих добровольных помощников — Гилберта, Льва, Силвио и Жамимона, — поблагодарил их всех, найдя для каждого нужные слова. О принятом решении он даже не обмолвился, но они что-то заподозрили, ибо само умолчание настораживало и было достаточно красноречиво.

Потом он собрал своих сотрудников и служителей Музея, дал им последние указания — как всегда, тоном решительным и властным. Никого, ни одной живой души, кто бы ни был, какой бы пост ни занимал, в залы не впускать, пока он, дон Максимилиан, лично не разрешит. Самые почетные гости: кардинал, командующий округом, начальники военно-морской и военно-воздушной баз, дон Режина Симоэнс, префект, викарный епископ, доктор Норберто Одербрехт, банкиры Анжело Калмон де Са и Лафайет Понде, дон Тимотео и живописец Карибе — будут ждать в кабинете директора, прочие гости и представители прессы — в залах, где размещена основная экспозиция. Он, дон Максимилиан, уйдет в свои покои, и посылать за ним следует не раньше, чем придет сообщение о том, что министр просвещения направляется из аэропорта в монастырь Святой Терезы. До этого он убедительно просит его не беспокоить, а о репортерах чтоб и речи не было. Слушавшие эти наставления сотрудники и служители Музея готовы были исполнить любое желание своего директора и, сплотясь вокруг него тесной любящей кучкой, горестно недоумевали: обычно в преддверии подобных событий дон Максимилиан хохотал, сыпал шутками и прибаутками, используя любую возможность, чтобы подбодрить и успокоить своих соратников, а сейчас был печален и угнетен.

Прежде чем уйти, он подошел к телефону, выслушал приговор. Брови его хмурились, рука слегка дрожала, голова поникла — приговор был окончательный и обжалованию не подлежал.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО: СТАТУЯ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ ПОТЕРЯНА БЕЗВОЗВРАТНО — Кардинал-архиепископ Баиянский

позвонил дону Максимилиану с тем, чтобы сообщить ему, чем же завершились розыскные мероприятия федеральной полиции, каков итог их бурной деятельности. Предпосылки были верны, версии безошибочны, клубок размотан, тайна исчезновения Святой Варвары разгадана, сыщики сделали однозначный вывод. Побив все рекорды, светила сыскной науки за каких-то двое суток не только прояснили это темное дело, но и решили проблему, представляющуюся неразрешимой: все стало ясно как божий день, как детский праздник. А коллеги их из управления безопасности еще топтались на месте, еще раскачивались да примеривались, отложив дело до греческих календ.

Полковник Раул Антонио, начальник федеральной полиции, не послал кого-нибудь из подчиненных к кардиналу, а явился лично, что свидетельствует о хорошем воспитании, сохранившемся даже в условиях военной диктатуры. Полковник был в Баии первым лицом после командующего войсками округа. В течение целого часа он истязал кардинала обстоятельнейшим докладом со множеством технических подробностей: взмывал к высотам теории, выдвигал обвинения, сыпал именами. Была, однако, в его речах и конструктивная самокритика: да, работа проделана колоссальная, и проделана блистательно, и результаты налицо, и все-таки время упущено, опоздали. Да-да, опоздали в аэропорт, перехватить статую не удалось.

Кардинал не счел нужным передавать дону Максимилиану всю беседу дословно, со всеми именами и явками — так, не было произнесено имя падре Галвана, не упомянуто аббатство Сан-Бенто. А между тем Абелардо Галван, вовлеченный в памятные события в Пиасаве и, по мнению прессы, вдохновивший, если не возглавивший крестьян, которые вторглись в имение «Санта Элиодора», был в истории с похищением фигурой ключевой: этим-то ключиком и открыли таинственную дверцу. Внимание полковника привлекло уже то, что Галван отправился в столицу штата через Санто-Амаро — крюк порядочный! — с явным намерением оказаться на одном баркасе со статуей. Выяснить это удалось очень быстро, хоть дон Максимилиан, когда с него снимали показания, попытался утаить это многозначительное обстоятельство. Любопытно, почему?

Падре Галвана взяли под наблюдение, и след привел в аббатство Сан-Бенто, где шайка припрятала добычу. Все сошлось в лучшем виде: где же найти убежище крамольному падре, как не в этом монастыре — рассаднике марксизма, очаге злобной агитации против нашего благословенного режима?! Полковник Раул Антонио учтиво, но твердо пресек попытки кардинала защитить обитель: «Простите, ваше высокопреосвященство, но

мы располагаем доказательствами». Тут он даже слегка возвысил голос, чтобы избежать зряшного спора: «Мы знаем о Сан-Бенто и о его настоятеле все. Аббат — далеко не пешка в играх такого рода!»

Было также установлено, что неизвестная женщина посетила Сан-Бенто и провела в его стенах более получаса. Ее настороженное поведение и явное желание остаться незамеченной вкупе с непривычным обликом — замшевые туфли, пепельно-серый *tailleur*^[85], перчатки и шляпа — привлекли внимание агентов. Приехала она в Сан-Бенто на такси, покинула его на монастырской машине: номера автомобилей и время были зафиксированы. Своевременно извещенный полковник Раул Антонио пустил в ход превосходно отлаженный механизм федеральной полиции, связался с коллегами из других штатов и из столицы. В результате чего всего через несколько часов он смог установить личность неизвестной. «Знаете, ваше высокопреосвященство, кем она оказалась?»

— Это сестра Мигела Арраэса, коммунистического лидера, в 64-м году возглавлявшего правительство штата Пернамбуко, — Виолета Арраэс, опаснейшая агитаторша!

— Виолета Арраэс?

— Вы с ней знакомы?

Кардинал неопределенно помычал, как бы давая понять, что у него, главы бразильской церкви, знакомых множество и всех не упомнишь. Полковник настаивать не стал, продолжил свой доклад. И так, после выяснения личности проследить маршрут Виолеты по Баии труда не составляло. Из монастыря она заехала за своими вещами туда, где остановилась — на квартиру Каэтано Велозо, которому, как видно, полученный урок пошел не впредь, так что придется повторить. А оттуда — в аэропорт...

— Когда мы приехали туда, самолет авиакомпании «Вариг» прямым сообщением Баия — Париж был уже в воздухе, увозя и «Пассионарию из Пернамбуко», и Святую Варвару Громоносицу.

Интересно бы узнать, откуда узнал полковник это прозвище? Из архивов СНИ? Подслушал на улицах Ресифе? Ясно одно: сестра Арраэса являлась в Пернамбуко с доном Элдером и прочими приспешниками мятежного брата, а в Баию приехала, чтобы забрать похищенную статую, вывезти ее за пределы страны, переправить в Европу, продать там, а на вырученные деньги субсидировать подрывные организации. Сомнения нет: это была тщательно разработанная и мастерски проведенная операция — мафия все предусмотрела и рассчитала по секундам.

— В Баии она находилась с фальшивым французским паспортом на

имя Виолет Жервезо.

Еще удалось установить, что в ее багаже был большой и тяжелый ящик, на который она попросила приклеить ярлычок «Осторожно, не бросать!» и который, по ее словам, содержал керамические изделия пернамбуканских кустарей Виталино и Северино.

Федеральная полиция подтвердила свою квалификацию, разгадав тайну исчезновения святой всего за сорок восемь часов, но щепетильный полковник поздравлений не принимал, поскольку его подчиненные нагрянули в аэропорт слишком поздно.

— Опоздали часов на двенадцать: самолет взлетел в половине второго ночи, а мы были у стойки «Варига» около полудня, — сказал он, бия себя в грудь. — Так что Святая Варвара теперь в Париже, нам до нее не добраться. Пиши пропало.

Но борьба с мафией далеко не кончена: похитители старинных статуй, орудующие в церквях, будут установлены и арестованы. Первая битва проиграна, но кампания завершится победой.

— А выведет нас на главарей шайки этот самый падре Галван. Мы оставим его на свободе и глаз с него не спустим. Нас ждет еще много сюрпризов, ваше преосвященство. — И, завершая беседу, блеснул эрудицией, привел перевернутую цитатку из Шекспира: — «Прогнило что-то в королевстве шведском».

Кардинал не стал его поправлять: какая разница — «шведском» или «датском»? — полковник Раул Антонио явно имеет в виду идеологическую сумятицу, разброд и шатания в рядах церкви. Когда страной правит военная диктатура, когда звучат угрозы и оскорбления, может ли кардинал, даже если он — примас Бразилии, ждать, что к нему отнесутся с уважением?

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ — По телефону он сообщил дону Максимилиану самое главное: статуя переправлена за границу, все пропало, надежды нет никакой.

Потом кардинал принялся пересказывать хорошо знакомую директору теорию полковника Раула Антонио, выдержанную в духе авантюрных романов: сокровища, украденные из монастырей и ризниц, служат тем, кто захватывает помещичьи земли в деревне и устраивает «герилью» в городе. Вряд ли начальник федеральной полиции утверждал бы такое, не будь у него проверенных данных, полученных в ходе следствия. Итак, Святая Варвара Громоносица увезена из страны Виолетой Арраэс.

Кардинал был с нею давно и хорошо знаком: полковник ошибся — ее на самом деле звали Виолета Арраэс Жервезо, поскольку она была женой

французского финансиста Пьера Жервезо, человека отважного и великодушного. И именно потому, что кардинал был с нею давно и хорошо знаком, он и поверил полковнику, ибо Виолета способна еще и не на такое.

В самом конце разговора он спросил дону Максимилиана, не лучше ли будет ему не появляться на вернисаже, послав предварительно ректору прошение об отставке? Директор словно только того и ждал:

— Я публично объявлю о своем уходе, — с жаром проговорил он, — как только выставка будет открыта. Я изопью свою чашу до последней капли.

Ну, что можно возразить на такое патетическое заявление? Кардинал, слегка растерявшись, сказал только: «Ну, в таком случае до скорого свидания» — и дал отбой. Легко себе представить всю меру отчаяния, охватившего дону Максимилиана, глоток за глотком пьющего горечь и скорбь. Дон Максимилиан терпеть не мог риторики, и если уж речь зашла о чаше, можно вообразить, до чего его довели. Кардинал от всей души сожалел об участи этого высокоученого, работающего, талантливого бенедиктинца и решительно не представлял себе, кем его заменить. Бедный, бедный дон Максимилиан! Ему предстоит мучительнейшая ночь.

Но все на свете кончается, кончится и эта ночь, а утром директор Музея сядет в самолет, полетит в Рио, где ему уже ничего не будет страшно. А вот кардиналу-примасу еще предстоит разбираться с викарием Санто-Амаро: тут уж не жди ни риторики, ни высокопарных фраз — водопадом обрушится самая низкопробная брань... В эту самую минуту — как нарочно! — вбежал секретарь и доложил его высокопреосвященству, что падре Тео во главе жителей Санто-Амаро только что высадился в Баии, на причале Рампы-до-Меркадо. Кардинал почувствовал, как по спине у него побежали мурашки.

CONSUMMATUM EST^[86] — Крестная мука дону Максимилиана началась в восемь вечера — минутой раньше, минутой позже, — когда он узнал, что изваяние Святой Варвары Громоносицы контрабандой вывезено во Францию. Полиция расписалась в своей полнейшей бездарности, в неповоротливости, косности, замшелом бюрократизме. Тернистый путь привел монаха к узенькой дверце — выходу в изгнание. Ехать в Рио? Вернуться в Европу? Начинать все сначала? Где? Это он потом решит, в этот час свершения он не в силах думать о завтра, ибо слишком тяжело бремя дня вчерашнего, всех этих радостных лет, прожитых в Баии. Consummatum est!

Через час он встретит министра просвещения и культуры, кардинала,

губернатора, ректора и еще триста знаменитостей — цвет интеллектуальной Баии — и объявит Выставку Религиозного Искусства, организованную Музеем и лично им самим, доном Максимилианом фон Груденом, открытой. Вот она — готова и развернута во всем своем блеске. Эта минута должна была стать минутой его торжества, высшим его взлетом, она принесла бы ему огромную славу и в Бразилии, и за границей, эта минута увенчала бы лаврами труды и усилия всей его жизни. Но все будет наоборот. Перед нацеленными на него телекамерами он вынет из кармана свой приговор, прочтет прошение об отставке с поста директора, огласит текст отречения. *Consummatum est!*

Займет это лишь полминуты: долго ли прочесть несколько строчек? А потом он передаст бразды правления и приглашенных художнице-реставратору Лиане Гомес Силвейре — она постоянно замещала директора на время его непродолжительных отлучек, она заменит его теперь навсегда. Не удостоив журналистов взглядом, он удалится в свои сумрачные покои, покинет Музей, распрощается с наслаждением вынашивать и осуществлять замыслы, распорядиться и руководить, расстанется с радостной повседневной суетой забот и хлопот. Он унижен, изгнан и отринут, грудь его подставлена всем насмешкам и оскорблениям. *Consummatum est!*

Так, из рабочего кабинета дона Максимилиана начался его путь на Голгофу. Днем он уже разобрал и освободил от бумаг ящички письменного стола, собрал чемодан и теперь сидел перед телефоном наедине со своей печалью, и жгла его эта печаль больше, чем бичи центурионов. Он поднялся, прошел через все крыло монастырского здания к маленькой лестнице, которая вела в запасники и в его личные апартаменты. Но чтобы попасть домой, надо было пройти все залы, где была развернута выставка. Он шагал медленно, с любовью вглядываясь в экспонаты, стараясь, чтобы это ослепительное богатство навеки запечатлелось на сетчатке его глаз и в сердце. При выходе из каждого зала он выключал свет, погружал выставку во мрак и уносил ее с собою. *Consummatum est!*

В квартире своей он ни к чему не притрагивался — сил не было, да и времени тоже. Он отдаст ключи Эмануэлу Араужо, испытанному другу, а тот соберет все его пожитки, перешлет их в Рио. Дон Максимилиан включил лампу в изголовье кровати, подошел к окну: если уж плакать, так сейчас, а не при отъезде, он должен выйти отсюда с гордо поднятой головой и сухими глазами. В пролетарском квартале уже наступила ночь, растворила во тьме все неудачи и тревоги минувшего дня, потопила их в обрывках музыки, зевках, жалобах. С пластинки пел Роберто Карлос, кто-то наигрывал на гитаре, транзистор передавал спортивную программу, и

трое, собравшись вокруг, спорили; толстая женщина размахивала руками; под кустом цветущего жасмина не теряли времени даром кассирша из супермаркета и паренек, доставлявший на своем мотоцикле покупки на дом... Ничего величественного, ничего значительного, но как же ему будет не хватать всего этого! Да по чему только не будет он тосковать теперь? Consummatum est!

Он устремил взгляд на ветхие крыши домов, на спящие улицы Нижнего Города, на залив, где подмигивали звезды, габаритные огни шхун и баркасов, фонарики волнореза. Посмотрел на черную громаду форта Святого Марцелла, похожую на панцирь исполинской черепахи. Слезы навернулись на глаза, сердце сжалось, дон Максимилиан дал себе волю, как самый обыкновенный человек, но никто не услышал, задавленного рыдания, не увидел скатившейся по щеке слезы. Он распят, consummatum est!

Возник какой-то шум — сначала в отдалении, потом все ближе и ближе, все сильней и сильней: это был слитный топот многих сотен ног. Дон Максимилиан всмотрелся и понял, что вверх по Ладейре-да-Прегиса движется, распевая гимны, целая толпа: это паломники из Санто-Амаро явились за своей святой. Когда они поравнялись с монастырем, он узнал и викария, падре Теофило Лопеса де Сантану, державшего в руках плакат: «Дон Мимозо — вор!» Дон Мимозо? Это ведь его они так прозвали, больше некому быть... Какая низость! Господи, неужели еще и это ты мне уготовил? Consummatum est!

Манифестанты запрудили всю улицу Содре, став лагерем как раз напротив Музея. При свете уличных фонарей дон Максимилиан читал надписи на их плакатах и транспарантах: «СВЯТАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ! ВЕРНИТЕ НАШУ СВЯТУЮ! ВАРВАРУ ГРОМОНОСИЦУ УКРАЛИ! ДОНА МИМОЗО — ЗА РЕШЕТКУ!» Монах опустил голову, почувствовал, как пробили гвозди его ладони и ступни. Он выставлен на всеобщее посмеяние, он наг и бос. Слеза повисла на подбородке, капнула на грудь. Consummatum est!

В двери осторожно постучали, и появился Нелито, веселый «бой», чернокожий херувим, грациозный и соразмерный, словно статуэтка. Звонили из аэропорта: господин министр вместе с губернатором и ректором, встречавшими его, направляется в Музей. Кабинет и залы переполнены гостями, кардинал уже теряет терпение. Это он его послал к дону Максимилиану.

— Спасибо, Нелито. Подожди минутку.

Он вытер слезы и только после этого включил свет в ванной: вымыл

лицо, причесался, оправил сутану, чтобы складки ее лежали красиво. Взглянул на себя в зеркало: печальный лик, романтический профиль, смертельная бледность, изящная фигура, — весь как из слоновой кости выточен. Личина мужественной мизантропии скрывает язвы поражения, рубцы разочарования, следы недавней слабости. Он был уничтожен, но исполнен достоинства. *Consummatum est!*

— Пойдем, Нелито, тебе одному скажу то, что еще никому не ведомо. Завтра меня уже здесь не будет, завтра я уеду.

— Как уедете, дон Максимилиан? Быть того не может! А Музей? Что с Музеем-то будет? Вы, наверно, шутите... Я вам не верю.

ЕСТЬ БОГ НА НЕБЕ! — Нелито шел впереди, включая в залах выставки свет, а за негритенком, словно приговоренный к смерти, шагал дон Максимилиан фон Груден, и незримое присутствие палачей придавало особую, чеканную четкость его поступи. Хотя никто, кроме Нелито, не мог его видеть, директор ни на минуту не забывал о том, чтобы на лице застыло достаточно елейное выражение, чтобы сутана ниспадала красивыми складками, чтобы весь вид его свидетельствовал о твердости духа. Так двигалась по залам эта траурная процессия.

Негритенок скакал и прыгал, и дону Максимилиану пришлось сделать ему замечание:

— Что такое, Нелито?! Нельзя ли потише?

— Да ведь сегодня — ночь полнолуния, праздничная ночь — выставка открывается! Вот я и радуюсь.

Он никогда больше не увидит этого черного ангелочка из своей свиты, никогда больше не будет прыгать перед ним эта ожившая гравюра Дебре. Сегодня, Нелито, не наш праздник, сегодня торжествует викарный епископ, ректор и все те, кто терпеть меня не могут и давно мечтают убрать меня с поста директора, — имя им легион. Я буду далеко, я не смогу подобрать себе достойного преемника, хорошо еще, если назначат Лиану.

— Послушай, Нелито. Я буду ждать у дверей, а ты стань внизу, у лестницы, и никого не пускай, пока министр не придет. Никого — даже кардинала. Понял?

Нелито два раза повторять было не надо. Из дальних залов доносилось жужжание голосов, долетали обрывки диалогов, женский смех — гости старались занять места поближе к входным дверям, а самые почетные ждали в директорском кабинете. Стенные часы — тоже музейной ценности вещь! — показывали девять. Министр военного правительства, хоть и штатский, но тоже обладает даром останавливать движение стрелок,

замедлять качание маятника, чтобы ровно в девять объявить Выставку Религиозного Искусства открытой.

Дон Максимилиан фон Груден завершил путь на Голгофу — вступил в первый зал экспозиции. Но это был уже не человек, а жалкие его остатки, живой труп, обитатель могилы. Он собрал последние силы, расправил плечи, но сердце, разрывавшееся от отчаяния, не подчинилось воле. Глаза резало — до того они были сухи.

И вот тогда он глянул, увидел — и не поверил тому, что увидел. Вгляделся, протер глаза: на том самом месте, о котором говорил он Мирабо Сампайо, что собирается поставить туда изваяние Святой Варвары Громоносицы, она и стояла — без постамента, без носилок, стояла как живая, как существо из плоти и крови, как вы и я. Дон Максимилиан, по-прежнему не веря своим глазам, вмиг наполнившись слезами счастья, ущипнул себя. Нет, он не грезил, не бредил. И даже не удивился, когда Святая Варвара Громоносица улыбнулась ему и подмигнула, возвращая его из ссылки и изгнания в единственный на всей земле город, в Баию. То, что статуя улыбалась, показалось ему совершенно естественным.

Дон Максимилиан встал на колени, вознес хвалу господу, а потом простерся у ног святой, поцеловал край ее одеяния, и похож он в эту минуту был на сына грозной Ойа Иансан, выполняющего на радении обряд, клянущегося в верности и покорности.

А когда наконец распахнулись двери и, окруженный телекамерами и радиомикрофонами, появился министр просвещения и культуры, дон Максимилиан фон Груден, директор Музея, ждал его как ни в чем не бывало рядом со статуей, о которой доподлинно было известно, что ее украли и вывезли в Европу. Он стоял рядом со святой и улыбался не без высокомерия, и легкая надменность звучала в его голосе:

— В присутствии господина министра, господина губернатора штата, его высокопреосвященства кардинала-примаса, от имени ректора федерального университета Баии, — он помедлил и произнес громче, — с благословения Святой Варвары Громоносицы объявляю Выставку Религиозного Искусства открытой!

Микрофоны записали его слова, телекамеры через спутник показали миллионам бразильцев от Ойапоке до Шуйи монаха в безупречной белой сутане, монаха, не знающего себе равных в искусствоведении и музеологии, монаха ученого и прекрасного, а он стоял рядом со знаменитым образом, защищая его и под его защитой. Потом он расписывался на экземплярах своей книги, которую сочинил про нее, про Святую Громоносную Варвару. Он определил ее происхождение, он назвал

и дату ее появления на свет, и имя того божественного полукровка, чьи изъеденные проказой пальцы сотворили ее.

Слава тебе, господи всемогущий! В девять часов двенадцать минут страстной пятницы началась на этот раз пасхальная суббота.

Пора расставания

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ — Это нечто новое в деле сочинения романов: на нижеследующих страницах я собираюсь ответить на вопросы тех, кто, отбывая тягостную повинность, следил за всеми перипетиями и хитросплетениями сюжета, за всеми горестями персонажей да и автора, который теперь еще ко всему жестоко страдает от люмбаго. Правда, мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы подобные газетные штучки расцветали на почве творческого воображения и чистого вымысла. Но не забудьте: речь идет не просто о романе, а о романе баиянском, а стало быть, открытом всем новым литературным веяниям и освежающему идеологическому сквозняку, устроенному «перестройкой». Времена номенклатуры и бюрократизма уходят в прошлое, ка-ра-шо!

Впрочем, неспособность вашего покорного слуги обновляться хорошо всем известна. Не умею я обогащать повествование неожиданными кунштштюками, не желаю отказываться от испытанной формы «романа с продолжением», не в силах провести фрейдистский психоанализ героев — жалких существ, обреченных на жизнь всемогуществом судьбы; представить любовь аберрацией и девиацией. Не поднимается у меня рука сделать мой роман современным и — непригодным для чтения. Автор очень страдает от этой своей неспособности, она у него уже в печенках сидит, днем омрачая его тихую старость, а ночью мучая бессонницей. «Переписка с читателем» вовсе его доконает.

Но я всем сердцем откликаюсь на требования моих любознательных читателей, которые были сочувственными свидетелями того, с каким упорством полупочтенный автор этих строк выполнял взятое им на себя обязательство повествовать забавляя и забавляясь, раздвинуть рамки теории и изменить мир к лучшему. Беспримерная дерзость со стороны сочинителя, богатого лишь числом прожитых лет и проигранных битв, но до сих пор не сумевшего сделать так, чтобы литературные критики захлебывались от восторга, читая его скудоумные творения, рассчитанные на самый неприятиезательный вкус.

Короче говоря, лицам, не склонным к обновлению и духовному обогащению, читать нижеследующее не обязательно, благо, повествование мое оборвалось в конце предыдущей главы. «Переписка с читателем» служит для того лишь, чтобы подбить, как говорится, бабки и рассказать,

каковы были последствия описанных мною событий.

РЕЗОНАНС — Он был громовой и восторженный, на всю Бразилию. Эхо Выставки и выхода книги дона Максимилиана о Святой Варваре, книги, ставшей классикой, отозвалось и в Португалии.

Дон Максимилиан еще не пришел в себя: он поживает на лаврах и распускает хвост как павлин. Я хотел было написать: «Надувается как индюк», но вовремя остановился. Он бродит вокруг монастыря: то потолкует с резчиком Роке, то перебросится словцом со скульптором Зу Кампосом, и белая его сутана мелькает в зелени деревьев, окружающих монастырь Святой Терезы. Вокруг него прыгает шаловливый херувим Нелито с треском под мышкой, и зря он таскает его за директором — тот ничего больше не читает, а только гуляет между клумбами маргариток и дягилей, пастырь каменных и деревянных ангелов и святых. Тут мы его и оставим, пусть наслаждается жизнью.

Наша печать уж и не знала, как еще расхвалить выставку и книгу — печатала гигантские заголовки, давала целые подвалы и даже полосы, десятки фотографий, не жалела самых пышных эпитетов. Что же касается происшествия, от которого вся Баия на протяжении сорока восьми часов ходуном ходила — исчезновения святой, — то общее мнение таково: это был гениальный рекламный ход, тонко рассчитанный и блистательно осуществленный самим же доном Максимилианом, желавшим привлечь к своей монографии всеобщее внимание. Разумеется, сделано это было с помощью журналиста Гидо Герры — два сапога пара, больших мистификаторов свет не видывал.

Сам Гидо ничего не опровергает, а только ухмыляется, щуря свои бесстыжие попугайские глазки. Хотя теперь на попугая какаду стал похож Жозе Берберт де Кастро, вот уж кто трещит без умолку, торжествуя победу. Он смог вернуться в редакцию родной «Тарде», и главный редактор Жорже Калмон погладил его по головке: молодец, Жозе, в очередной раз наша газета не стала гнаться за сенсациями и дала правдивую, точную информацию. Репортер своими глазами видел прибытие Святой Варвары в Баию, о чем и уведомил подписчиков.

Ну, ладно, оставим в стороне это вечное соперничество наших газет и обратимся к статьям, подписанным славнейшими именами. Вот, например, Антонио Селестино, которого так безосновательно подозревал дон Максимилиан, трубит славу Выставке: «Перед посетителями разворачивается величественная панорама религиозного искусства, безмерные богатства которого собраны и сохранены у нас, в Баии». А чуть

ниже с чисто португальской высокопарностью умиляется книге дона Максимилиана: «Из-под золотого пера не знающего себе равных мэтра вышел подлинный шедевр, который раскрывает все тайны, окутывающие образ Святой Варвары Громоносицы, и приводит неотразимые аргументы относительно ее авторства. Баия может торжествовать: мы обладаем одним из самых совершенных творений гениального Алейжадиньо».

В рубрике «Роза ветров», где обозреватель Одорико Таварес ежедневно помещал несколько дюймов своей блистательной прозы, он тоже расхваливал Выставку и монографию, однако советовал быть более благоразумным в вопросе атрибуции.

Член Международной ассоциации художественных критиков Кларивал до Прадо Вальядарес в длинной, восторженной статье с цитатами на всех языках тоже превозносил дона Максимилиана до небес.

И, наконец, венцом всему этому стали интервью и репортаж «специального корреспондента португальских газет» Фернандо Ассиза Пашеко. Вы помните, именно так представил его собравшимся на пресс-конференцию дон Максимилиан в среду, незадолго до того, как пошла вся свистопляска. Давая интервью и выдвигая дерзкие идеи, Пашеко с присущим ему обаянием набросал беглый портрет директора Музея: «Он говорит, что ему пятьдесят пять лет, пятнадцать из которых он прожил в Баии, но его красноречия и лукавства хватит еще на столько же; он превосходно разбирается не только в изображениях святых, но и во всех сферах искусства и литературы: я сам мог судить, к примеру, сколь солидны его знания памятников галисийско-португальской лирики». И продолжал: «Многолетняя любовь к Святой Варваре произвела на свет эту интереснейшую, блестящую книгу, вызывающую безоговорочное восхищение». Дон Максимилиан таял от удовольствия, читая это.

А в репортаже португалец весело и со множеством подробностей повествовал об исчезновении святой, о той панике, в которой двое суток находилось население Баии, красочно живописал смятение жителей города, лишившихся своего национального достояния. Нашлось в репортаже место и обеду на рынке, и круговой самбе, и «французскому карнавалу», и пиршеству в заведении Жасиры де Одо-Ойа.

Далее Пашеко глумился над версиями, выработанными службой безопасности и управлением полиции, поскольку дальнейшее развитие событий показало, что обе эти почтенные организации попали пальцем в небо. Издевался над полковником — людоедом в обличье интеллектуала, утверждавшим, что статуя переправлена в Европу, и над безмозглым доктором Пассосом, обвинившим в похищении самого викария Санто-

Амаро. Надо надеяться, оба идиота уже сняты с должности.

Тут наш коимбрский бард сильно ошибался: все остались на своих местах. Полковник Раул Антонио продолжал разоблачать гнусные замыслы коммунистов, рядящихся в сутаны и камуфлированные комбинезоны, и утверждать, что статую Святой Варвары не вывезли из страны лишь благодаря бдительности федеральной полиции: Виолета Арраэс, очевидно, почувствовала за собой слежку, испугалась и оставила изваяние в обители Сан-Бенто. Доктор Калишто Пассос, получив рапорты комиссара Паррейриньи и сильно простуженного Риполето, снова стал метать гром и молнии в алтари — я имею в виду алтарь церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан. Там, во храмах, замышляются священнослужителями хищения имущества, принадлежащего церкви и общинам. Викарий Санто-Амаро увидел, что находится на грани разоблачения, и разыграл фарс с манифестациями протеста.

ИСТИНА ПОЭЗИИ — Публикуя на страницах моего, при последнем издыхании находящегося романа первый вариант стихотворения Фернандо Ассиза Пашеко, породившего столь ожесточенную полемику среди здешней и тамошней литературной швали, я надеюсь, что публикация эта придаст моему незатейливому повествованию недостающий ему блеск.

Прежде чем привести текст стихотворения, считаю нужным отметить разночтения между ним и лиссабонской публикацией, осуществленной несколькими годами позже. Стихотворение, вдохновленное пиршеством в харчевне Жасиры де Одо-Ойа и перенесенное на бумагу в пятницу вечером, после вернисажа, было издано уже через неделю под маркой издательства «Макунаима» в количестве стольких-то нумерованных экземпляров, украшенных ксилографюрами Калазанса Нето, и стало утехой коллекционеров-библиофилов. Совсем недавно в Португалии вышло второе издание, в котором эти дивные стихи даны в подборке с другими, не менее замечательными. Ответственность несет «Иэна Эдитора».

Разночтения бросаются в глаза: структура стихотворения остается неизменной, но португальский вариант явно пытается скрыть имя вдохновлявшей поэта музы. Остается только гадать, почему пошел на это наш славный Пашеко, что подвигло его на это — переменчивый поэтический нрав, лузитанский патриотизм или, быть может, боязнь навлечь на себя гнев доны Розариньо, на которую природа тоже не поскупилась? Если уж объяснить это не смогли нам два просвещеннейших критика — Жозе Карлос Васконселос и Антонио Алсада Батиста, — сочинившие пространные статьи, то нам ли брать на себя смелость искать

отгадку? Это было бы непростительной самонадеянностью с нашей стороны. Итак, ограничимся лишь тем, что отметим расхождения.

Пойдем по тексту. Всюду, где в первом издании — Адалжиза, во втором — Маруша. Вместо «Баия» — Бургос, «иаво», слово, написанное на языке йоруба и означающее прекрасную дьяволицу, заменено просто «куколкой». Величественный зад увиден в ресторанчике, а не на рынке. Казалось бы, пустяки, но этого достаточно, чтобы изгнать беззащитную Адалжизу из истории литературы, чтобы наша Баия в очередной раз сделалась жертвой излишней щепетильности некоторых виршеплетов.

Теперь, когда нужные предуведомления сделаны, я приглашаю вас, нежные дамы и мужественные господа, прочесть стихотворение, на которое вдохновила Фернандо Ассиза Пашеко наша Адалжиза, Иансан Вьючное Седло, на каруру в харчевне Жасиры де Одо-Ойа. Если быть точным, не сама Адалжиза, а ее победоносный зад.

Итак, вот канонический текст стихотворения:

Я Адалжизин зад видал не на картинке —
Могучий, вечно вольный, как бизон,—
Я угадал его, мне не приснился он:
Мне август даровал его на рынке.

Задов немало памятью хранимы,
Не стать с твоим им вровень, несравнимы
С волшебным крупом жрицы-иаво.
Мне с той поры не позабыть его.

Мы все покорены, и пленены им все мы,
Пусть в честь его звучат сонеты и поэмы.
Исполнен блеска он, исполнен силы ярой,
В квашне Баии он взошел опарой.

Здесь был замешан — в чем? —
здесь был он испечен,
Он вьется, как штандарт,
И сна лишает он.

Фернандо Ассиз Пашеко

Баия. Август. Вечер

ДЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ — Всех очень интересует судьба Манелы, вопросы так и сыплются. Еще бы: всякий желает знать, куда держит курс волшебный челн, снявшийся с якоря на кандомбле Гантоис.

В глубинах подводного царства Айюка плывет он по неверным волнам памяти, смывающим да все никак не смоющим позорное пятно с тела нашей отчизны. Возникают звуки, движения, чувства, появляется песок пустыни, лесной перегной, волшба, и колдовство, и чары. Челн доверху полон всем тем, что составляет нацию, — ритмами мелодий, отзвуками и приметам, следами и цветами, самоцветами и щебнем, хорошим и дурным, и жрицы-иаво складывают все это в святилище у алтаря.

Голову, подмышки и лобок выбрила Манеле священная бритва «матери святой», открыв настежь вход, распахнув выход. Семь кантиг каждому ориша выучила Манела, научилась распознавать смысл и значение в рокоте барабанов-атабаке. Шестнадцать дней длилось ее плаванье в челне Огуна, а на семнадцатый матушка Менининья назначила ее посвящение.

В этот высокаторжественный и радостный день в переполненном бараке на кандомбле взвилась в воздух, сверкнув всеми своими рубинами и самоцветными, винно-красного цвета камнями, богиня Иансан, в первый и последний раз выкрикнув имя новорожденной — Ойа-де-Манелы. Величественная Ошала-де-Жилдета и могущественная Иансан-де-Адалжиза сопровождали ее на пути постижения тайны и истины.

Слыхали имя? Сейчас же забудьте, забудьте и никогда не повторяйте, не поминайте всуе, только «мать» и «дочь» святого знают в точности, как звучит оно. Имя Иансан-Манелы было хрипло выкрикнуто, услышано и забыто на пышном и многолюдном, гордом празднестве, на украшенном бумажными флажками террейро, где собралась чертова уйма гостей.

Обитатели авениды Аве Мария явились, повторяя выражение Батисты «au grand complet». Подавалось изысканнейшее и обильнейшее угощение — истинные шедевры афробаианской кухни: три козочки, две дюжины кур принесены были в жертву.

На следующий день, в воскресенье, действие было продолжено: начался аукцион негров-невольников. Манелу — на запястьях ее и лодыжках звенели браслеты, на шее висело ожерелье ее «святой» — купил Данило, названный отец. А перед тем как выложить за нее нужную сумму и, стало быть, во второй раз взять на себя ответственность за ее жизнь и счастье, он оплатил весь этот праздник, оплатил не скупясь и не торгуясь.

Да откуда ж у клерка из нотариальной конторы такие деньги? Может, он в спортивную лотерею выиграл, верно назвав все тринадцать номеров? Нет. Данило, надо вам сказать, в игре не везло: больше десяти он ни разу не угадывал, нет, вру, однажды назвал одиннадцать. Так что не в лотерею дело, а просто были у него друзья — многочисленные и надежные, а с друзьями, как водится, не пропадешь.

В этот день, в праздник «провозглашения имени», Миро, улыбаясь во весь рот, заехал за обеими тетушками, за Жилдетой и Адалжизой, посадил их, взволнованных, в свой автомобиль и привез на террейро. Представить нельзя было, что совсем недавно они друг друга на дух не переносили — сейчас они льнули одна к другой, точно сестры-близнецы, и притом однойцевые. Укрощенная, веселая, навек забывшая свои мигрени и духовного отца, Адалжиза совершенно переродилась: сохранив достоинство, потеряла спесь. Не перестав быть ревностной католичкой, сделалась верным конем Иансан — Адалжизой Вьючное Седло.

Ну, а тем, кто хочет поподробнее разузнать обо всех таинствах кандомбле и макумбы, радения и волшбы, оганов и ориша, могу только посоветовать наскрести денжат да и отправиться в нашу сновиденную Баию. А как приедете, ступайте прямиком на террейро, в «дом святого» — на Энженьо-Вельо, Аше Ийа Нассо, или Гантоис, Аше Ийа Массе, или в Сентро-Круз-Санта, Аше де Опо Афонжа, или в братство Святого Иеронима, Иле Моройалаже, или в Пилан-де-Прага — короче говоря, выберите одно из двух тысяч террейро, где отправляют свой культ африканские племена и народности — наго, жеже, ижеша, конго, ангола, — и на любом встретят вас радушно и гостеприимно, ибо всякому, кто пришел с миром, говорят там «добро пожаловать».

Если кто просто молвит «добрый вечер!», тот увидит — издали, правда, и мельком — красоту и волю. Если кто подойдет под благословение «матери святого», тому откроются иные дали, тот и с ориша сможет повеселиться. В этих убогих храмах, которые еще совсем недавно были под запретом, хранятся истории о неграх-рабах, песни и танцы, сберегается осужденная, приговоренная память народа. А хранительницы культа — много их, и все величественны, прекрасны и мудры, — они-то и есть истинные владыки Баии, королевы ее и принцессы, истинные матери народа — иаво.

Каждый, кто придет на террейро, будь он богатый или бедный, юный или старый, ученый или вовсе безграмотный, каждый, кто придет с миром, сможет принять участие в кандомбле, в этом празднестве, где боги и люди веселятся как равные, где в мелодиях песен, в ритме танцев царит дух

всеобщего, вселенского братства.

Манела облачилась в грозовую мантию Святой Варвары, подняла скипетр Ойа. Богиня дала ей имя, которое, если кто и слышал, тотчас забыл.

СВЯТОША — С глубоким прискорбием извещаем всех наших феодалов-полковников, всех владельцев бескрайних и немеряных земель, всех повелителей суда и избирательных кампаний, легионов слуг и политиков типа «чего изволите?», хозяев наемных убийц... Да, господа, с глубоким прискорбием извещаем вас о том, что Зе Ландыш, уроженец и житель Пернамбуко, славнейший из «пистолейро», известный во всех сопредельных штатах, стреляющий без промаха, можно считать, умер и похоронен. Бросил свое ремесло.

Шесть раз выстрелил он, шесть пуль пропало впустую: пять он хотел всадить в затылок мерзавцу падре, шестой покончить счеты с жизнью, умереть, как подобает храбрецу. Главный сертанский святой, падре Сисеро Роман Батиста, одним из апостолов которого был тот пентюх-деревенщина со своим осликом — помните? — послал ему это знамение, дал господне остережение. Зе Ландыш раскаялся сам, призвал к раскаянию и покаянию других. Стал просить богачей, чтобы по доброй воле отдали неимущим лучшие угодья, а бедняков посылать в паломничество. Уговаривал бросить работу, посвятить себя молитве.

И очень скоро сплотилась вокруг него порядочная орава фанатиков, загремели проклятия и благодарения, стали звать его уже не Зе Ландышем, а Святым Иосифом, просили благословить, требовали чудес, и требования их выполнялись, и чудеса совершались. А если спрашивали его, чем утолить голод, советовал он на первом попавшемся пастбище взять нескольких бычков, скромно, без излишеств, пообедать, а запить водой из колодца.

Военизированная полиция, по приказу армейского командования денно и нощно боровшаяся со смутой и крамолой, схватила его, отдубасила ножнами палашей, объявила опасным коммунистом — марксистом-ленинцем! — обвинила в том, что он вел агитацию среди крестьянских масс, и отдала под суд. Вместе с другими преступниками отправили его отбывать наказание на остров Фернандо де Норонья. Там он теперь живет-поживает, молится господу всемогущему, тешится в гамаке со своей индеанкой, не покинувшей его в трудную минуту, и ждет, когда же грянут трубы Страшного суда. Вот чем кончилась история испытанного профессионала и превосходного человека Зе Ландыша.

ПРИГЛАШЕНИЕ К НЕЗАКОННОМУ СОЖИТЕЛЬСТВУ — В сиянии полной и яркой луны, врезанной в небо над самым Итапуанским маяком, Патрисия сорвала поцелуй падре Абелардо. Поцелуй был в губы, и вкус у него был неземной. Неземной и преступный.

Падре как раз сказал ей, что решил еще на несколько дней задержаться в Баии, чтоб послушать лекции дона Педро Казалдалижи, легендарного клирика, епископа и поэта, — лекции об аграрной реформе. В узком кругу духовных и мирян, в Педра-де-Сал, поведает он о том, как исполняет свою миссию, как борется с нищетой, как пытается перераспределить землю. Дон Тимотео добыл приглашение и для викария Пиасавы. Патрисия, задрожав от этой новости, обхватила падре за шею и поцеловала его в самые уста, поцеловала по-настоящему, а не как раньше, когда губы их лишь на мгновение соприкасались.

Падре Абелардо, настоящий мужчина, истинный гаучо по рождению и призванию, несравненный любовник, вынужденный хранить чистоту по обету, принесенному у алтаря, затрепетал. Вот ведь какое неразрешимое, антидиалектическое противоречие обнаружилось: можно считать, что при рукоположении его оскостили, а отрезать надлежащее позабыли. Страшным усилием воли и одновременно против воли оторвавшись от Патрисии, он в полный голос, так, чтобы она услышала и сделала выводы, открыл ей ужасную истину, повторив те самые слова, которые не переставал твердить про себя в последние двое суток, ведя безнадежную борьбу с искушением:

— Патрисия, священник жениться не может!

Тень удивления скользнула по тонкому лицу Патрисии, лунное сияние окружило его — черные гладкие волосы индеанки, голубые глаза белой, пухлые негритянские губы.

— А зачем жениться?

Да, вот именно! Извольте ответить мне, уважаемый падре Абелардо со всеми своими обетами и целибатами: зачем жениться? Стоит нам только раскрыть глаза как следует, снять с души все оковы и колодки, как жизнь окажется легкой и простой. Ну же, падре, смахните с тонзуры паутину, призовите на помощь здравый смысл, взгляните в лицо действительности! А главное — не прикидывайтесь глухим, не валяйте дурака, не стройте из себя оскорбленную невинность, не пытайтесь перевести разговор на другую тему. Будьте мужчиной!

Вся эта проблема с обетом безбрачия, о котором вы, ваши преподобия, столько спорите, предлагая то внести радикальные изменения в церковный устав, то издать специальную энциклику его святейшества, осуждающую

замшелую догму, эта проблема, годная разве лишь, для многосерийного телефильма, давно уже решена, и не понадобилось для этого ни вселенский собор созывать, ни в теологию углубляться — выручила природная наша бразильская сметка. Знаешь ли ты, что Жозе де Аленкар, произведший на свет Ирасему^[87] — она мне приходится, кстати, двоюродной сестрой, — был сыном священника? Ах, не знал? Ну, так знай.

Я вовсе не прошу тебя жениться на мне, сбросить сутану, хоть ты ее и надеваешь-то раз в год, не прошу тебя отречься от сана. Знаю, что он не позволяет тебе жениться, знаю, что ты, женившись, утратишь право священнослужения — смысл своей жизни. Но, ей-богу, мысль о женитьбе мне и в голову не приходила. Я совсем о другом тебя прошу.

Ты — пастырь, ты — миссионер в краю нищеты, ты свершаешь свой апостольский подвиг, служа беднейшим из бедных, обездоленным и безземельным. Ты не хочешь преступать клятву, данную Христу: он — твой наставник, твоя священная хоругвь. Но если поднимешь ты ее еще выше, если покроешь ее славой, разве сойдешь ты со своей стези? Я никогда тебя об этом не просила, я — овечка в твоей пастве, черная овечка, горная козочка, что скачет по скалистым отрогам. Я борюсь плечом к плечу с тобой, мы с тобой в одном окопе: земля принадлежит тем, кто на ней трудится.

Ты сам все время повторяешь, что целибат — это средневековый предрассудок, политическая акция мракобесов-церковников, служащих богатым, что в наши дни все по-другому. Чуть раньше, чуть позже, но непременно и в самом скором времени собор отменит эту вздорную выдумку, и любовь будет не смертным грехом и вообще не грехом, а тем, что она и есть — божьей благодатью. Бразильские падре не стали дожидаться этого революционного собора, заводят богословские диспуты, ссылаются на труды отцов церкви — решили вопрос сами, на свой страх и риск, как и любит господь. И он закрывает глаза на их проделки, и улыбается, и не осуждает, а когда приходит им пора умирать, принимает их в лоно свое, и почти всегда покидают они этот свет в благоухании святости.

Я прошу только, чтобы ты меня любил, вот и все. Видишь, я перед тобой в лунном сиянии, в свете звезд, лицо мое влажно от водяной пыли, и пахнет от меня морской свежестью, и сердце готово выскочить из груди, и я устала ждать, о мой охлократ, и я прошу твоей руки, твоей любви, зову тебя в возлюбленные.

Ты, может, думаешь, кто-нибудь, кроме немногих фанатиков и полных идиотов, исполняет этот обет? Как бы не так: вспомни того кардинала Парижского, забыла, как его звали, который умер в объятиях веселой

девицы. Да, одни втихомолку ходят к потаскухам, а другие открыто и явно создают семьи, заводят детей от своих преданных и набожных кум-экономок, становятся отличными отцами. И не нужно им ни у алтаря стоять, ни в книге записываться, под кустом они венчаются, исполняя истинный господень завет. Вот и я хочу стать твоей кумой, экономкой викария Пиасавы, если даже и придется мне превратиться в безголового мула, как в той сказке про распутницу, спознавшуюся со священником.

Я хочу понести от тебя, хочу, чтобы в Пиасаве, где по приказу феодала-полковника пролилась кровь, родился у тебя сын. Да, кстати, ты знаешь, что и тебя хотят убить? Коаозиньо Коста нанял в Пернамбуко пистолейро. Это Ойа спасла тебя по моей молитве, это она перечеркнула приговор и написала слово «любовь». Я выкупила у нее твою голову, отдала за тебя черную козочку.

Любовь — это не грех, оскорбляющий господа, не святотатство и не преступление, любовь — чиста и прекрасна. Пойдем, мой красавец, выбрось эту чушь из головы. Ты останешься настоящим падре, но станешь еще лучше, и никто не сыщет в тебе изъяна, когда ты познаешь вкус моих поцелуев, застонешь в моих объятиях и услышишь мой стон, когда под твоими пальцами созреют яблоки моих груди, когда ты отведаешь дикого меда из моего кувшина, когда будешь лежать головой у меня на плече в сладком забытии. Идем же, мой Христос Младенец, мой Иисус Назарянин, умри на кресте моих рук!

А если не пойдешь, если откажешь мне, если притворишься слепым, и глухим, и бесчувственным, если ты так глуп и невежествен, что предпочитаешь онанизм, и грязные сны, и выпачканные простыни, если ты всего лишь бразильская разновидность фалангиста Хосе Антонио Эрнандеса, тогда я больше не желаю тебя знать, я ухожу прочь! Меня вот приглашают в Париж, на передачу «Антенн-2», посвященную Баии. Представь только, какое это будет безумное веселье. Хочешь, чтоб я уехала с французами? Там ведь есть один такой, красивый как куколка, носит сережку в ухе, хоть и не педераст. Или остаться в Баии, с тобой? Покончить с твоей невинностью? Решай! Я прошу тебя стать моим возлюбленным, моим милым. Согласен?

Патрисия да Силва Ваальсерберг, Патрисия дас Флорес, черная овечка господнего стада, козочка Иансан договорила до конца, выложила все что припасла и добилась еще одного поцелуя от падре Абелардо Галвана, пастыря Пиасавы, — еще одного поцелуя прямо во влажные от морского ветра и соленых брызг губы, поцелуя, которому не суждено будет кончиться.

Да, бабушка, я, слава богу, оказался настоящим священником. Где-то очень далеко отсюда, на темноводном озере Абаэте, хор ангелов грянул «Аллилуйя!» под флейты и гитары (музыка Тома Жобима). Я — нормальный человек, бабушка!

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ — На протяжении всего нашего подробнейшего повествования мы не раз упоминали — и сейчас упоминаем, присовокупив слова признательности, — колонку светской хроники, которую ведет «Жюли», Жулиета Изензее, одаренная, информированная и популярная журналистка. Что бы ни произошло в высших слоях нашего общества и в среде литературно-художественной элиты — все с пылу с жару, со сведениями из первых рук, вместе со сплетнями и слухами находит себе приют и комментарий в гостеприимной колонке Жюли.

Разумеется, с явным удовольствием и скрытой завистью описывала она и такое знаменательное событие, как круиз роскошного итальянского лайнера по Карибскому морю. Среди счастливых, поднявшихся на борт, оживленней, веселей и нарядней всех были две наши давние приятельницы — «пикирующий бомбардировщик» Олимпия де Кастро в матросском костюмчике — самое подходящее одеяние, учитывая ее габариты и ее отвагу, — и неразлучная с ней Диана Телес де Что-То Там, она же — Силвия Эсмералда в мини и футболке с цветным изображением Святой Варвары Громоносицы: издательство Шавеса не упустило конъюнктуры. Силвия вполне оправилась после своего нервного срыва и просто излучала радость.

Пожалеть можно было лишь о том, что обе путешествовали без супругов. Астерио де Кастро никак не мог бросить свои стройки, свои сделки, свои бесчисленные дела, отменить встречи с министрами, сенаторами, генералами и полковниками. Конец месяца: надо оплачивать счета, раздавать взятки, брать подряды — конкуренты тоже сложа руки не сидят. А достопочтенный судья, помимо обычной самоотверженной борьбы с детской преступностью, занимался еще и скрупулезным дознанием, пытаясь выяснить, кто же все-таки подделал его подпись. Соломенные вдовички смертельно тосковали по своим мужьям и разгоняли тоску в объятиях туристов, членов экипажа — особенно оспаривалась благосклонность второго штурмана — и распущенных — на каникулы! — школьников.

Опять же из обозрения Жюли узнали мы о почетном приглашении, полученном Нилдой Спенсер: «Антенн-2» вызвала ее в Париж, чтобы с ее

помощью готовить передачу «Большой шахматной доски», посвященную Баии. Жак Шансель хотел, чтобы в день эфира она была рядом. Нилда вылетела в Париж с большим запасом слез умиления и гордости, которые прольются в тот миг, когда на экранах французских телевизоров появятся круговая самба и ангольская капоэйра, кандомбле и карнавал, когда зазвучат напевы и мелодии Баии, когда будет показана жизнь нашего народа — страдальческая и прекрасная. Грянет «La Chanson de Bahia».

Нилда улетела не одна. Дона Элиодора Коста попросила ее взять с собой свою младшенькую, Марлен, Леноку — это был подарок к ее пятнадцатилетию — и присмотреть за ней, пока она будет целый месяц знакомиться с культурой Франции. Жюли писала, что Ленока, со всем пылом юности используя представившуюся возможность, совершит марафонский пробег по музеям, выставкам, достопримечательностям, прослушает краткий курс «страноведения» в Сорбонне, посетит театры и концерты, увидит Нотр-Дам, кабачок «Lapin Agile^[88]», Лувр, Гранд-Опера и «Crazy Horse^[89]».

Однако, как стало нам известно уже не от Жюли, а из уст неугомонных сплетников, юная Ленока, едва ступив на французскую землю, пожелала отпраздновать свою пятнадцатую весну должным образом и немедленно распрощалась с Нилдой, которая при этом наверняка воскликнула: «Слава тебе, господи!» Во-первых, она совершенно не годилась в чьи бы то ни было опекуны и наставницы, а во-вторых, у нее без Леноки хватало в Париже дел: надо было готовить передачу к выходу в эфир. Итак, Ленока испарилась, пообещав звонить.

Она обрела приют на шестом этаже дома на Иль-Сен-Луи — этот адрес вместе с долларами и кредитными карточками хранился в специальном шелковом поясе, сшитом доной Элиодорой собственноручно. Встретила ее развеселая и многонациональная стайка прехорошеньких девушек, ни одна из коих не была старше пятнадцати. Девицы в первом цвете юности были радушны и гостеприимны: провели ее по обоим этажам этой квартиры, все ей показали — и музыкальные инструменты, и стереоаппаратуру, и рисунки, и книги, и зимний сад, и спальню композитора, который сейчас в отъезде, но должен вот-вот вернуться: у истинного художника не жизнь, а каторга, а у знаменитости тем более.

В ожидании своего «le patre gres^[90]» девицы плели ему венок. Было их ровным счетом шестнадцать, и звали их Бенедикта, Надя, Надин, Вера, Вероника, гречанка Вассо, Анна, Рашильд, негритянка Бонза, Валентина, Александра, Рене, Ремедиос из Севильи, Оула и меднокожая Мария Des

Sept Merveilles^[91].

ЗАЧАРОВАННЫЙ — Хочу печатно и публично воздать хвалу единственному добросердечному существу, вспомнившему о бедолаге. Зовут это существо Анни-Клод Бассе, она бразильская писательница французского происхождения, и это ее чувствительное сердце отозвалось на чужую беду, это она потребовала у меня сведений о семинаристе Элоэ. Помните такого? Его в голом виде засняли фотографы из Службы национальной информации.

Эта жертва обстоятельств, попавшая в ловушку судьбы, увидел револьвер, направленный в лоб, и автомат, нацеленный в живот. Он затрепетал как овечий хвост, расплакался, обмочился.

В семинарию он не вернулся, считали, что он сбежал, а потом был обнаружен в Бока-до-Рио: он трясся как в лихорадке, решительно ничего не помнил и беспрестанно мастурбировал — настоящий тихопомешанный, сбежавший из психушки. К тому же еще голый.

Бренда Налльсштат, стареющая, богатая шведка, уже лет пять как обосновавшаяся там вместе с тенью некоего Артура — он достался ей на спиритическом сеансе в Сен-Годансе, но оказался полной ерундой, — подобрала несчастного, взяла к себе. Как его зовут, откуда взялся, отчего помешался, Бренда так никогда и не узнала. Она стала называть его «L'Inconnu du Fleuve^[92]», и он откликался на это имя. С помощью матушки Мирининьи до Портан душу Артура удалось отправить восвояси — в верховья реки Гаронны.

Романтическая и развращенная шведка, используя подручные средства — руку, рот, лоно, — быстро вылечила Незнакомца от горячки, избавила от пристрастия к онанизму. Память, правда, не вернулась к бывшему семинаристу, да он в ней нисколько и не нуждался теперь, ибо всецело посвятил себя исполнению сексуальных прихотей своей госпожи и достиг в этом значительных успехов. У него не жизнь, а вечный праздник, и только изредка снится ему направленный в лоб револьвер, нацеленный в живот автомат и бесстрастный фотограф, щелкающий затвором своего «кодака». Когда это случается, он тихо, мелодично стонет и мочится в постель. По мнению Бренды, шведки и поклонницы Фрейда, объясняется все это эдиповым комплексом.

ИСЦЕЛЕНИЕ — А на террейро матушки Гантоис, в Иле Аше Иба Огун, в особом покое для посвященных, провела Адалжиза сорок дней,

исполняя все те обеты, которыми пренебрегала до сей поры. Вошла она туда в ранге иаво, вышла в ранге эбомин.

И когда вышла, после всех омовений и обрядов, авенида Аве Мария устроила ей шумную и торжественную встречу: жеманница Алина и сержант Деолиндо принесли проигрыватель с пластинками; Дамиана превзошла самое себя, наготовив разнообразных сластей; профессор Жоан Батиста, верный изысканным привычкам своего круга, озаботился напитками: белым и красным вином из Испании, молодым шипучим вином из Португалии, хересом и мансанилей, русской водкой, произведенной в нашей отчизне, и лучшими сортами шотландского виски, изготовленными в Парагвае. Веселье, песни и танцы продолжались до рассвета, но Данило и Адалжиза вскоре после полуночи покинули застолье, сказав, что хотят отдохнуть.

Однако отдыхать они не стали. Богиня Иансан дохнула на Адалжизу огнем и вселила в нее огонь желаний, сорок дней носила она на талии буйволиные рога — всякому известно, что нет возбуждающего средства лучше, действует оно скоро и безотказно. Адалжиза воспламенилась, и ночь ее примирения с соседями стала ночью впервые испытанного наслаждения. Данило был нежен и терпелив, хотя алкал и жаждал безмерно. Супруги решили отправиться на Морро-до-Сан-Пауло, чтобы отметить там двадцатую годовщину свадьбы и провести второй медовый месяц. Первый, если помните, получился не медовым, а дерьмовым: бывший принц зверски расправился тогда с невинностью своей жены, сделав из девушки строгих правил и пуританских взглядов фригидную женщину.

Теперь она напрочь утратила свою холодность, но сохранила трепетную робость в любви, что придавало ей еще больше очарования и делало ее в глазах Данило еще желанней. Адалжиза, оставаясь порядочной женщиной и настоящей сеньорой, допускает теперь в постели любые изыски, исполняет любые прихоти. Она излечилась от фанатизма, но продолжает быть ревностной католичкой и по воскресеньям вместе с Жилдетой ходит к мессе, только больше уже не исповедуется и никогда больше не видит своего духовника, падре Хосе Антонио Эрнандеса. Она души не чает в Мире, и уже назначен день, когда он по всем правилам попросит руки Манелы. Ну, и последнее, что мне остается сообщить вам перед тем, как они с мужем отправятся в Морро-до-Сан-Пауло: мигрень ее исчезла бесследно. Данило же избавился от несварения, и воздух теперь не портит — разве что изредка, по старой памяти.

ХЕППИ-ЭНДЫ — В скромном деревянном домике, предоставленном супругам Лаурой и Дарио Кейрозами, давними знакомыми наших героев, царила идиллия, время от времени переходящая в вакханалию. Об умеренности и воздержанности было забыто: еще бы — Адалжиза наверстывала упущенное за двадцать лет.

Сорок дней, проведенных в особом покое на кандомбле Гантоис, выполняла она обряды «дочери святой», расплачиваясь за три семилетия небрежения к воле ориша. Пятнадцать дней и четырнадцать ночей в Морро-до-Сан-Пауло Адалжиза, позлащенная лунным сиянием, ласкаемая легким ветерком, возмещала мужу все, что была ему должна, а должна была немало, Ах, сколько времени было упущено! На лету схватывала она, если позволительно употребить это выражение в данных обстоятельствах, все, чему учил ее даровитый и настойчивый наставник, желанный гость в домах терпимости, Принц Данило, из просителя превратившийся в повелителя.

Но горько ошибется тот, кто рассчитывает, что эти лаконичные и целомудренные сообщения торят дорогу пятидесяти могучим страницам, описывающим второй медовый месяц, ознаменовавший собой двадцатую годовщину брачного союза Данило и Адалжизы. Горькое разочарование ждет его — или бесчисленных ценителей такого рода литературы, их у нас, слава богу, хватает. Ну-с, так вот: ничего подобного не будет, ожиданиям этим сбыться не суждено. Дверь в спальню заперта на ключ, а подсматривать в замочную скважину нам не пристало.

С носом остались те, кто вздумал усладить свой слух вздохами и стонами, лепетом и шепотом, музыкой страсти нашей четы. Ничего им не перепадет, ничего не отломится, ни словечка вы от меня не добьетесь. И про потерю невинности я рассказывать не стану.

Какой еще невинности? Да разве не утеряла ее Адалжиза безвозвратно двадцать лет назад, на полотняных простынях доктора Фернандо Алмейды, предоставившего свой загородный дом молодоженам? Все так, но теперь, во время второго медового месяца, Данило получил наконец в безраздельное пользование зад жены и наслаждался им с позволения слегка напуганной владелицы.

Это произошло на седьмую ночь их отпуска, когда до конца его оставалось еще столько же, в ночь полнолуния. Босиком прошли они тогда по волшебной лунной дорожке, сбросили с себя купальные костюмы, нагими погрузились в море, хохоча, гонялись друг за другом в воде, кувыркались в волнах, потом выбрались на твердый сухой песок, и пена морская застывала на напрягшихся грудях Адалжизы, и в самые небеса

уоставлено было оружие Данило. Жадные губы были солоноваты на вкус, руки блуждали, мысли были устремлены к одному. Домой супруги шли скорым шагом, поторапливались. По возвращении с пляжа и случилось это знаменательное событие. Свершилось! HAPPY-END. Принимаясь за рассказ об Адалжизе и Данило, о горьком медовом месяце, я обещал вам «мелодраму с хеппи-эндом». Мелодрама была вам представлена во всех подробностях, но теперь все эти недоразумения и разминовения не более чем печальный эпизод из прошлого. Вторая попытка увенчалась счастливым концом.

По моему глубокому убеждению, Данило, целых двадцать лет не оставлявший своих усилий, наталкивавшихся на твердокаменный пуританизм фанатички жены, вполне заслужил такую развязку. Хоть и с опозданием, но сбылись все его мечты, явью стали дерзновенные сны: Дада стала женщиной огненного темперамента, таких еще поискать. Данило полон воодушевления, и силы ему еще, слава богу, не изменяют. Впрочем, на этот случай есть у него запас некоего снадобья — мелко-мелко истолченная кожура гуарана, — присланного ему давним поклонником и другом Эдуардо Лаго из Сан-Луис-до-Мараньяна.

Вот на этом и кончается история про Адалжизу и Манелу, дочь и внуку кастильца Пако Переса-и-Переса и негритьянки Андресы, история тетушки и племянницы, дочерей богини Иансан, которая посетила Баию, дабы кривое сделать прямым, унять злонравие, научить их добру и наслаждению и радости бытия. Иансан надела грозовую мантию Святой Варвары, своего alter ego, взошла на борт баркаса, вызвала невероятное смятение в нашем городе, смятение и неразбериху, а заодно спасла жизнь одного «красного падре» и уж вдоволь позабавилась. Историю эту поведали вам как смогли три жреца грозного Шанго, три доктора «гонорис кауза» в школе жизни, три баиянца — музыкант Доривал Каймми, художник Карибе и ваш покорный слуга.

ВОЗВРАЩЕНИЕ — Выставка Религиозного Искусства имела оглушительный, безусловный успех: публика ломилась на нее, книги отзывов были заполнены словами восторга и восхищения, международный резонанс — самый, как вам известно, благоприятный. Продолжалась она целый месяц, но изваяние Святой Варвары и после ее окончания провело в стенах монастыря еще неделю, став предметом забот искуснейшего реставратора Лианы Гомес Силвейра.

Береженого бог бережет, и викарий Санто-Амаро, падре Тео, чьи отношения с доном Максимилианом оставались весьма прохладными и

окрашены были в тона неприязни и подозрения, потерял наконец терпение и лично отправился забирать Святую Варвару. Однако ему пришлось, изрыгая страшные проклятья, ждать еще два дня: директор Музея неожиданно уехал, а без подписанного им приказа никто не имел права выдать скульптуру.

Но всему свой рок, и вот настало это солнечное, ветреное воскресенье, когда дон Максимилиан и мечтательный ангел марксистского толка Эдимилсон, вновь приступивший к своим обязанностям, погрузили статую в «комби», привезли на Рампу-до-Меркадо, где стоял баркас шкипера Мануэла «Морской бродяга». Мануэл и жена его Мария Клара подняли святую по сходням, поставили на корме. Дон Максимилиан учтиво распрощался с викарием, который проявил не меньшую любезность, пробурчав что-то вроде: «Не держите зла... такой уж я человек...» «Что вы, что вы, — всполошился директор, — вам вовсе не за что извиняться». Все недоразумения, выпады, обманы, намеки были поняты, а следовательно, прощены. Дон Максимилиан и викарий обменялись рукопожатием. В Музее за семью замками остался документ, подписанный падре Тео: так и так, статую Святой Варвары Громоносицы в полной сохранности и отличном состоянии Музей Священного Искусства вернул, претензий не имею.

В Санто-Амаро святую сопровождали и два журналиста: Гидо Герра из «Диарио де Нотисиас» и Жозе Берберт де Кастро из «Тарде» — и два фоторепортера: Жервазио Фильо и Вава. Блистательные борзописцы — каждый в присущей ему манере — оставили нам историю этого плавания по заливу и реке и прибытия в Санто-Амаро. Происшествий в пути не случилось, при входе в устье баркас был встречен ракетами и приветственными стихами. Выгрузка статуи стала просто апофеозом.

До самого устья Парагуасу «Бродягу» эскортировали многочисленные суда и суденышки. Там, где море соединяется с рекой, у врат Реконкаво, флотилия убрала паруса. В воздух взлетели ракеты, возвещая счастливый миг возвращения, а Антонио Бразилейро — кажется, это последний поэт, которому суждено появиться на страницах этого учебника стихосложения, — прокричал в древний мегафон балладу в честь и во славу Святой Варвары: рыбы всплыли на поверхность, чтобы послушать ее, кувшинки распустились как розы, утренний ветерок подхватил рифмы.

На самой реке «Бродягу» перехватили, выполняя свой священный долг и почетную обязанность, корабли Реконкаво. На груди Святой Варвары сверкал ковчежец общины Пречистой Девы Блаженного Успения, а члены этой общины, беспокойные старушки, ожидали на причале Санто-Амаро.

Святая Варвара, судя по всему, была довольна, что возвращается в свой алтарь, — она улыбнулась Марии Кларе, певшей о любви. Ветерок запорхал под мозолистыми ладонями шкипера Мануэла. Осанна!

Выгрузка была истинным торжеством: народ праздновал свою победу над теми мерзавцами, которые пытались похитить достояние города — статую Святой Варвары, обретшую отныне еще большую ценность, ибо, как неоспоримо доказано и даже в книге пропечатано, изваял ее сам Алейжадиньо по заказу викария, пожелавшего украсить ею алтарь своей церкви. Толпы народа сопровождали шествие, носильщики то и дело сменяли друг друга, а впереди шли дона Кано и Жозе Велозо. Богоявление!

На своем законном месте, в скромном алтаре церкви Санто-Амаро воцарилась статуя святой, вызвавшая столько споров, наделавшая столько шума, породившая столько слухов и толков. По мнению падре Тео, и не надо было ее трогать: кто бы знал, каких трудов, какой бешеной ругани стоило ему вернуть во храм знаменитое, уникальное, подлинное изображение Святой Варвары Громоносицы.

СТАТЬЯ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ — Да? «Знаменитое, уникальное, подлинное»? Не знаю, не знаю, не уверен. В книжных магазинах, там, где ведутся разговоры, которых нигде больше уже не услышишь, наши интеллектуалы шепчутся о статье в «*Universalszyklopadie der religiozen Kunst*^[93]», только что изданной в Мюнхене, богато иллюстрированной цветными репродукциями. Статья сжато и точно сообщает о красоте скульптуры, изображающей Святую Варвару, о ее непреходящей художественной ценности, о головокружительной цене, упоминает книгу дона Максимилиана, где утверждается, что изваял статую сам Алейжадиньо. В самом конце уведомляется, что оригинал хранится в фондах Музея Священного Искусства при Баиянском университете, а копия служит предметом поклонения верующих в церкви Санто-Амаро-де-Пурификасан.

Вот этой-то ошеломительной германской информацией, наводящей на размышления и побуждающей к новому залпу взаимных упреков и обвинений, мы, пожалуй, нашу историю и окончим. Остается только попрощаться. Au revoir^[94], друзья мои! На перекрестке, где уже не различить лиц, где перепутались дороги, я слезаю с седла своего ленивого ослика — помните? того самого, что так любит плясать, — выпускаю из рук поводья, приношу жертву демону Эшу — бутылочку кашасы и пяток сигар покрепче и подешевле.

«Ларойэ!» — как положено на макумбе, кричу я, и целый хор кумовьев отвечает мне: «Laus Deo!^[95]». Прощайте, друзья мои, до свиданья, и, надеюсь, до скорого.

Париж, май — октябрь 1987,

февраль — июль 1988,

август 1988, Баия

Из рубрики «Авторы этого номера»

ЖОРЖИ АМАДУ (JORGE AMADO; род. в 1912 г.) — бразильский писатель, академик, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Произведения Ж.Амаду в нашей стране издавались многократно на русском и других языках народов СССР. В «Иностранной литературе» напечатаны: повесть «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» (1963, № 5), романы «Мы пасли ночь» (1966, № 2, 3), «Лавка чудес» (1972, № 2–4), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1975, № 11–12), «Возвращение блудной дочери» (1980, № 7–10), «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» (1982, № 8, 9) и др.

Роман «Исчезновение святой» вышел в Бразилии в 1988 г. («O sumico da santa». Rio de Janeiro, Editora Record, 1988). Печатается в журнальном варианте.



Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Народный музыкальный инструмент. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

2

Популярная борьба, представляющая собой атлетическую игру-танец.

Шанго — верховное божество, одно из могущественных божеств по афробразильской мифологии, повелитель огня, молний и грома.

4

Афоше — карнавальная группа.

Иансан — в афробразильской мифологии — жена Шанго, отважная воительница, сопровождавшая его в войнах, повелительница ветров и бурь, а также мертвых. В синкретизме жителей Баии соответствует католической Святой Варваре.

Алейжадиньо (по-португальски — Маленький Калека) — прозвище Антонио Франсиско Лисбоа (1738–1814), выдающегося бразильского скульптора и архитектора-самоучки, создавшего, несмотря на тяжелую болезнь — проказу, ряд замечательных произведений искусства.

Афрохристианские общины подчинены определенной внутренней духовной иерархии, обычно иорубско-дагомейского происхождения. Общину возглавляет жрица — «мать» или жрец — «отец» святого. Главе общины помогают в отправлении культа и в уходе за храмом т. н. дочери и сыновья святых, на которых якобы нисходит во время ритуала вызываемое божество-ориша. Ритуал сопровождается жертвоприношениями, дарами, песнями и танцами (для каждого ориша определена своя хореография танца) под звуки ударных инструментов. Каждому ориша посвящается ежегодный праздник, имеется фетиш, который его олицетворяет, и символы (предметы, а также сочетания цветов, которые указывают на связь человека с божеством).

Террейро — место, где происходит радение афробразильского культа — кандомбле или макумба.

Эбомин, экеде, иаво — жрецы и жрицы, совершающие на макумбе обрядовые действия.

Огун — по афробразильской мифологии — бог войны, железа, кузнечного ремесла.

Эшу — в афробразильской мифологии — брат Огуна, дьяволенок, искатель приключений, покровитель путников, служит посланцем божеств.

Ошун — вторая жена Шанго, сестра Йансан, богиня женской красоты, очарования и жеманства.

Кантига — ритуальное песнопение.

Жрец на макумбе.

14

Метис от брака индеанки и белого.

Ошосси — бог лесов и охоты.

Омолу — божество, посылающее болезни; Йеманжа — повелительница морей, «мать вод».

Просто (франц.).

Моя вина! (*лат.*)

19

Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

Удар молнии (франц.).

«Власть черных» (англ.).

Массовый карнавальный танец.

«Неудержимый смех» (франц.).

Глаубер Роша (1938–1988) — бразильский кинорежиссер; Жоан Убалдо Рибейро — современный бразильский писатель, автор повести «Сержант Жетулио», опубликованной в «ИЛ» (1988, № 9).

Руи Каэтано Барбоза (1849–1923) — бразильский государственный и политический деятель, юрист, историк, публицист.

Древнегреческий философ Пиррон, основатель скептицизма, учил, что человеческие суждения о вещах произвольны, а потому следует воздерживаться от каких-либо суждений вообще и пребывать в состоянии атараксии и апатии.

Примитива (франц.).

Жрец в афробразильском культе.

Изысканное угощение (*франц.*).

Белое игристое вино (*франц.*).

Здесь: собрание гостей после полудня (*франц.*).

Вечеринка (франц.).

Кинематографический термин, обозначающий эпизод, который произошел до времени основного действия.

«Довольно затянутый» (франц.).

«Ищите пастыря!» (франц.).

«В полном составе» (франц.).

Сертаны — внутренние засушливые районы Бразилии.

Священник (*англ.*).

Сторонник правления «черни».

Владелец земли без юридического права пользования.

Житель или уроженец штата Рио-Гранде-до-Сул.

«Воздайте кесарю кесарево, а богу — богово» (*лат.*).

«Свобода, я имя твое пишу...» (франц.).

«Голубки» (франц.).

«Песнь Баии» (франц.).

До скорого! (франц.).

«Все будут околдованы» (франц.).

Доченька (исп.).

Большинство, дитя (*исп.*).

Магазинчик (франц.).

Дамский парикмахер (*франц.*).

«Икра или выдержанный камамбер — спасибо, дорогой профессор»
(франц.).

Наперченный соус (франц.).

«Первый шаг, дитя мое, — роковой» (*исп.*).

Успокойся, дочь моя, честь Манелы — в руках господних (*исп.*).

Да, дочь моя, только там сможет она покаяться и укрепиться в вере
(исп.).

«Слава Господу Христу! Да здравствует Испания!» *(исп.)*.

Дружок (франц.).

«Да наши от этого ополоумеют!» (франц.).

Метек (*греч.*) — иноземец.

Mimoso — баловень, неженка.*(португ.)*.

Антонио Виейра (1608–1697) — политический деятель, философ и проповедник, знаменитый своим ораторским искусством.

Блюдо из маниоки, рыбы и мяса.

«Быть не может! Что за чертовщина!» (франц.).

Жоакин до Амор Дивино Ребело Канека (1779–1825) — бразильский монах. Деятель республиканского движения, один из вождей народного восстания против португальского колониального режима.

Моя вина, тягчайшая вина! *(лат.)*

Что привело тебя, дочка, ко мне в такую рань? *(исп.)*

Отчего ты так рано поднялась? Что с тобой? Почему дрожишь? (*исп.*)

Сбежала? Из монастыря? Это невозможно. Не верю тебе (*исп.*).

Ничего не понимаю. Лучше поговорить с настоятельницей, разузнаем все толком. *(исп.)*.

Каатинга — равнина, поросшая кустарниками и редколесьем, на северо-востоке Бразилии.

Эрико Вериссимо (1905–1975) — бразильский писатель.

Бог велик (*исп.*).

Где приказ? Давай его сюда! (исп.)

А где же Силвия? Что-то я ее не вижу. — Заболела. — Заболела? Ах, какая жалость! Я так хотел устроить с ней праздник... Праздник карнавала, разумеется. — Карнавала, и только? — Она так хороша... *(франц.)*

Парижанин (*франц.*).

Эуклидес да Кунья (1866–1909) — бразильский писатель, автор документального повествования «Сертаны».

Метис от брака мулатки и негра, негритьянки и индейца.

«Братья Шанго» (англ.).

Что вы делаете? (*исп.*)

Кастро Алвес (1847–1871) — бразильский поэт-романтик, борец против рабства.

Что с тобой, дочка? Приди в себя, несчастная! (*исп.*)

Подожди! Я изгоню беса! Сейчас, сейчас! (*исп.*)

Изыди, сатана! (*лат.*)

Английский дамский костюм (*франц.*).

Свершилось! (*лат.*) — Предсмертные слова Иисуса Христа.

Жозе Мартиниано де Аленкар (1829–1877) — бразильский писатель и политический деятель, один из виднейших представителей романтизма, автор, в частности, известного романа «Ирасема» (1865).

«Веселый Кролик» — название кабачка на Монмартре.

«Шалая Лошадь» — варьете в Париже.

«Греческий пастух» (франц.).

«Семь чудес» (франц.).

«Незнакомец с реки» (франц.).

«Энциклопедия мирового религиозного искусства» (нем.).

До свиданья (*франц.*).

«Господу хвала!» *(лат.)*